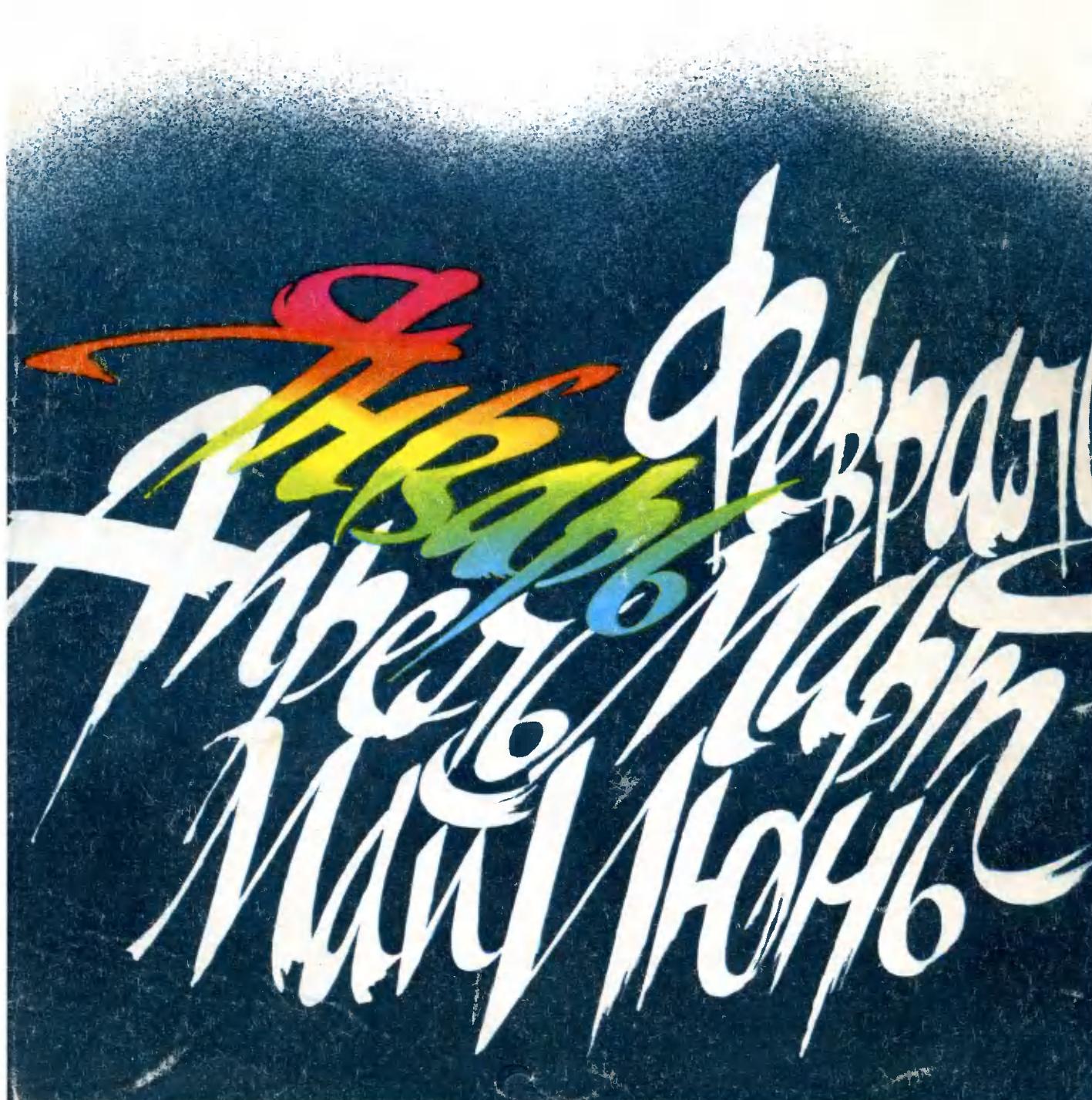


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1 '87





И. ПОПОВ

Первый снег.

ЮНОСТЬ

1 (380) '87



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Мария ОЗЕРОВА
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Проза

Сергей МИХЕЕНКОВ. Ночь расставаний. Повесть. Начало	6
Марина ЕСЕНИНА. Старая кукла. Рассказ	28
Борис ВАСИЛЬЕВ. Жила-была Клавочки. Повесть	34

Поэзия

Марат АКЧУРИН	4
Юрий КАМИНСКИЙ	4
Сергей БИРЮКОВ	5
Сергей КАРАТОВ	5
Владимир ЕРЕМЕНКО	25
Марина КУЛАКОВА	25
Татьяна КУЗОВЛЕВА	26
Николай ДМИТРИЕВ	27
Константин ВАНШЕНКИН	63

Публицистика

Наша родословная	3
Давайте знакомиться!	71
20-я комната	72
Урок рок-музыки	73
Все на продажу	74
Об одиночестве	76
Михаил ХРОМАКОВ. Письма из райкома	78

Оформление обложки
В. Фатехова

Главный художник
О. Кокин

Художник
Ю. Чижевский

Технический редактор
О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП.
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Телефоны:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел критики — 251-96-76
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 05.11.86.
Подп. к печ. 04.12.86.
А 04869.
Формат 60×84 $\frac{1}{3}$.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11.63.
Усл.-изд. л. 17.75.
Усл. кр.-отт. 16.74.
Тираж 3 100 000 экз.
Изд. № 3155.
Заказ № 4007

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Критика

«Строгий талант...» Из наследия В. Ходасевича	86
Молодая литература и ее завтрашний день	90
Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Сколько сторон у шара?	92

Культура и искусство

Юрий КЛЕБАНОВ. Без сценария	64
Михаил КУРКОВ. Реставрация — образ жизни	65
Владимир ТУМАЕВ: «Найти зрительный образ»	70

Зеленый портфель

Алла ЛОСЕВА. Скорьтесь научно!	95
Александр ХОРГ. Там лучше, где нас нет	96
Официальное сообщение	96



Письмо читателю

НАША РОДОСЛОВНАЯ

Вглядываюсь в их лица. Думаю об их родословной. Фотограф, наверное, долго «строил кадр», чтобы фотография аукинулась с Васнецовым. Кони придали ушами, с опаской посмотривая на фотографическую «гармонь» с треногой. «Богатыри» пересмеивались, но держались перед объективом гордо, с достоинством,— все же они не кто-нибудь, не какая-то там «пяхота», а Конармия, главная боевая сила юной республики... Походная сбруя на конях. И кони вскинут головы на сигнал горниста. Защокают копыта, и в голове эскадрона кто-то выведет звонко и чисто: «Мы красная кавалерия, и про нас былинники речи-стес ведут рассказ». За ними революция, впереди будущее...

И вдруг ловлю себя на мысли, что для них будущее — это мы. Нет, не мы их, а они пытаются разглядеть нас сквозь серое зеркало fotosнимка, сквозь пласт семидесятилетия, понять пытаются, такие ли мы, как они мечтали, за такое ли будущее летели с шашкой наголо в кровавую сабельную атаку, за это ли будущее их «бросала молодость на кронштадтский лед», ради ли этого будущего оставлены любовь и кровь и найдены боль и кровь.

Они вглядываются в нас. Для них будущее — это мы сегодняшние, мы, со всем, что окружает нас, с нашими магазинами самообслуживания, двумя выходными днями, «Аэрофлотом», цветными телевизорами, аэробикой, метрополитеном, олимпийскими стадионами, телемостами между континентами... Мы — со всеми нашими радостями и трагедиями, победами и ошибками разных лет. Всадники революции думали о будущем, то есть о нас с вами, легко и светло. Они верили, что живут и погибают не зря.

Как нам надо жить, чтобы быть достойными их мечты? Как жить так, чтобы их жизнь и бой были не зря? Минувший партийный съезд дал на это ясный ответ: жить без фальши! Жить, работая по совести. Снова пришло время романтики и светлых надежд.

Мы пропитаны нашей Историей. Потому что нет Истории самой по себе. История составляется из человеческих судеб. Мой дед — отец моего отца — погиб в гражданскую. Где-то в кубанской степи его сшибла пуля с коня. Не осталось ни весточки. Ни фотографии. Моему отцу было пять лет в семнадцатом году. Он тоже потом стал кавалеристом. И пел, наверное, ту же песню «Мы красная кавалерия...» Потом танковое училище. Потом война. В лейтенантских погонах командовал взводом «тридцатьчетверок». Горящие танки. Погибшие друзья. Он не любит вспоминать войну. Он говорит: «Война — это страшная работа, которую мы обязаны выполнить». Сумма родословных каждого человека — это родословная нашей страны. Сегодняшние поступки, помыслы, слова мы обязаны оценивать с точки зрения нашей родословной.

Год, в который вступает страна,— год 70-летия Октябрьской революции, а значит, год не только больших надежд, но и год подведения итогов. Правильно ли мы живем? Оправдываем ли мы надежды наших предшественников?

Многое сейчас меняется в мире. Наш журнал полон надежд. Приближается XX съезд комсомола, который станет решающим в отношениях молодежи и общества. Наш журнал тоже ищет новые формы общения с молодежью. Буквально в этом номере мы открываем дверь «20-й комнаты». Нам хочется помочь юному человеку строить себя. Начинает существование Музей мира, основанный нашим журналом. Проза и поэзия откроют новые имена. Более взыскательной станет критика... В год 70-летия революции журнал начинает рубрику «Родословная», которую надеется вести с помощью своих молодых читателей. В основу ее лягут фотографии, рассказы о значительных и интересных эпизодах из истории вашей семьи во всех ее поколениях, начиная с революционного поколения. Будем изучать родословную в лицах.

Редактор отдела публицистики

Поэзия

Марат АКЧУРИН

Сказка

— Чего тебе надобно, старче? —
Насмешливо рыбка спросила.
И кровь моя вспыхнула жарче,
И плечи расперла мне сила.

И я зашвырнул ее в воду,
И крикнул ей: — Дура, я молод! —
И песни орал в непогоду,
И славил в них холод и голод.

И долго жена молодая
За рыбку меня не прощала,
Кляла и ругала, рыдая.
И к маме уйти обещала.

☆☆☆

Московская «Березка», тебя я ненавижу —
За спесь твою холуйскую, за понт и толчую,
За спекулянтов гордых, здесь заслуживших грыжу
От страстного усердия улучшить жизнь свою.
За тусклый рыбий взгляд блестителя порядка —
Ему ли, неподкупному, взашей гонять фарцу!
За то, что над приезжим толпой смеется гадко,
Когда рубли железные сует он продавку.
За сумрачных девиц профессии старинной,
За мальчиков-сынков на выбор — всех цветов.
За златоузубых жен из очереди длинной,
За их невыездных супругов и котов.
За тем ли, друг хабир¹, торчали мы в пустыне,
Чтоб здесь, на их пиру, пыхтеть в толпе немой?
Дороги наши, друг, расходятся отныне:
Ты стой за их тряпьем, а я пойду домой.

Городская любовь

В ущелиях страны многотажной,
В бетонном чреве дома-исполина
Пел соловей над розовою бумажной,
Покуда в нем работала пружина.

☆☆☆

Под цирканье целебное цикад
И рокот разномерного прибоя,
Кому не вспоминался снежный сад
И небо, от мороза голубое!
И радуясь на жизненном пиру
Почти неиссякаемым щедротам,
Кто не подумал вдруг: а я умру...
И снова шел встречать гостей к воротам.
Еще далек неведомый конец,
И не дано пока постичь итога.
А у ворот не гости, а гонец.
И впереди — далекая дорога.

☆☆☆

— Охота тебе по ночам
Летать на взъерошенной птице,
Томясь по окружным плечам
Какой-то капризной девицы?

Любовь — ненасытная тварь,
Клюет своего пассажира,
Плевать ей на то, что он царь
Ему непонятного мира.
— Таможенник глупый, молчи!
Тебе ли судить о пернатых.
Ведь ты не летаешь в ночи,
А дрыхнешь в штанах полосатых.
Недороги сомненья твои,
Но ты ведь от зависти злобен:
Разборчива птица любви,
И ты для нее несъедобен.

☆☆☆

Мыслей февральских размеренный бег
Замер внезапно: зима на исходе!
Снова грядут перемены в природе,
Новый маячит за выогами брег.

Тихо снежинки колышет острие,
И защемит в ожидании душу.
Так мореходы, предчувствуя сушу,
Знают, что снова покинут ее.

Юрий КАМИНСКИЙ

☆☆☆

Ночь безлюдна, безголоса.
Только слышно, что колосья
протыкают мрак густой.
И ворочается космос под ракитовым кустом.
Ночь безлюдна, только слышно:
старый пруд протяжно дышит
в порыжевших камышах.

Млечный Путь блестит над крышей.

И репейник весь в слезах.

Предвестье

Тает. Сочится тепло
сквозь прошлогодние щели.

Медленно, за две недели,
зиму от нас отнесло.
Но на реке еще лед: ухает, шевелится.
И на деревьях теснится
галечий громкий народ.
Шумно. Просторно.
Ивняк
Дрогнет еще на рассвете.

И затихает на ветке.
Первый весенний сквозняк.

☆☆☆

Ничего не вычеркнуть из жизни,
Потому что жизнь не черновик,
Все, что она пишет или ножет,
Каждый ее час и каждый миг
К совести нас, может быть, приблизит —
Время не дается про запас.
Ничего не вычеркнуть из жизни.
Жизнь сама вычеркивает нас.

г. Кировоград

¹ Хабир (арабск.) — специалист.

Сергей БИРЮКОВ

*Дебют в
Юности*

Молоко Эстонии

Где молоко Эстонии растет?
На краешках дорог
и на лесных полянках.
Тут свой масштаб
и свой простой расчет —
на островах растет и полустанках.
Молочно-белая Ээсти
на молоке готовит вести,
на молоке готовит краски
и молока добавит в сказки.
Пьют из молочной чистой Леты
и пишут молоком поэты.
Им нет забвения за это.

Бегущая

Бегущая,
заветная,
земная,
Как на тебя воссталася сила злая —
за то, что недоступна, что заветна,
за то, что обликом своим заметна.
Бегущая в толпе, где каждый бега жаждет,
но ждет и смотрит, кто начнет.
Бегущая из правремен, с тех пор,
когда еще надеялись на ноги,
когда из камня делали топор,
когда вблизи пещер ревились боги.
Бегущая,
развернутая в профиль,
легко берущая барьеры кровель.
Бегущая навеки жизни.

Четыре строки

Одна строка былинная, длинная-предлинная,
долгая-предолгая, словно ночь зимняя.
А другая строка — из района —
совсем коротка, как ночь летняя.
А еще строчка — песельное узорочье,
майский денек, волшебный уголек.
А четвертая строка всем великим велика —
небылица в лицах.
Небывальщина —
про ковры-самолеты,
сапоги-скороходы,
скатерь-самобранку...
Встань спозаранку, затопи печь, услышишь речь:
с четырех сторон четыре строки —
от леса, поля, неба, реки.

Междурогнем и водой

Отдыхает на свежей соломе теленок,
от летящих по воздуху теплых пеленок
пар.
На земле этой круглой,
почти что как шар,
на боку ее выпуклом
дом прилепился,
вот ребенок
из кружки водицы напился
и пошел, не упал.

Барабан раскрутился —
ведро полетело в колодец.

Дальний голос
кого-то позвал...

В то мгновенье, покуда
ведро не достигло воды,
повернется земля.

Повернется!
Успеет уйти от беды!

Перегнулась в ведро
из бадью ледяная вода,
и дрожит меж огнем и водою слюда
лепесток розоватый
из вечного сада,
заслоняющий мир от распада —
обнаженный ребенок.

г. Тамбов

Сергей КАРАТОВ

Август

Пасет стада кочевник-солице,
в садах-корзинах зреют груши,
струится теплый аромат,
и ходят девушки-студентки
на танцы местные гурьбою,
и песни плавные поют,
а в старицах благообразных
теснятся нежность и досада...

Нельзя умершим без живых:
крестами кладбища,
как клады
помечены... и ходят страхи,
фосфоресцируя глазами,
по дну кромешной темноты.

Небес посланники пернатые
на землю грешиную спешат,
но засыпают молодые,
цветы под голову кладя...

И только звук моторной лодки
коробит глянцевую воду,
да небеса, что столь богаты,
бездумно звездами сорят.

☆☆☆

Никто не ждет на званый ужин,
стихов не просит,
теребя...
Не потому, что ты не нужен,
а просто есть
нужней тебя.

Патриаршие пруды

И молоды мы были, и горды,
и часто целовались у воды,
и ссорились, и долго не звонили...

Ах, эти Патриаршие пруды!
Одно название...
Да и то сменили.

Сергей МИХЕЕНКОВ

НОЧЬ РАССТАВАНИЙ



Сергей Михеенков родился в Калужской области. Ему 31 год. Служил в армии. Окончил Калужский педагогический институт. Работал журналистом, учителем, механизатором. Предлагаемая читателю повесть получила (по рукописи) премию имени Н. Островского.

-- Откуда вас столько берется?
— Известно, солдат солдата рожает.
Пословица.

Глава первая ПОД БЕРЕЗОЙ

В ту пору в арпылевских садах и проулках только-только успел склынуть буйный вишневый цвет.

— Рано нынче вишня отневестилась,— говорили в деревне старики, покръктявая возле оттеплевших завалинок.— Вишь, ребят-то только призывать начали. А раньше в проводы — самый что ни на есть ее цвет.

Этой весной уходили из Арпылей на службу двенадцать парней. Двоих отправили еще до майских праздников, и от них из воинских частей пришли письма; проводили их тихо-мирно — хотя не совсем, конечно, но, впрочем, как всегда,— а этих десятерых решили проводить торжественно. Сев колхоз закончил рано, к тому же почти первым в районе, яровые уже взошли, так и высыпали наружу частыми зелеными гвоздиками после недавнего дождя с пропарком, до обработки картофеля время пока терпело, и председатель Стрелков разрешил складчину, пообещав кое-чего и из колхозного кармана.

— Горазд он на колхозное,— качали головами те же старики, но решение председателя одобрили.

Столы накрыли прямо под березой, которую звали здесь Матерью, потому что росла она посреди деревни на широкой луговине одна и больше такого удалого дерева не было не только в деревне, но и в Заречном лесу. Стрелков еще накануне распорядился забить телка. Мясо варили, тушили и жарили в четырех дворах, и, когда выставили на столы, застеленные белыми скатертями, по всей деревне разнесся и будто замер, увязнув в густой душной жаре, дразнящий аромат, смешанный с запахом картошки, вытромленной на гусином жиру в русской печи, и печеного теста. Сразу заблажили грачи и галки в Усадьбе возле пруда, учуяли запах мяса и залетали над Матерью. Но вскоре принесли ружье и несколькими выстрелами распугали черную стаю. Галки сломя голову метнулись обратно в Усадьбу, закяявали там наперебой, почувствовав себя в безопасности, а следом за ними, не без достоинства однако, улетели и грачи. Только одна растрепанная и, должно быть, самая наглая ворона долго качалась на пружинистой ветке березы, пока последний выстрел не ссадил ее, так что она, сломав крыло, тяжело ударилась оземь возле крайнего стола и забилась, будто петух, которому только что отрубили голову. Стрелял Сашка Романенков, рослый цыгановатый парень, призывник. Панцы скватили ворону за крылья и потащили в вишняк, к пруду, загадлев, словно галки в Усадьбе, и выхватывая друг у друга внезап-

Рисунки
В. Лоссева

ную добычу. А женщины недобро покосились на Сашку, и, глядя, как тот небрежно выбросил на дорогу зеленую дымящуюся гильзу, разорванную в нескольких местах пороховыми газами, дунул в стволы и захлопнул ружье, сказали негромко и осуждающе:

— Ишь, черт какой!

— Не утерпел-таки.

— А у нее, может, птушенята где...

Сашка не слышал, что о нем говорили возле столов. Он оглянулся, шевельнул черными, сросшимися над переносием бровями и усмехнулся. Некоторые из женщин сердито поджали губы, некоторые отвернулись и занялись своим делом, но кое-кто улыбнулся украдкой в ответ, весело и нежно глядя на черные брови парня.

Больше всех под Материю суетился старик Кондрат Матвеевич Кружаленков. Скрип его протеза-деревяшки, монотонный и неумолчный, как тиканье маятника, слышался то возле фляг с водой, то у машины, из которой бесконечно что-то выгружали, выносили, подавали, то вдруг он бойко пробегал вдоль наполовину накрытых столов и, остановившись у одного из них, размахивал руками, громко отдавая распоряжения женщинам и девчатаам, бестолково, как ему казалось, сновавшим туда-сюда. Затем возвращался назад и по пути отгонял от груды свертков пацанов; те в отместку иногда подкрадывались к нему сзади и дергали за помочь, державшую на нужном месте пузырящиеся на коленках штаны, тогда он хватал прут и норовил достать им зачинщика, но пацаны мигом срывались с места, стремительно мелькали пятками по пыльной дороге и прятались в вишняке. Туда Кондрат Матвеевич не лез: где ему с деревяшкой! К тому же густые колкие заросли вишняка, в которых были протоптаны лишь только этой босоногой братве ведомые тропы, он считал их законной территорией, чьи границы преступить просто бы не посмел. А возле столов продолжалась все та же колгота, и Кондрат Матвеевич спешил туда, наверняка зная, что опять там что-нибудь напортачили: не то поставили, не так наклали, не тем заправили, не столько, сколько нужно, налили, — и заранее подбирал слова посмешнее, повреднее или пойдренее, в зависимости от близнаходящейся публики, для очередного выговора. Старика, впрочем, слушались; одна только бабка Ганьча проходила мимо него с независимым видом, не обращая внимания ни на окрики, ни на более деликатные замечания, но один раз она не выдержала, поставила на стол тарелку с тонко нарезанной ветчиной и, подбоченясь, держа у бедра сдернутый с головы платок, пальнула сгоряча что-то такое, от чего на луговине долго не утихал хохот, а у самого Кондрата Матвеевича отстегнулась помочь и едва не упали штаны. Эта случившаяся со стариком неловкость вызвала новый взрыв хохота, и на широких ветвях Матери, казалось, вздрогнули листья. Вот старая язва, не простила-таки мне Сашкину пальбу, подумал Кондрат Матвеевич про бабку Ганьчу, понадежнее прилаживая на прежнее место помочь. Действительно, парня позвал он, чтобы попугать вконец обнаглевших галок, которые носились над самыми столами, норовя что-нибудь упереть, отвернись только на минуту-другую. Что же касается убийства ворон и расправы над ней, учиненной пацанами, тут он никаких указаний не давал, так что зря ты, соседка, повергла меня да еще таким окаймленным образом.

Когда тень от бересы переползла на другую сторону дороги, а комары в затишке стали «толочь тесто», вздымаясь розовыми в солнечных лучах, выбиравшими столбиками над зарослями крапивы и бузины, приехал наконец председатель Стрелков, заглушил мотор своего истрапанного «коzла» и, вытирая платком пот с багровой щеки, спросил Кондрата Матвеевича:

— Ну, Матвеич, докладывай, как тут твой гарнизон управляет.

— Э, Иваныч, какой тут гарнизон? — возразил, ухватившись за слово, старик, а Стрелков молча пожалел, что дал-таки маху и сам натолкнул старого вояку на трехминутное, по меньшей мере, вступление

ние, которое, что ж, придется выслушать, хотя времена-то в образе. — Это разве гарнизон? Хозяйственный взвод в неполном составе. И того хуже. Обозники, — рассуждал Кондрат Матвеевич, поддергивая штаны и оправляя на плече помочь, переклестнувшую его грудь наподобие портупеи. — Гарнизон будет потом, когда все соберутся. Основные, так сказать, силы. Касаемо же угощения и прочего, все, считай, готово.

— Ну и хорошо, — с хрипотцой, выдающей усталость, сказал Стрелков и, нагнувшись, стал стряхивать пыль с брюк; он приехал в Арпыли прямо с поля, смотрел яровые, заодно завернув и в пойму, проверил участки, оставленные под кукурузу. Ячменя поднимались, набирали силу, и председатель, вспомнив, как работали здесь арпылевские трактористы, подумал, что нет, не зря он забил на проводы телка. Все окупится. Народ хороший. Сторицей вернет. Вернет. И сказал, обращаясь к старику Кружаленкову: — А ведь хорошо это мы, Матвеич, придумали с проводами нынешними. Народ вместе соберем. Друг на друга поглядим. Ребятам напутственное слово скажем. Им служить, а нам землю пахать.

Кондрат Матвеевич в знак согласия дернул бровями.

— Да ты, я вижу, хватанул? А, Матвеич?

— Никак нет! Ни в одном глазу! Ни господи боже мой, Иваныч! С ними разве ж загуляешь? — Старик кивнул в сторону женщин, уже закончивших стряпню, раскладку и разноску снеди и теперь усевшихся под Материю на принесенной из колхозной кладовой белоструганой лавке. — За ними только и гляди, не упустили бы чего, с бабьего-то ума. Одно слово — обоз!

— Ну-ну, ты их понапрасну-то не срами. Вон сколько настарались — столешницы гнутся.

Старик снова дернул бровями: говори мне, мол, не говори, а все одно — обоз есть обоз. Стрелков усмехнулся. Кондрат Матвеевич переквакил председательскую усмешку и так истолковал ее: не верит насчет выпивки, но вспомнил про колготу возле столов, про ребячью набеги и легонько подтолкнул разговор в другую сторону:

— А тут еще, вон, черти гузатые, надоели. Одолели! Что просто господи боже мой! Хуже орды татарской!

И словно в подтверждение его слов пацаны вылетели из вишняка, где, очевидно, все это время терзали подстрекенную ворону, кинулись было к березе, но, увидев старика и председателя, смешались; кто-то из передних упал, на него навалились еще двое или трое, получилась «куча мала», тикать назад было уже поздно, так и стояли и нестройной стайкой, опасливо поглядывая то на Стрелкова, то на Кондрата Матвеевича, который не спускал с них хитроватых глаз и улыбался, явно, как им казалось, замыслив что-то недоброе, то на матерей, сидевших на широкой прохладной лавке и умиротворенно болтавших о том о сем — может, о дружно кинувшихся в рост огурцах на огородах, может, о колхозных делах, может, о своих сыновьях.

Ребят за столы тоже надо усадить. Тетка Ганьча, гляжу, пирогов напекла, вот и пусть трескают с молоком. Время, оно, Матвеич, быстро летит: вчера нам был срок, сегодня сыновьям, трактористам моим, а завтра и этим гузатым иди в солдаты.

Пацаны, видать, почувствовали, что обстановка разрядилась, быстро шепотом посовещались, повернулись и опять скрылись в зарослях вишняка. Но чуть погодя высунулись оттуда черными, русыми и совсем белыми головками, один за другим вышли на дорогу и уселись на ее обочине, обметанной не густой, но яркой травой.

— Звони-ка, Матвеич, сбор. Пора, — сказал Стрелков.

Старик Кружаленков метнулся к раките, где на ржавом куске толстой проволоки висел вагонный буфер, служивший деревне пастушьим звонком и на батом одновременно. Трое пацанов, сидевших в это время на пряслах, которыми были обнесены огороды, соседствующие с луговиной, сорвались, словно

перепуганные воробы, с места и нырнули в вишняк, увлекая за собою и остальных, но Кондрат Матвеевич вовремя окликнул одного из них по имени-отчеству. Тот остановился, оглядел старика и, не обнаружив в его руках хворостины, вышел на дорогу и восприсительно дернул носом.

— Олег Григорьевич, ты вот что, малый, бери шкворень и лупани три раза в звонок. Только, смотри, три раза, не больше. Понял? А то переполошишь деревню. А я пойду пинжак надену. Потому как праздник все же.— И заскрипел деревяшкой прочь, давя молодую траву и с хрустом сшибая с одуванчиков желтые полузакрывшиеся головки.

Олег Григорьевич, худощавый и смуглый, как вишневый сучок, мальчуган, еще раз дернул носом, оглянулся на своих товарищев, стоявших чуть поодаль в ожидании расправы над ним или чегонибудь в этом роде, состроил им рожицу и побежал выполнять приказание старика Кружаленкова. Все остальные с завистью смотрели ему вслед, потому что ударить шкворнем по гулкой лепешке вагонного буфера считалось у арпылевской ребятни делом почетным и вполне взрослым. Даже нудная пастьба скота для многих из них скрашивалась тем коротким мгновением, когда, встав чуть свет, они троекратно с одинаковыми промежутками времени были в звонок, оповещая хозяек о том, что пора провожать на выгон коров и овец, и зачарованно слушали торжествующие над округой звуки, стройные, строгие, тревожные и ликующие, их переливы, вначале завораживающие, а потом тихие, как шепот травы.

Вскоре луговина под Матерью запестрела платками женщии и старух, головами мужиков и стариков — черными, русыми и такими же седыми, как у Кондрата Матвеевича Кружаленкова. Новобранцы тесно стояли возле дороги, чем-то напоминая шереигу, и посматривали то на столы, то на девчат, которые дружно облепили скамью под Матерью и, похояхтавая, поправляя прически, тоже глядели в сторону парней.

Кондрату Матвеевичу, успевшему-таки сбегать домой переодеться и предполагавшему, что заботам и волнениям его на сегодня пришел конец и настало время вкусить от трудов праведных, пришло слово говорить и первое слово. Речи говорить он любил, а вот так, на торжестве, тем более; потому не оробел, сказал все как надо, и у некоторых, кто постарше и у кого послабее нервы, вышибло даже благодарную слезу.

— Вот так, ребята! И не робейте. Ни здесь, за столом, ни там, на службе. Служба, она, брат, тоже робкого не любит. Что же касаемо еды, то она для солдата — первое дело после присяги и личного, так сказать, оружия. Время наше сейчас хорошее. Глядите, какие богатые столы вам матери ваши накрыли. Вольное время. И, главное, мирное. Вот за него и стойте там, на службе, стеной! — подвел Кондрат Матвеевич черту и тряхнул кулаком, сжатым крепко, добела, и на черном шевиотовом пиджаке, пахнущем нафтalinом и сундуком, так звякнули медали, что все, даже те, кто слушал старика вполуха, замерли.

— Правильно, дед Кондрат, — немого погодя, когда уже загремели вилками и ложками, сказал парень в форме десантника. — Вот так, ребята, и служите. Чтобы наши белые березки тут без вас да за вас не покраснели от стыда.

— Послужат, послужат, — пронеслось над столами. — Не один ты у нас герой.

— Верно, верно.

— Валера, а что же ты медаль свою не носишь? Потерял, что ли? — громко, чтобы слышали все, спросила десантница сидевшая рядом с ним Полина Ефременкова. Полина еще совсем девчонка, а уже вдова: муж прошлой весной свалился на тракторе под мост, повредил позвоночник и на третьи сутки умер в больнице. Даже ребеночка она не успела с ним нажить. А когда-то давно, и об этом знает вся деревня, что-то там с Валеркой у нее вроде как было.

— Моя медаль при мне, — ответил он и полез в карман. — Вот она.

Десантник разжал пальцы, и на ладони у него блеснула, тускло отразив свет заходящего солнца су-

ровым боевым серебром, новенькая медаль «За отвагу». Столы сразу притихли, даже слышно стало, как кричали в Усадьбе галки и радостно гукал на коленях у Зинаиды Гаврюченковой младенец. Потом все заговорили, каждому хотелось сказать то, что родилось в это мгновение на душе.

— Такие награды носить иадо, парень.

— А у деда Кондрата «За отвагу» вроде как целых две.

— Так то же война была великая. Сравнил.

— Ноносить надо.

— Красивая.

— Да, братцы, такие награды просто так не выдают.

— Кондрат Матвеич, ты где свои «За отвагу» получил?

— Первую — за московские бои. А вторую, на большой планочке, — за Сталинград, — ответил старик и дрожащей рукой потрогал одну из медалей, первую, на маленькой красной планке; она и висела не в основном ряду, а выше, рядом с Ленинской юбилейной медалью, и на это, видимо, были свои причины.

Неделю назад Валерка Евдокушин вернулся из Афганистана. Прошелся по Арпылям с новеньkim, сверкающим замками японским чемоданчиком, в голубом берете, парадном мундире и с медалью на груди, остановился возле калитки родного дома и, прежде чем дернуть за кольцо и открыть ее, вздохнул, запрокинул голову — в небе высоко-высоко плыли белесые облака — и сказал, улыбаясь:

— Ну, вот я и дома. Дома. Дома.

Теперь он провожал младшего брата, Серегу. Серега на голову выше его, хотя и Валерку бог ростом не обидел. За стол новобранцев Серегу посадили в середину, «для вида». Кудри ему, как и всем остальным, смахнули начисто, но и теперь (а может быть, теперь больше прежнего) девчата нет-нет да и взглядывали на него беспокойно.

Рядом с Серегой по правую руку сидели братья-близнецы Гриша и Санька Василенковы, за ними Коля Горюнов, а по левую — Лёничек Петруненков, точнее (так его звали все в деревне) — Лёсик. Прозвище прилипло к нему еще в детстве. Он долго, лет где-то так до восьми, картивал, и труднее всего, как ни странно, ему давалось собственное имя. «Как тебя зовут, детка?» — спросил его однажды рогачевский пастух Нила, каждое лето нанимавшийся пасти арпылевское стадо. «Лёсик», — ответил мальчик и взял из больших рук пастуха кусок белого хлеба, намазанный толстым слоем коровьего масла и посыпанный копотью сахарам.

Лёсик рос сиротой. Отца у него не было с самого начала, а мать пропала где-то на Дальнем Востоке. Записала его Иваиовичем — мало ли Иванов на русской земле? — а сама уехала на заработки, собираясь на год-другой, да так и не вернулась совсем. Из сельсовета послали запрос, ответ дали скоро: проживала, мол, там-то и там-то, умерла от рака легких и похоронена там-то. Немного погодя пришла посылька: кое-какие вещи матери. И перевод на двести пятьдесят рублей. Лёсика воспитывала бабка, приходившая его непутевой матери дальней теткой, но года три назад умерла, и парень, учившийся в ту пору в профтехучилище на тракториста, остался один.

За столом кто-то из мужиков вместо крутой ботвиньи, которым призывники запивали телятину, гусинину, салаты и картошку, налил Лёсику вина, но Серега заметил и показал из-под стола кулак, на что Лёсик улыбнулся, сморшив конопатый нос и обнажив косо отколотый в недавней драке с рогачевскими ребятами зуб, и к стакану не притронулся, а потом незаметно плеснул его содержимое под ноги.

Драка случилась во время первых проводов возле рогачевского клуба. Сошлились человек тридцать, а может, и больше, никто не считал, и, верно, кому-нибудь проломили бы голову или изрядно помяли ребра, если бы не подоспел участковый, которому кто-то передал, что затевается на танцах в Рогачевке. Лёси-

ку в этой драке досталось больше всех: ему раскрошили зуб, расквасили нос, и две с половиной недели покалывало и саднило в боку, пока Серега не сводил его к бабке Арюшечке. Та дала ему какой-то травки, Лёсик попил, покашлял, и все вроде бы прошло. О том, что на танцах будет драка, все знали заранее и потому ходили по площадке, как петухи, угремо посматривая друг на друга. Серега стоял в освещенном фойе клуба и пытался доказать кому-то из «вождей», что это нужно прекратить, что это дикость и невежество — устраивать драку в такой вечер, когда провожают друзей, когда расстаются на долго, но его оттолкнули, а на площадке тем временем две стенки стали медленно сходиться. В одну из них, не посмев бросить друга, встал и Серега.

Дружба у них завязалась давно. Начало ее они не помнили, потому что память редко хранит эпизоды такой ранней в жизни поры, как младенчество. Во всяком случае, если бы кто-нибудь сказал им однажды, что вместе с дружбой они родились, и Серега, и Лёсик с радостью поверили бы в эту сказку. Было время: вместе лазили по арпылевским садам, потом учились в одном классе и даже сидели за одной партой. А теперь случилось так, что влюбились в одну девочку и вдвоем провожали ее из клуба домой. Шло время, дружба не слабела. Девушка, которую они так ревностно оберегали и о которой заботились больше, чем о себе или друг о друге, тоже не привнесла в их сердца ни смятения, ни смуты, ни вражды. И прекраснее и сильнее мужской дружбы они пока ничего не знали в жизни и не ожидали от нее ничего прекраснее и сильнее.

И все же судьбы их складывались розно.

Лёсик работал в колхозе трактористом. Трактор ему выдали новый и не ошиблись. Год проходил он у Лёсика без ремонта — так, кое-что подтягивал, подвинчивал, подмазывал время от времени, — и сдал его неделю назад почти таким же, каким принял. Работал Лёсик хорошо, азартно и — что особенно нравилось Стрелкову и бригадиру Федору Селиненкову, который теперь тоже сидел здесь, за общим застолием, — выполнял все добросовестно, честно. За таким, говорят, следом по бороздеходить не надо. А ведь как бывает: другой тракторист поденежнее наряд выпрашивает, ругается, клянет на чем свет стоит или начинает хитрить, если что не по нем, становится на ремонт. А Лёсiku тот же лишний рубль хотя и не был помехой, но выклянчивать его, выжимать за счет других он считал зазорным. Однажды его послали в поле за «зеленкой», горохово-овсяной смесью для подкормки телятам. Завфермой бросил на прицеп пару кос, пару вил и сказал, что там его уже ждут и что к обеду нужно сделать не меньше двух рейсов. В поле Лёсик никого не нашел. Подождал час, другой, хотел уже возвращаться, но потрогал косу, ту, что поладнее была настроена, косанул разок, махнул другой и пошел. На четвертом кругу скинул потную рубашку, бросил ее на свежий ряд, разулся, закатал штаны и до обеда отмакал изрядный клин. Никто в поле так и не пришел, и в конце концов он перестал оглядываться на проселок. Накошенное Лёсик сгреб в копешки, подогнал трактор и стал грузить в прицеп. Когда вернулся на ферму, там его встретили растерянные телятницы. За то время, пока он разгружал «зеленку», женщины не проронили ни слова; они молча виновато посматривали на парня, разнося корм, и, быть может, думали о его сгинувшей на Дальнем Востоке иепутевой матери, ругая ее и в то же время безмерно завидуя ей.

Серега же прошлым летом закончил десятый класс. Ездил поступать в институт в Москву, но не поступил, вернулся в Арпыли и в один из дней, встретив возле Селинината председателя Стрелкова, попросился на должность конюха. Стрелков ответил, что конюх не баловство, а работа, и не легкая, если выполнять ее как следует.

— Знаю, Денис Иванович, — не отступался Серега, — я ведь на работу и прошуся.

— А на трактор почему же не хочешь? Мне, парень, трактористы сейчас во как нужны! — Стрелков чиркнул ребром ладони по кадыку. — Мы сейчас

двуухсменку налаживаем. Удостоверение ведь у тебя есть, вам вроде всем в школе выдавали. К другу в сменщики, а?

— Вы, Денис Иванович, если не доверяете, то так и скажите. Я ведь честно работать буду.

— Если бы не доверял, трактор не предлагал бы.

В колхозе было около двух десятков лошадей. Половина из них находилась в арпылевской бригаде и размещалась в старой деревянной конюшне. Впрочем, конюшней эту развалижу назвать язык не поворачивался. Когда-то, может, и была конюшня, но со временем так обветшала, что и смотреть-то на нее стало горестно: крыша осела, стены покосились, и их подперли березовыми столбами, но и это оказалось уже бесполезным: подпорками в некоторых местах придавило верхние венцы, и стены вот-вот могли рухнуть. Летом лошадей туда почти не загоняли, а о зиме не думали, полагаясь на авось: сколько зим перезимовали, осилим как-нибудь с горем пополам и еще одну.

Неподалеку от конюшни стояло старое кирпичное здание без окон, без дверей, с дырявой крышей, с обрушившимися потолком и гнилыми стропилами. Осталось оно еще со временем барской усадьбы и как бы замыкало собою местечко, давно прозванное арпылевцами Усадьбой. Стены здания были так же крепки, как и девяносто лет назад; клади их из красного кирпича почти в метр толщиной — что им годы? Только кое-где из белых, будто выжелезенных сот затвердевших швов, кирпич выкрошился, выверился, и там поселились воробы и какие-то маленькие серенькие пичужки. До войны, говорят, здесь держали овец, потом телят, потом снова овец, когда же их окончательно перевели в рогачевское отделение, устроили зерносклад, но вскоре в той же Рогачевке, где располагалась центральная усадьба колхоза, соорудили типовой элеватор, установили сложное оборудование, и единственное уцелевшее в буре двадцатых, тридцатых и сороковых годов здание Усадьбы снова опустело. Вот в нем-то и решил Серега разместить арпылевский табун. Два дня бригада плотников перекрывала крышу, а еще через три дня были готовы и станки. Потолочные балки тоже заменили и весь верх забрали жердями, потому что на чердаке новый хозяин решил хранить сено, к заготовке которого сразу же и приступил. Стрелков на радостях, видя такое старание нового конюха, предложил перевезти наготовленное сего на тракторах, но Серега отказался, сказав, что лошадь должна сама себя обрабатывать, а тракторам в сенокос и без того дел много. С утра до вечера скрипели по дороге из Галичевых лугов ловко захлуженные возы. Но на первых порах кони по привычке заходили в старое покосившееся помещение, бродили по разгороженным станкам, нюхали стены и углы, пропахшие потом и молоком их матерей, собирались вокруг соптабельянных на лето саней, чутко пряяны ушами, слушая голоса, доносившиеся с дороги, и со страхом и любопытством глядели на белую шиферную крышу, под свод которой их уже не раз и не два пытались загнать. Но потом Серега заудал Буяна и завел его в новый станок. Вслед за жеребцом пошли и остальные кони.

В табуне была белая лошадь Серафима. Может быть, Серега потому и попросился в конюхи, что, позролев и многое осмыслив по-иному, так и не смог преодолеть в себе прежней, детской привязанности к этой лошади. Он боялся, что председатель посмеется над его предложением, скажет, что в конюхи и пенсионера нетрудно подыскать, да и что это в самом деле, скажет: молодой человек, с образованием и — в конюхи? И потому обрадовался и был благодарен Денису Ивановичу, когда тот так скоро и без лишних расспросов согласился.

Прежнего конюха Тимофея Черемина по прозвищу Чёрхля «разжаловали» в скотники за беспорядки пьянисто еще весной, и поэтому летом коней запрягали все кому вздумается. Телеги перебили, поизуродовали, растеряли и поломали лестницы и полки. Все это нужно было ремонтировать, восстанавливать. Остальное хозяйство Сереге досталось хотя и порядком

запущенное, но доброе. Состояло оно из дюжины сбруй, старых и новых, еще не подогнанных, седелок, хомутов, на которых Серега сразу же где краской вывел, а где шилом выцарапал слова: «Любка», «Тарзан», «Лыска», «Кубанка», «Красотка», «Герой» и, наконец, «Серафима».

Деревня гуляла во всю ивановскую, самые бойкие и веселые успели попеть, поплясать и для восстановления сил подразгрузить столы от яств и питья еще раз и еще. Речей больше не говорили, все, что положено было сказать, давно сказали. И в это время Полина Ефременкова, оглядев застолье, уронила будто ненароком:

— А что ж это Арюшечки-то не видать? Или пригласить забыли?

Стрелков посмотрел вначале на Федора Селиненкова,— мол, бригадир все же, как же так, вся деревня за столом, а старухи нет,— потом на Кондрата Матвеевича, потом на притихших призывников, потом на Анну Прохоренкову, потом снова на Кондрата Матвеевича и снова на Анну.

— Что ж это, а? Матвеич? Ребята? Что же вы Арину Карповну не позвали? Вот тебе и на! Спокойтились под шапочный разбор. Гуляем, называется.

Ребята нестройно ответили, что бабку Арюшечку звали, что прийти она обещалась. А старик Кружленков, придерживая ладонью медали, чтобы не очень звенели и не мешали говорить и слушать, пробормотал что-то невнятное и многозначительно кивнул на Анну.

— Ох, Анна, Анна. Так я и знал. Ну разве ж так можно?

За столами заговорили тихо, вполголоса, закачали головами. Председатель потянулся было за стаканом, но передумал, решительно отодвинул его ребром ладони в сторону.

— Анна, ты ведь умная женщина. Ну, представь ты себя на ее месте. А?

— Вот уже семь лет в августе будет, как представляю. И днем и ночью.

Анна Прохоренкова, высокая смуглая женщина с гладко причесанными, стянутыми на затылке в тугой узел волосами и ровными дугами черных бровей, которые, показалось Стрелкову, ничуть не изменились со времен ее девичества, сурово посмотрела на него.

— Ты, председатель, эту боль лучше не тревожь.

— Не сердись, Анна. И прости, за ради бога прости, не хотел, ты же знаешь. Ах ты, как получилось...

— Не туда несено, да тут уронено,— ухмыльнулся кто-то за крайним столом, но его одернули, зашикали, злó и решительно, и на людей навалилась тишина.

Стрелков не выдержал тяжелого взгляда Анны в этой давящей тишине, опустил голову и кашлянул в кулак. Столько боли плескалось в глазах Анны, что страшно глядеть в них стало. Ах ты, мать честная, подумал он и, чувствуя, как горячая волна отчаяния захлестывает его, сказал:

— Но нельзя же так, голубушка. Ведь ни при чем тут старуха-то. Ни при чем! Понимаешь ты? Алексей, ну хоть бы ты на нее воздействовал.

Алексей, муж Анны, посмотрел на Стрелкова и вначале ничего не ответил, а только вздохнул и прошел слегка дрожащей ладонью по зачесанным назад темно-русым волосам, будто поправляя их, но, когда тот повторил свой вопрос, сказал:

— Посмотрел бы я, Денис Иванович, как бы ты на свою Галину воздействовал, если бы и твоего Витку тогда... Не дай-то бог, конечно...

— Эх, Алексей, ну что мне сказать вам?

— А ничего. Ничего, Денис Иванович, и не говори. Незачем слова зря тратить. Словами тут только хуже растревожишь.

— Так-то оно так, Алексей. Только за Ариной Карповной послать все же надо. Нехорошо иначе.

Над столами вначале опять повисло молчание, даже пацаны притихли, навострили уши и слушали, что скажут взрослые, а взрослые, в свою очередь, ждали, что будет дальше, но когда за старухой было все же послано, деревня загудела, как беспокойный

улей; громко, однако, никто не разговаривал, к еде тоже не притрагивались, гармонь молчала, и было заметно, что люди неторопливо и тяжело думали какую-то общую нелегкую думу.

У Анны и Алексея Прохоренковых погиб на границе сын. Тоже вот так провожали, веселились, песни пели. А встречать не пришлося. Тело в Арпыли привезли в цинковом гробу, открывать не стали, хотя Анна на коленях просила и Алексея, и военкома, сурового седого дядьку с майорскими погонами, разрешить ей взглянуть на сына, поцеловать его в последний разочек. Сказали над ним какие-то слова, взвод солдат вскинул над головами карабины с примкнутыми штыками, дал прощальный залп, другой, третий. И все. Когда яму забросали рыжей арпылевской землей, с Анной стало нехорошо, ей дали воды из солдатской фляжки, она сделала несколько жаждых судорожных глотков и вырвалась из рук Алексея, который тоже с трудом сдерживал себя, с растрепанными волосами заметалась среди солдат, приводивших в ту минуту в порядок оружие, хватала их за руку шинелей, заглядывала в лица, словно искала кого-то. Солдаты молча переглядывались и растерянно опускали глаза. Потом, может, через год, а может, позже, кто-то из баб нашептал, рассказал-таки Анне, что когда их Володька прощался, когда ему с машины уже подали руки, подошла бабка Арюшечка, отодвинула родственников и сказала: «Ты, Владимир, Егора моего, младшенько-го, ежели встренешь где, поклонись ему, сыночек, от меня и передай, что сердце мое по нем изболелось. Пущай скорее ворочается. Он ведь тоже где-то там, во солдатушках». «Что ты плетешь, старая»,— оборвал ее Алексей Прохоренков и оттолкнул от сына. А Володька вместо того, чтобы подать ребятам руку и вскочить на машину, подошел к старухе, поцеловал ее и что-то сказал тихо, никто не разобрал, что именно, и гадали потом всякий на свой лад. Анна к машине не вышла, сердце разболелось, и, покуда шли от сына с тревожной границы хорошие письма, никто ей об этом случае ни словом, ни полсловом не обмолвился.

Четверо сыновей Арины Карповны Журавлевой и муж Степан, лучший кузнец на всю округу, не вернулись с войны. Пять похоронок получила она за три года после оккупации, и в Арпылях, куда эти страшные весточки с войны шли и шли, не обойдя ни одного двора, считали ее горе самым тяжким. Пятеро мужиков — как пять перстов на руке. Последним она проводила на фронт самого младшего и жалкого — Егора. Кто постарше, тот, должно быть, помнит, как уходил на войну из родных Арпылей Егор Журавлев, как играл напоследок на гармони, как повесил ее потом на покосившееся свясле на околице и побежал догонять товарищей, молча уходивших пыльной дорогой на станцию, горбясь над равниной полей серыми тощеватыми сидорами. Вот тогда-то и закричала Арюшечка, выбежала следом, остановилась как вкопанная возле березового свяслася, на котором, всхлипнув в последний раз и до предела растянув пестрые, как девичий сарафан, меки, висела Егорова гармонь; сорвала с головы платок и словно в судорогах сжалась, скрючилась вся от напряженного крика: «Егорушка! Сынок! Ты ж поклонись там братям и отцу! Григорию, Алеши, Василию и отцу!» К тому времени в дом Арины Журавлевой уже пришли две похоронки, оповестив ее о гибели мужа и одного из сыновей, и кто-то из женщин, глядя, как убивается она, повалившись на пыльную дорогу, по которой только что ушел на войну и Егор, последняя опора и отрада, сказал: «Да что же это она, бабоньки, Егорку-то к ним провожает?»

Вспомнили, передали Анне давно забытую историю, и у той от страха и злобы зашлось сердце.

Когда пришла повестка их младшему, Михаилу, Анна покрыла черный платок, который все эти годы носила по первенцу, и пошла к Арюшечке. Что она ей говорила, какие слова, никто не знал, только на проводы под Матерь, куда собралась вся деревня, кроме парализованного кузнеца Ивана Павловича Бусиленкова, старуха не пришла.

— Некорошо это. Хоть как подойди, а — некорошо,— повторил Стрелков и подозвал к себе Серегу и Лёсика.

Когда ребята ушли, к Стрелкову подсели старик Кружаленков и сказал, половчее устраивая под столом свою деревяшку:

— Да, Иваныч, судьба, вон она злобная какая к ней — ни одного не пожалела, не вернула. Не жизнь — горе горемычное. Не откажешься, не откостишься. Я ведь, если помнишь, со Степаном ее вместе уходил. Эх, Степа, Степа! Где ты сейчас лежишь, удалая твоя голова? Вот, Иваныч, силен мужик был! Конюшню, помню, рубили, ту, которую Сережка Евдокушин летось списал, так он на комле один становился, а мы с другой стороны — втроем, и несем бревно по лесам хоть бы что. Богатырь! Зато у него и ребята такие все крепкие были! Один в одного. Где, в какой землюшке успокоился? А я, Иваныч, все боялся, что иа немеччине где-нибудь зароют. В Рассее воевал — ни господи боже мой не боялся, что убьют. Притерпелся к мысли, что не долгий век мне по войне под пулями ходить. Даже когда по Белоруссии шли, не так страшно было. Посмотрел я, Иваныч, бабы ихние, в деревнях которые, такие же, как и наши, и говорят понятно, по-родному так говорят, что слезы из самой души, бывало, тянет. И старики такие же, и дети. Старики и дети в особенности. Вот в Польше уже было не то.

— Это, Матвеич, тебе просто жить захотелось.

— Так мне всю войну жить хотелось,— возразил старик Кружаленков.

— Нет, Матвеич, ты признайся, пехота, что Победу почувствовал,— погрозил ему пальцем Стрелков,— понял, что скоро все, конец войне, что убивать скоро перестанут. О жизни размечтался.— Денис Иванович усмехнулся, задумался, подперев щеку потным кулаком.— А жить и на самом деле ой как окота! Даже на войне, где почти каждый день убивают. Я ведь, Матвеич, и сам грешил подобными думками. Хотя за чужие спины и не прятался. Я тебе сейчас один случай расскажу. В Венгрии было, возле города одного, Дьёром называется. Наводчика нашего убило. Друзили мы с ним крепко. С самой формировки вместе и вместе. И звали его тоже Денисом. Наш расчет в батарее в шутку звали — Два Дениса: наводчик и командир. А в общем были мы с ним словно братья родные. И как стали коронить его после того боя, так у меня, Матвеич, в первый раз за год боев сердце заплось. Показалось, брат ты мой, что не его товарищи коронят, чужой землей засыпают, а меня и что не будет для меня уже ни Победы, ни дороги домой.

— Черт ее, кривую, знает, может, и так. Вон сколько нашего брата в этой Европе похоронено. Столько могил нарыли, что господи боже мой!

— Дьёром назывался город тот. Запомнилось. И mestечко помню. Холмик и речка внизу.

— Бывало так, что из роты по целому взводу в ямку складывали.

— Так мы его на холмике и закопали. У дороги. Чтобы прохожим и проезжим виднее было.

Принесли гармонь, гармониста усадили на шаткую табуретку под Материю, выключили магнитофон и начали плясать.

Ой, бывало, милый скажет,
Ой, бывало, скажает:
«Ну кто ж тебя, моя березочка,
До дома доведет?»

Это девчата; они на гармонь отзывчивые, первые в круг — скок и пошли юбками трепать, только пыль столбом. Частушки теперь не в моде, но вот ведь знают, сохранили, поют. И как поют! Или в Арпылях народ такой памятливый?

Меня милый провожал,
Все за талию держал.
Выйду замуж за него,
Будет

Последние слова частушки потонули в дружном хохоте.

— Ну и Полина, едрит твою! — Кондрат Матвеевич стукнул ребром ладони по деревяшке, зазвенели медали.— Это ее не иначе как Ганьча научила. Вот, язви ее!..— И, приложив к уху ладонь, опять прислушался, вытянул напряженно губы и прикрыл глаза.

Ой, залетка дорогой,
Напой холодную водой.
Может быть, по старой памяти
Сойдемся мы с тобой.

— Ты слыхал, Иваныч? Ох, и баба, скажу я тебе! — Снова покачал головой старик Кружаленков.— Огонь! Полный залп реактивного миномета. Это ж она над Валеркой Евдокушиным измывается.

— Ну, он-то хвоста ей прижмет.

— Кто ее зиает, Иваныч. Может, и прижмет, ежели она, скажем, хвост-то подставит. А ежели нет? Гляди! Эх, огоны! Я ж говорю. Не горишь, так обожжешься. На всю жизнь оконтузит.

— Старая память. Верно Полина пропела,— отозвался Денис Иванович, отозвался и усмехнулся, но так горько и невпопад, что пришлось ему отвернуться, чтобы не заметил этого старик.— Такое не скоро забудется. Да и забудется ли когда.

— Ничего. Память ихняя не такая уж и старая. Поди-то и не загрубела еще.

Но вот в кругу затопали сразу несколько пар ног, и голос десантника прорубил, как на плацу перед вечерней поверкой:

Ой ты, Лена моя, Лена!
Лена моя, Леночка!
Зимой на саночках каталась,
Теперь — на коленочках.

— Ишь, черт, как подбирается,— послышалось за крайним столом, где собирались в основном матери новобранцев.

— А чего, бабы, хороший ведь парень, справный. Отслужил.

— И с медалью теперь. И должность, глядишь, хорошую дадут, денежную. А как же, заслужил.

— Герой. Как Кондрат наш.

— Что ж, и вправду парень хороший. И не пьет.

— Не пьет, не пьет, это правда.

— А Полька, гляжу я, бабы, и сама не прочь. Вон, глядите-ка, все глаза ему раздарила.

— Ага, ага, выюном вокруг него вьется.

— Э, раздарилась твоя Полька — дарить-то, поди, нечего.

— Почему ж это нечего? Что у нее, пять мужиков, что ли, было?

Захохотали, кутая плечи в цветастые платки,— будто куры закудахтали.

Стало прохладно. Солнце зашло незаметно и тихо, на Арпыли надвинулись сумерки, косогоры и стежки потемнели, выпала роса, и в проулках густо запахло сиренью. Над ракитами и в густых, низко свесившихся ветвях Матери залетали майские жуки, ребятишек в один миг будто вымело из-за столов: с криком и азартным солением они кинулись ловить их, сбивая картузами и рубахами. На майского жука хорошо брали голавли на речке Арпылинке. Завтра чуть свет кто-нибудь из этих вихрастых будет стоять на камнях и с замирающим сердцем следить за подпрыгивающей на волнах быстрого течения насадкой.

Гармонь под Материю на минуту замерла, потом всхлипнула, растягивая долгий и жалобный звук: наверное, девчата отвлекли.

— Что-то наши ребята долго не идут.

— Да, пора бы уже и вернуться.

Стрелков поймал за штанину пробегавшего мимо пацана с черемуховой веткой, которой тот, видимо, сшибал жуков, погрозил ему пальцем и приказал:

— Следай, Олег Григорьевич, к бабке Арюшечке и разузнай, как там наша экспедиция. Пусть не мешают.

Мальчик, хлопая широкими штанинами, вскоре скрылся в сумрачном проулке, и старик Кружаленков, проводив его насмешливым взглядом, продолжил прерванный разговор:

— Да, Иваныч, как же не помнить, помню. Еще как помню. Ты-то тогда еще пацаном был.

— Ну да, пацаном, как же,— возразил Стрелков.— В сорок третьем уже призвали. А ну-ка, скажи, если хорошо помнишь, кто вам тогда повестки привез?

— Повестки? А-а, повестки... Вот этого, убей, не помню.

— Значит, вытрясла война из тебя малость памяти. Поубавила. Я привез!

— Ну! Точно, вспомнил, ты, Иваныч! На черном жеребце?

Стрелков кивнул.

— А я, видишь, жеребца больше запомнил. Да. А война, брат ты мой, памяти не убавила. Нет, не убавила. Хоть и контузия очень даже серьезная была. На переправе через Одер-реку так шарахнуло, что думал, все, кончилась моя рать. Война во-он сколько всего в памяти уместила, и за всю оставшуюся жизнь не перескажешь. Как в мешок натоптала, столько натоптала, что господи боже мой! А я, Иваныч, жеребца больше запомнил.

— Да, был у нас до войны хороший конь в табуне. Цезарь! Черный, как ворон. И с характером. С характером, скажу я тебе. Действительно Цезарь! Путо страсть как не любил. Так у меня с этим Цезарем целиая история вышла.

— Когда это было?

— Году, как бы тебе поточнее сказать, в тридцать шестом. Да, примерно так. Никита Проничев у нас уже председательствовал.

— Пронича еще в тридцать втором выбрали в председатели. За штаны.

— За какие штаны? — нехотя отвлекаясь от своей истории, переспросил Стрелков.

— За кавалерийские. Со шкурой. Были у него штаны такие, с подшивкой из мягкой кожи, чтобы верховьем ловче ездить. В этих штанах он с гражданской пришел, а носить не носил. Стеснялся, что ли. А как собрание объявили, вот тут-то он в первый раз их и надел. Другие-то обтрепались, и на люди в них показываться было просто-напросто уже совестно. А тут собрание! Увидели его бабы, а увидели они Пронича еще на правленском крыльце — едричество! — окружили, загаддали да еще пощупать материю норовят. Ты же знаешь наших баб, им только попадись что на язык — у-у!. Так, пока шумело собрание, на него посматривали да посмеивались. А потом, когда дело подошло к выборам председателя, взяли да и выдвинули его кандидатуру. Потому как он в своих штанах среди всех нас самым видным был. Райкомовский председатель кричит: у нас, дескать, районного руководства, мнения другие, предлагаю председателем колхоза выбрать такого-то, а бабы ни в какую: Никиту хотим, у него штаны вон какие справные, с кожаной подшивкой, а у наших мужиков у всех с дырками да заплатками, куда ж это годится, никакуда, дескать, не годится, какие штаны, кричат, такой и колхоз будет. Вначале его и звали — бабий председатель. А потом ничего, стал Пронич так колхозом заправлять, что вскорости все арпылевские мужики и вправду в новые штаны оделись. Да. А в этих, со шкурой, Пронича, говорят, и расстреляли в сорок первом, под Тёщей-то. Его и райкомовского малого. Ну-ну, что ты про жеребца хотел рассказать?

— Никита Проничев тогда хотел у цыган выменять какую-то кобылу. Приглянулась ему в их табуне кобылка одна. Любил, кавалерист, с цыганами меняться. Каждое лето они приезжали сюда и вот там, недалеко от могильника, за Усадьбой, тaborом останавливались. Иногда в обмен хорошие лошади попадались, а иногда кочевники попросту надували Никиту, а купно с ним и весь колхоз. Народ сердился, когда председатель в очередной раз заполучал от этих разбойников какую-нибудь заезженную клячу взамен доброй лошади. Однако сносил это терпеливо и поперек председательской блажи не становился. Хотя в те времена лошади ого как ценились! Основная тягловая сила. Трактора только в «эмтэсах», жди, когда они приедут. А лошади всегда под рукой.

И пахали на них, и жали, и косили, и сажали, и по дровы черт знает куда ездили, и все как-то успевали поделать, заготовить, убрать. Ну, не тебе, Матвеич, такого рода политграмоту зачитывать. Хотя... Стрелков насмешливо покосился на старика Кружаленкова.— Ты ведь тогда все по войнам. Только в Испании, наверно, не был. Ну, слушай, значит, дальше про моего Цезаря. А точнее, про то, как я его однажды от цыганской узды уберег. Ты-то тогда, кажется, действительную служил.

— Это когда?

— Я ж говорю, в тридцать шестом.

— В тридцать шестом? — Кондрат Матвеевич прижмурил один глаз, а другим будто прицелился в угол стола, высокую вскинув седую ложматую бровь.— В тридцать шестом — да, действительную. А в Испанию меня не пустили: грамотешки, сказали, маловато. Но на войну я все же попал. Пришел домой, отслужился, как положено, а через год опять — под ружье и на Карельский перешеек.

— Ну вот, когда ж тебе землю пахать было? — без укора и даже с сочувствием сказал Стрелков.— Ага. И задумал однажды, значит, наш председатель Цезаря цыганам отдать. Они его сами в табуне приглядели. Никите Проничеву одна кобыла у них понравилась, так он сказал хозяину: любого, мол, отдам за нее, сами в табуне и выбирайте. Ну, у них губа не дура, сразу Цезаря и заприметили. Утром должны были его забрать, потому что вечером состоялись смотрины, и цыган с председателем ударили по рукам, а в ночь с табуном в Лучку напросился я. Вместе со мною в ночное еще двое ребят пошли. Разожгли мы в Лучке костер, я сразу ребятам своим: так, мол, и так, вы тут оставайтесь, а я на Бабий Хутор, затаюсь там, пока сыр-бор догорит и цыгане не уедут. Если спросят, говорю, отвечайте, что не видели ничего и не слышали, черт его знает, был, говорите, тут, а nozzle ушел, а куда, про то не знаем и не ведаем — спали смертным сном. Уздечку я еще заранее припас, под берегом спрятал. Поймал я Цезаря, он мне всегда легко давался, и так вдоль речки вначале, а потом полем, лугами и — на Бабий Хутор. Там тогда еще сарай стоял, вот в нем я и прожил неделю, пока цыгане не снялись и не ушли из Арпылей со своей кобылой. Никита же Проничев угона мне не простили и самым немилосердным образом отодрали кнутом. «Конкр-рад! — кричит, аж побагровел весь, видно, перевживал, что цыганскую кобылу заполучить не удалось.— Да знаешь, что за такие дела?..» А батька мой мне же еще добавил. Но Цезарь в Арпылях остался уже навсегда. Впрочем, его потом на фронт отправили. Лучших лошадей отдали.

Гармонь снова засиграла, но уже не так, как прежде: гармонист то ли устал, то ли загрустил что-то.

Гармошечка на ремне,
Выпал срок тебе и мне:
Мне — служить, тебе — грустить.
Эх, не будем мы с тобою
Девкам головы кружить.

Кондрат Матвеевич и Стрелков слушали его и не слушали — вспоминали. Им было что вспомнить.

— Привез ты нам тогда повестки, бросили мы косы в ряды и молчим. Пронич раздал всем — каждому в руки, речь сказал. А как замолчал, опустил голову, тут и заголосили наши бабы. Так всю дорогу до деревни и дежурили: то одна загундит, то другая голос взвьет, то третья обомерт. На финскую уходили, такого не было. А вот как не пришли с финской-то Федот Аксютенков и Гришка Астащенков, так поняли люди, что война — дело не шутейное, там и убивают. Только одна Арюшечка не плакала. Все бабы ревята ревут, она нет. Только побледнела вся, как полотно. Взяла своего Степана под руку и шла молча. Вот, Иваныч, а ты говоришь: вытрясла война. Нет, брат ты мой, те проводы, должно, и мертвым помнятся. Так же, как мне теперь.

— Мертвые не помнят.

— Не помнят, верно. Зато мертвых помнят.

— Помнят.

— Зашли мы, значит, в Арпыли, пот со лбов стерли. А жара такая стоит, что господи боже мой! Да-же куры все под сенцы да под кусты похоронились. Мы, мужики, кому пришли повестки, договорились сразу собраться под Материю (тогда она поможе была, покруглее и поподбористей) и пойти купаться. Человек двадцать нас было. Эх, как купались мужики! Как мы купались, Иваныч! Думали, речку выплеснем. Азарт какой-то, веселье, черт его знает откуда, словно не на войну, а в гости собираемся. Степан Журавлев среди нас самый старший был. Потом брат твой, Федор. А потом уже мы, мелкосня. Хотя тоже разного калибра. Из журавлевского дома повестку получил не только Степан, но и Алексей. Он тогда только-только успел вернуться с действительной. Пока купались, пришли наши бабы — к кому жены, к кому матери, а к кому сестры — чистое принесли. Переоделись мы в чистое и снова под Материю собрались. Вот здесь и сидели. Тогда здесь лавки были врыты на дубовых столбах — для сбораний. Пронич нам газету с сообщением читал. А вечером и ушли.

Опять включили магнитофон, и в вечернюю теплынь рванулось: «День Победы... Как он был от нас далек!»

— Глядите-ка, бабы, — послышалось за материнским столом, — Валерка-то наш опять медаль надел.

— А что ж делать, раз Полька на него ноль внимания и фунт презрения.

— Ага, ноль внимания, а у самой, должно, все смерклось...

...Формировали нас спешно. На какой-то станции. Названия не помню. Тогда не до того было. Ротный командир нам попался горластый такой, как Ганьчиш петух, нервный и вдобавок еще трус. Он нас потом и погубил: сунул роту под пулеметы, так всю и пошмуговали на поле. Взводами шли. Задача стояла такая: за лесом километрах в пяти от станции нужно было занять оборону по обеим сторонам проселочной дороги, окопаться и продержаться хотя бы до утра. А они нас встретили где-то на полдороге. И так удобно, гады, позицию выбрали. Надо ж было ему нас по тому полю повести. Хоть бы опушкой... Ротного я потом в лесу видел. С нами почему-то не пошел. Хреновое воспоминание у меня осталось. С темной серединкой, сдается мне, человек тот был. Если посмотреть с одной известной стороны, то сунул он нас под пулеметы очень даже ловко. А в лесу, когда мы, остатки, собрались и хотели было ударить по засаде с тыла, приказал расходиться и пробиваться поодиночке. Немцев там было мало, десант, человек десять — пятнадцать, но тогда, в сорок первом, они такие накальных были, что и с батальоном бы бой приняли, случись такой удобный момент. Мы пошли втроем. Подобрались из разных взводов. С поля ползли вместе, вот и сдружились. Решили: будь что будет, а дальше, до конца, — вместе. Помирать, так на людях. Втроем хоть мало-мальски оборону держать можно. Да и раненый среди нас был один, легкий, в руку, но бросать его нельзя — совсем скис парень. Пацан еще. Родом из-под Харькова, украинец. И все, помню, просил меня: дяденька, не бросьте, дяденька, не оставляйте одного, дяденька, я стрелять не могу. А и правда, пуля ему прямо в ладонь попала, кости так и подробила, торчали, как белые иголочки. Не бросили. Примерно через шесть суток вышли к Ельне...

— Гляди, бабы, гляди, как она вокруг него... А говоришь — фунт презрения.

— Ох, не миновать им друг дружки.

— К тому и идет.

— Что ж, дело молодое.

...Вышли. Из огня да в полымя. Под Ельней такая каша заварилась, что господи боже мой! Вот где я крови повидал. Но воевали мы там уже умнее, не так, как на поле, где ротный нас под пулеметы сунул. Раза два в штыковую ходили. Страшное это, Иваныч, дело — рукопашный бой. Как во сне. Командиры поднимают — пошел брат солдат полюшко чистое мерить. Тебе-то не приходило?

— Нет, не приходило.

— И слава богу, Иваныч.

— Да, Матвеич, хлебнул наш народ горюшка.

— Хлебнул. До сей поры горько.

Разговоры за столами шли и шли, и были они разными, как и люди.

— Сладко ли одной? В такие-то годы? Вспомнишка, бабы, каково нам без мужиков было. Побило всех, эх, всех, на войне распроклятой. Так у нас хоть детки остались. Теперь вон и внуки пошли, как горошины покатились. Несладко одной, что ни говори.

— Народит еще себе Полина ребят, народит. Не война ведь. Нынче бабам только и рожай.

— ...Вот там меня и ранило в первый раз. В ногу. Кость не задело, только крови много вышло. Через месяц снова был уже на формировке. Под Наро-Фоминском.

Молодежь танцевала, сбившись в нестройную кучу. Одна песня сменяла другую: магнитофонная лента длинная — какой гармонист за нею угонится. Запахло пылью, но еще крепче — сиренью из Усадьбы. Вскоре магнитофон неожиданно замолчал, кто-то из парней кинулся было менять кассету, но в это время на окопице послышался гул коровьего стада.

— Что-то Нила сегодня припозднился, — заметили женщины.

— В такой день можно б было и пораньше с пойлей вернуться, — согласились мужики.

— Танюш, — окликнул Стрелков Таню Селиненко-ву: мать выпроводила ее встречать корову, и девушка нехотя выбралась из-за стола, — ты Нилу позови там, пусть идет сюда. Скажи: народ просит. — Посмотрел на часы: было уже около девяти, и он подумал, что ребятам пора было бы вернуться.

Стадо вошло в Арпыли и стало неторопливо растекаться по дворам и проулкам. Деревня сразу ожила извечными звуками и запахами. Под Материю засуетились, забегали, закричали.

В ближних дворах уже загремели ведра, и чуть погодя тугие струи зазвенели о донья дюенок. Но народу под березой, казалось, и не убавилось.

Глава вторая ГЛАЗА СЫНОВЕЙ ТВОИХ

Серега и Лёсик шли вдоль тынов, слушали, как под Материю гудом гудит разгулявшаяся деревня. Изредка переговаривались.

— Сегодня и поспать некогда будет.

— После высписься.

— Где? В поезд?

— Нет.

— В казарме, что ли? — И Лёсик усмехнулся. — В казарме высписься, как же.

— Когда отслужим, тогда и высписься, — сказал Серега и вдруг схватил его за локоть. — Подожди. А что это ты так разволнился?

— А ты что подумал? — Лёсик вырвал руку, толкнул друга в плечо и засмеялся. — Нет, не то ты про Лёсика подумал. Лёсик всегда вместе со всеми.

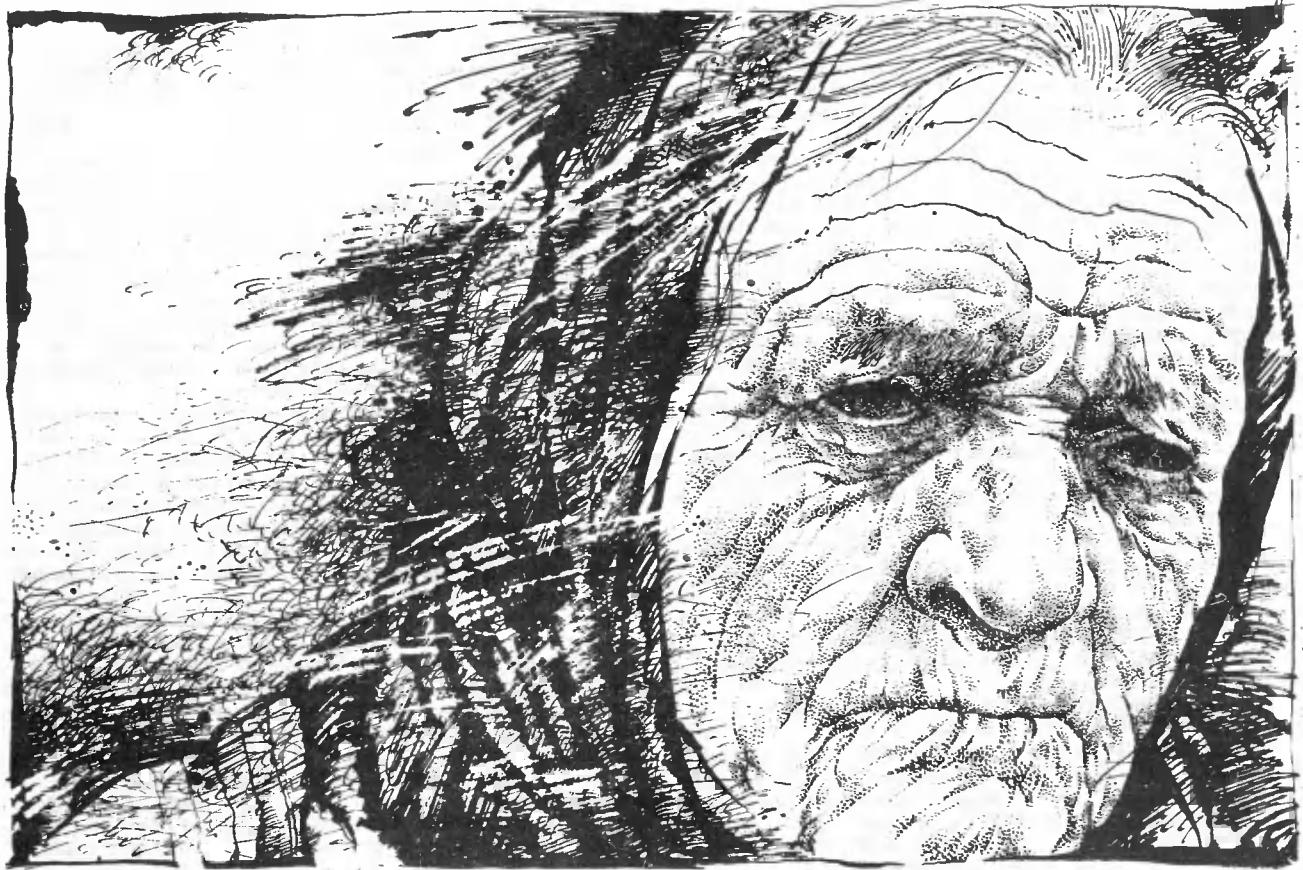
— А если в Афганистан?

— Ну и что? Пошли — жила не затрясется. И потом, я же буду не один. Знаешь, если бы все выбирали... Если бы Валерка, брат твой, выбирал, если бы другие, кто был с ним вместе, выбирали... Кто же будет служить тогда?

Серега шел позади Лёсика, но первым увидел желтый огонек в одиноком окне крайней хаты, стоявшей особняком и отделенной от общего деревенского порядка пустовавшей усадьбой, заросшей молодой, но уже вошедшей в силу крапивой и мать-и-мачехой в том месте, где когда-то была печь, а теперь сиротливо и бесприютно горбился невысокий холмик битого жженого кирпича и глины.

— Не спит старуха, — сказал он, но Лёсик, видимо, не расслышал его слов.

— В Афганистан так в Афганистан. Что я, хуже других, что ли? — рассуждал тот, внимательно глядя



под ноги, то и дело перешагивая коровьи лепешки, темневшие на белесой стежке.— Вон Валерка с наградой вернулся. Мне, Серега, бабка моя так говорила: куда народ, туда и ты, и если тебе кажется, что все идут не туда, то не верь себе, потом, говорит, поймешь, что правда всегда с народом. Я бабке верю. Она у меня мудрая была. А врат ей незачем было. Значит, так оно и есть. Там революция, народ борется за свободу, надо помочь. Стреляю я хорошо, так что солдатом буду неплохим. А может, стрелять уже и не надо. Ведь перестанут там когда-нибудь стрелять.

Серега все это время не упускал из виду освещенное окно Арюшечкиной хаты, но когда они подошли к черной стене тына, во многих местах потрэзженного скотиной и кое-как поправленного где неошкуренным горбылем, а где и корявой яблоневой сушиной, когда рукой подать уже было до калитки, свет в окне погас. Они остановились и, затаив дыхание, смотрели в темноту, где всего минуту назад матово белело зашторенное окно, чернели переплеты рамы, отбрасывая на стежку крестообразную тень. Слышно было, как под Матерью опять заиграли на гармони, но уже не плясовую, играл кто-то со знанием дела, видно, самого Стрелкова усадили арпылевские девчата на табуретку и, устав от плясок, попросили сыграть что-нибудь для отдохновения души. Нежные переливы волнами накатывали на этот край деревни; ребята какое-то время слушали, потому что там вдруг запели. Песню вели в основном женские голоса, Серега и Лёсик пытались угадать среди них голос Тани Селиненковой, бригадирской дочки. Но ничего такого не рассыпали, перевели дыхание и даже не взглянули друг на друга. Лёсик подумал: последнюю ночь сегодня дома, что теперь ходить, вздыхать, да и сама она к Сережке больше льнет, уйду я, пусть хоть простятся как следует, уйду, вот приведем старуху, и я уйду, спать завалюсь.

— А может, она корову доит?

— Может. Давай сперва во двор зайдем.

Скрипнула, затворившись за ними, калитка, они вошли во двор и тотчас услышали тихий голос старухи

и такое же тихое шуршание молочных струек, пробивающихся молочную пену. В темноте отчетливо виднелся белый платок, белая доенка и такой же белый nimб пены, поднявшийся выше дужки.

— Стой, Красава, не мотайся,— говорила старуха,— а то домотаешься, все молоко мне испоганишь. Приедет завтра Афанас с своим молокомером, скажет: грязное молоко, тетка Арина, непорядок. Уж он-то скажет, словом не подавится. Что я ему отвечу? А, ну вот и стой тогда. Я ж тебе, найдя такая, и мучицы в пойло посыпала, и сухариков размочила, и сольцы потрусила, а ты, бессовестная...

Красава, лежая и огромная, как кладня березовых дров, похоже, и вправду слушала свою хозяйку, потому что после того, как старуха ее постыдила, ни свистящих помахиваний хвостом, ни нетерпеливых переступаний с места на место, ни надсадного мычания ребята уже не услыхали.

— С кем это она там разговаривает? — шепотом спросил изумленный Лёсик.

— С коровой. Старуха все время с нею — как с человеком, вот и научила человеческий язык понимать.

Серега вспомнил, что пастух Нила перед тем, как повернуть стадо к деревне, кричал иногда: «Красава! Домой пора! Домой! Домой, Красава!» И та, где бы в это время ни находилось стадо, вытягивала в сторону Арпылей свою длинную шею, качала огромной черно-пестрой головой с отломанным рогом и радостно, взахлеб рекала, отчего начинали волноваться и другие коровы. Красава у Арюшечки давно и тоже, должно быть, старая, как и сама Арюшечка. Но молока и в прежние годы, и теперь давала много: всегда полным-полна доенка — и утром, и в обед, и вечером. Почти весь уход Аррюшечка сдавала молоко сборщику Афанасу. Каждое утро тот обезжаил деревню на гнедом мерине Тарзане, запряженном в телегу с широким полком, на котором в два ряда стояли тяжелые белые бидоны, покрытые капельками холодной росы.

— Бабушка, здравствуй,— окликнул ее Лёсик, но старуха даже не оглянулась в их сторону.

Она встала, молча повесила на тын скамеечку, под-

няла ведро, погладила Красаву, которая в это время потянулась к ее карману, сказала что-то привычное и доброе умирающей корове и понесла молоко в сенцы.

Ребята переглянулись.

— Ей надо на самое ухо кричать. Забыл? — сказал Серега.

В войну немцы заперли Арюшечку в погребе и через люк бросили гранату. Она осталась жива, но слух почти потеряла.

Серега дернул друга за рукав.

— Ну, пошли?

— Страшновато, — не сразу признался Лёсик, и по голосу его Серега понял, что он облизал пересохшие губы. — Болтают про эту Арюшечку черт знает что.

— А ты больше слушай. Пойдем.

Лёсик плелся следом и, пока шли до крыльца, раза два наступил Сереге на пятки. Толкнувшись в дверь, но она оказалась запертой.

— И в сенцах ее нет. Не слыхать. Наверное, в хату пошла. — Лёсик снова облизал сухие губы и прижался ухом к щелястой двери, откуда сочились, озаряя его озабоченное лицо и тая в темноте, узкие лучики света.

— Иди в окно постучи, — приказал ему Серега. — Иди, иди.

— Иду, — огрызнулся Лёсик; ему уже порядком поднадоели это дело, хотелось вернуться под березу, где было шумно и весело. В конце концов чей сегодня вечер, думал он, уязвленный резким тоном друга, кого провожают в армию, нас или старуху? Могли бы и псацанов послать. Он протиснулся в калитку, ведущую в город, наступил там на пустое ведро, споткнулся и упал. Ну, Длинный, поднявшись и отряхивая брюки, вспомнил он школьную кличку друга, черта лысого я тебе уйду сегодня, будет тебе последняя ночь...

Лёсик удивился, что стук в окно старуха услышала

ла сразу. За черным глянцем стекла мелькнула рука, отодвинувшая шторку, а затем бледное лицо, обрамленное белым платком, похожим на венчик. Он отпрянул от окна, отступил на шаг и почувствовал, как ложбинку между лопаток залепила намокшая рубашка. Холодный пот выступил и на лбу, Лёсик утерся и тут понял, что стоит на грядке: земля под ногами была мягкой, как мох. Он вспомнил, что именно здесь, под низкими окнами Арюшечкиной хаты, всегда росла самая крупная в Арпылях тыква и морковь, и это давало повод некоторым долгим языкам распускать слух, что старуха, высаживая весной семена, «щепчет».

В сенцах стукнула задвижка. Послышился громкий голос Сереги. Ему ответил другой, тихий, усталый.

— Мы за вами, баба Арина. За вами, говорю, пришли. Народ послал. Хватились, что вас нет, вот и пришли. Что ж вы, баба Арина, не пришли?

Какое-то время у крыльца было тихо. Лёсик вслушивался изо всех сил, даже слезы выбились, но ничего, кроме вздохов Красавы возле клева и переливов гармони в глубине деревни, не услышал.

— Сережа? Это ты, сынок? — наконец проговорила старуха; она по-прежнему стояла на крыльце, утонувшем во мраке, а Серега — внизу, ухватившись одной рукой за отволнувшее, словно после дождя, перило.

— Я. И Лёнька со мной. Лёнь! Иди сюда.

Лёсик шагнул к калитке, которую оставил растворенной, когда шел сюда, и снова споткнулся об опрокинутое ведро, но не упал, ткнулся головой и вытянутыми руками в штакетник и, кажется, сломал поперечину. Он выругался, надеясь, что у крыльца его не услышат, потрогал поперечину, она действительно переломилась пополам, и штакетник держался кое-как, на нижнем брусье. От черт, надо же, а, подумал Лёсик, и чувство вины перед старухой смешалось в нем с внезапным воспоминанием из детства. Случай



тот произошел вот здесь же, на этом самом месте, где он теперь стоял, ощупывая дрожащими пальцами острые концы переломанной поперечины.

В полдень, вызнав, что Арюшечка ушла в Рогачевку, в сельмаг за хлебом, они залезли к ней в огород, нарывали яблок, бобов, надергали морковки и хотели было стрекануть к Арпылинке, затариться там в черемушнике и покрястать все, что вспыхах с дурным азартом напихали в обширные пазухи, но вдруг возле калитки, вот здесь, подумал он, огляделась в загустевшей темноте, увидели Арюшечку. Старуху, наверно, подвез кто-то на машине, и поэтому она так быстро обернулась. Она стояла с кульком в руках, раскрытая кирзовая сумка с обтрепанными ручками висела на штакетине, из кулька выглядывали круглыми белыми боками пряники. «Детки, — позвала она. — Берите, детки. Ну? Берите, берите, пробегались, пропрыгались. Берите!». Они оторопело смотрели на нее, обливаясь липким потом, и никто — странное дело! — не смел убегать. «Не бойтесь, — говорила она, протягивая им кулек с пряниками. И, когда сделала шаг навстречу, кто-то наконец не выдержал, шепнул: «Айда, ребя!» — и они один за другим трюшком, придерживая отвисшие пазухи и чувствуя, как ёкает в горле, выбежали в заднюю калитку.

Теперь, вспомнив тот случай, Лёсик подумал, что перед старухой ему будет снова неловко.

В деревне про их набег на Арюшечкин огород так и не узнали. Они пристыженно молчали, обходя и обегая ее хату за версту. Старуха тоже молчала, а при встрече, если было не разминуться, не подавала виду.

Когда рассветет, надо будет починить старухин штакетник, подумал Лёсик, и от этой мысли ему стало легче.

Под потолком, давным-давно оклеенным зелеными обоями, теперь уже порядком выгоревшими и поблекшими, вспыхнула лампочка, густо засиженная мухами. Когда Арюшечка щелкнула выключателем, одна муха сорвалась с тюлевой шторки, ударила в сослепу в стекло, отскочила черной горошиной и забилась под потолком. Однако в малой горнице и в большой было чисто, прибрано и уютно. Добраться до лампочки у старухи, должно быть, не хватало уже сил.

Они прошли мимо русской печи, занимавшей почти половину малой горницы, и переступили через высокий, крашенный охрой порог. В большой горнице было прохладно, пахло иежилым, видно, старуха бывала здесь редко. Вся ее одинокая, теперь уже шедшая к своему закату жизни замыкалась там, в малой половине, в окружении печи, окна, стола, застеленного белой холстинной скатертью, шкафа, просто-го, немного даже грубоватого, еще ведра на цепочке, прибитой к широкой и тоже оклеенной линяльными обоями матице. Когда-то там крепилась зыбка, а в ней, сплетенной из молодых лозовых побегов, гукали, кричали, смеялись и росли ее сыновья: Василий, Алексей, Григорий и Егор.

Большая горница была застелена зелеными с красной и синей каймой домоткаными половиками. Посередине стоял круглый стол под белой, вышитой гладью скатертью. У окон — широкая и длинная лавка из березы, светлая, будто в прошлом году выструганная. На лавке — старенькая гармонь с потускневшими планками и белыми кнопочками, вытертыми кое-где до черноты. Когда же на ней играли в последний раз? В конце лета сорок первого года повесил ее на свяло у дороги младший Арюшечкин сын Егор, вздохнула она, всхлипнула и будто окаменела с той поры. После войны не раз и не два приходили к Арюшечке охотники купить Егорову забаву, но старуха гармонь так и не отдала, говорила: «Придет Егор, что я ему скажу? Не отдам. Уходите. Не отдам». И зло поджимала губы, словно у нее хотели забрать не только Егорову гармонь, но и память о нем. Потом стали жить лучше, понавезли гармоней из городов. Постепенно же их вообще сменили радиоприемники, проигрыватели и магнитофоны, и про Егорову игрушку забыли, как забывают о старой и не нужной вещи. В двух шагах от двери стояла печь-

голландка с прогнувшейся плитой и недостающими кружками. А на стене, разделяющей большую и малую горницы, над другой лавкой, которая была по-короче подоконной и потемнее, висела рамка с фотографиями.

Снимок мужчины со спокойными, наверное, серыми или голубыми глазами и светлыми усами, кончики которых были лихо закручены вверх, в пилотке, сдвинутой немного набок, и темной гимнастерке занимал почти всю рамку, но к нему — две снизу, а две сбоку — были подсунуты небольшие карточки еще четверых. Это были сыновья Арины и Степана Журавлевых и сам Степан — Журавли, как звали их до войны в Арпылях, завидуя счастливой доле Арины.

Алексей на снимке улыбался. Гимнастерка у него была такая же, как и у отца. Только фотографировался он без пилотки, голова острижена начисто, а глаза озорные, темные, совсем не отцовы. Почти на макушке стриженой головы видна белая полосочка шрама: в детстве еще случилось — провалился в старый заброшенный погреб и ударился головой о скобу. Намаялась в тот год с ним перепуганная Арюшечка, натерпелась горя, но малого все же выходила. Рана заживала, затянулась молодой кожей, и Алексей о ней постепенно забыл. Но Арюшечка, глядя на фотографию второго сына, всегда вспоминала, как принес его домой Степан, как положил на лавку у окна, бледного, окровавленного и неподвижного, будто мертвого, как промывала она ему рану настоем из листьев и трав, как медленно та заживала. В такие минуты ей всегда хотелось дотянуться до сына, приласкать его, родного и жалкого, и поцеловать в маленькую белую метину, оставшуюся на макушке с той давней поры. Говорили, что Алексей больше похож на мать, но на снимке сходство с отцом было поразительным. Наверное, оттого, что одеты в одинаковые гимнастерки. Жениться Алексей не успел. Отгулял на свадьбе у старшего, Василия, отплясал с Анной, братиной молодкой, да тут и войну объявили. Только и осталось у него в памяти, что смуглое лицо Анны да волнующие дуги ее черных бровей. Красивая жена досталась брату. Но через несколько недель после Алексея призвали и Василия. От него ни Арюшечка, ни Анна так и не получили ни одного письма. Только казенная бумага запоздало приблудила в журавлевский дом уже в сорок третьем году, известив о том, что красноармеец такой-то роты такого-то полка без вести пропал в период боев под Смоленском 8 сентября 1941 года. Анна долго не верила, ждала, но слезы небесконечны: когда все, кого ждали, а иные, кого и не ждали уже, вернулись, Анна покинула этот проклятый войною дом и вскоре вышла замуж за Алексея Прохоренкова, который был года на три моложе ее.

Фотография Василия самая маленькая, с обломанными уголками и сильно пожелтевшая. Делали ее на фронте, закрепили кое-как: видно лицо, похож, ну и ладно, посытай, солдат, родным. Но Василий так и не успел отправить домой свою первую и единственную фронтовую фотографию. А привез ее в Арпыли брат Анны — Николай Максименков. Воевал Николай вместе с Василием. 8 сентября позиции их батальона южнее Смоленска неожиданно атаковали танки и пехота. Перед боем Василий отдал ему фотографию, сказал: «У тебя, Коля, рука легче и почек ровнее, надпиши, будь другом». Но надписать фотографию Николай не успел — на взлобке лесистого холма показались танки. Василий побежал по трашее к пулемету, при котором стоял вторым номером, а Николай сунул карточку вместе со своим недописанным письмом в красноармейскую книжку и тоже лег в ячейку. Удержать немцев не удалось, и вечером, когда остатки батальона вырвались из окружения, товарища своего среди уцелевших и раненых Николай не нашел. Домой Николай Максименков вернулся по ранению, война к тому времени откатилась к Литве и Польше, оправился малость и раздул даже очаг колхозной кузни, осиротевшей еще перед оккупацией, потому что все арпылевские мужики ушли на фронт, но через два года умер от осколка, поднявшегося к сердцу. Вначале фотография хранилась у Анны, но

потом, когда та ушла жить к Алексею Прохоренкову, Арюшечка встретила молодку однажды возле своей калитки и сказала: «Отдай мне, Анна, Васину карточку. Отдай, а то я забуду его глаза». «Так и мне они дороги, глаза его», — ответила тогда Анна. «Отдай. А захочешь взглянуть, придешь». Фотографию Анна отдала, а вот взглянуть в глаза Василию пришла только нынешней весной. Арюшечка не винила Анну ни за то, что Василия ждать устала (молодая, здоровая, детей хочется, счастья женского), ни за то, что не переступала порог ее хаты столько-то лет (с детьми растут и заботы — некогда было). Она понимала, что, не случись войны, все в их судьбах вышло бы иначе.

Сбоку были подсунуты снимки Григория и Егора.

Григорий в дубленом полуушубке с лейтенантскими погонаами, в светлой каракулевой шапке со звездой и автоматом на груди. От него у Арюшечки осталась целая связка писем. Время от времени она вытаскивала их из недр глубокого зеленого сундука, стоявшего в дальнем углу большой горницы, раскладывала треугольники по столу, будто на картах гадала, и перечитывала письма одно за другим. Григорий был разведчиком. Командование наградило его несколькими орденами, которые теперь хранились там же, в зеленом сундуке, в складках тонкой самотканой холстины. Холстину старуха берегла на смерть и дорожила ею так же, как и наградами сына. Однажды приходили пионеры, и Арюшечка показывала им ордена и медали Григория, а когда они рассказали ей о своем школьном музее, в котором есть книга со списком всех погибших по Рогачевскому сельскому Совету, и прочитали ей стихотворение о безымянном герое Бреста, старуха разжалобилась и сказала, что после ее смерти все Гришины награды она накажет передать им, в музей. В середине одной из звезд, у той, на кончике верхнего лучика которой была немного отбита эмаль, стоял солдат с винтовкой в руках. Арюшечка любила эту звезду больше других и всегда подолгу смотрела на нее: ей казалось, что там изображен ее Григорий, Гришенька; она всматривалась в черты его лица, но они были настолько крошечными, что старуха всякий раз заканчивала слезами, так и не добившись от сына ни слова, ни знака. Погиб Григорий в Восточной Померании весной 1945 года, выполняя очередное важное задание. К концу войнызвание у него было уже капитан, а от рождения всего двадцать три с небольшим года. Вскоре после того, как она получила на него похоронку, в Арпыли приехал молоденский офицер в фуражке, в новеньких сапогах и скрипучих ремнях, с золотыми погонаами, спросил ее дом, называвшийся однополчанином капитана Григория Степановича Журавлева. Офицер тот возвращался из госпиталя и по личному приказу генерала, хорошо знавшего Григория и провожавшего его на последнее задание, привез матери награды сына, гимнастерку с разорванным рукавом и дырочками на груди рядом с петлями и немного денег. Офицер рассказал о том, что с Григорием они были друзья, познакомились на курсах разведчиков, вместе изучали немецкий язык (Григорий он давался легко), вместе потом несколько раз ходили в тыл врага, вместе бывали в боях, и что, не будь на то приказания генерала, он все равно бы приехал сюда, на калужскую землю, поклониться родине друга и поцеловать руки матери его. Уходя, он оторвал от гимнастерки Григория пуговицу, сунул ее в карман, а оттуда достал бумажку, на которой значилось, где погиб ее сын и где похоронен. За всю послевоенную жизнь ни разу Арюшечка туда не съездила: то денег на дорогу не было, а билет, говорили, до той чужедальней земли дорого стоит, то некогда было за огородами и скотиной, а потом и состарилась, болеть стала. Ну, как поеду, думала она, да помру, хлопот людям наделаю, и закопают в немилой земле, как Степана, как ребяток. Ох, хотелось побывать там, поплакать на могилке сына, привезти ему горсть земли с поля, которое начиналось сразу за деревней, а потому, казалось ей, самого родного для Журавлей, но, впрочем, и для всех, живших в Арпылях и живущих доныне. Слыхала она, что другие ездили на могилы своих сыновей, мужей и

братьев, хлопотали о нужных бумагах, без которых не пускают за границу, и ехали. А она вот так и не собралась за все сорок послевоенных лет. «Ты уж прости, Гришенька, — шептала она, трогая губы сына, отгороженные от нее холодной немотой стекла, но тут же отдергивала руку и прятала под передником. — Прости, сынок. Вот воротились бы братья. Или отец. Тогда привезли бы тебе, Гришенька, родной земли горсточку. Тогда бы и меня, старую, может, свозили бы. Я и могилку б твою поправила бы. Прости. Уж не знаю, укаживают ли там за твоей могилкой. А я бы поправила. И цветочек посадила бы. Вон у агрономки нашей какие красивые цветы под окном, так я бы у нее семян попросила, она бы не отказалась, она девка добрая. Прости, сынок. А может, они еще и вернутся, а, Гришенька? Может, вернутся еще ко двору братья твои? У них ведь могил нет, не написали мне про ихние могилы...» В другой раз, читая его письма, думала: «Офицер тот говорил, что не один ты там лег, со товарищами. А вот братья твои, отец неизвестно где и зарыты. И зарыты ли. Может, коршуны где и расклевали. Эх, сынок». Гимнастерка Григория, как и все самое дорогое для нее, тоже лежала в сундуке. Как-то случилось: возвращалась Арюшечка с поля (она хоть и на пенсии уже была, но пришел бригадир Федор Селиненков и сказал: так, мол, и так, помоги родному колхозу, дольку кормовой свеклы тебе нарезаем, поли, укаживай, осенью зачтется, если с урожаем будем, так что прояви, Карповна, сознательность), а день выдался такой жаркий, что аж трава млела, по земле стлалась, будто вареная, и, должно быть, напекло ей голову, так что не вспомнила потом, как и до крыльца дошла. Уже в сенцах — словно оступилась вдруг — в голове сделалось какое-то помрачение: она куда-то пошла, что-то достала, вроде бы из сундука, и села на лавку у окна. Опомнилась час или два спустя, глянула, а в руках у нее Гришина гимнастерка и рукав аккуратно и чисто заметан болотно-зелеными, под цвет, нитками. Вздрогнула, хотела закричать, но сил для крика не нашлось, как во сне все было. Что ж я надела, полуумная, думала она, дрожащими пальцами перебирая складки гимнастерки. Вот тогда-то и поняла Арюшечка, что в сердце уже не осталось надежды и на возвращение домой хотя бы одного из ее сыновей, только боль осталась; но, когда не стало и надежды, боль эта сделалась такой невыносимой, что старухой овладело безразличие к жизни. С той поры жила Арюшечка по привычке жить. По привычке вставала ранними утрами и шла в хлев к корове, по привычке веснами вскапывала огород и сажала кое-какие овощи, по привычке осенью убирала их, по привычке садилась за стол и обедала чем бог пошлет: изредка молоком, которое ей что-то не шло, не принимал счастлившийся желудок, творогом, огурцами и баклажанами — летом и осенью свежими, а зимой из бочки, солеными, вкус к которым с годами она тоже потеряла, а больше вареной картошкой и кислой капустой. Ни разу за эти годы она не испытывала голода, ни разу не почувствовала и удовлетворения от еды.

А картошка росла на огороде хорошая, годом в кулик величиной, а годом и покрупнее — такая родимая земля была. Часть урожая Арюшечка сдавала государству, а часть оставляла себе на еду, скоту на варево и на семена.

Нынешней весной старуха как-то внезапно, чего с нею раньше не случалось, заболела: нога правая занемела, налилась тяжестью, с неделю она на нее припадала, а потом и вовсе слегла. Слегла старуха как раз в ту пору, когда по всем Арпылям запахло навозом — это из хлевов вышивали накопившееся за зиму под ногами у скота добро и тракторами, на машинах и лошадьми вывозили на огороды. Навоз, как водится, запахивали тут же, не дожидаясь, когда его высушит солнце, а потом, кто под конский плуг, а кто попросту под лопату, начали сажать картошку. Только на Арюшечкином огороде было пусто, и, как остались с прошлой осени круги кострищ от сожженной ботвы, так и белели примытым дождями пеплом до сей поры, а кое-где уже нагло зазеленела ранняя трава, падкая на бросовую землю.

В тот день Стрелков облезжал арпылевские поля, смотрел, как всходят яровые. На обратном пути завернул в деревню и, увидев пустующий Арюшечкин огород, решил зайти к старухе, справиться о ее здоровье, а заодно и спросить, каким обещается лето. Старуха умела предсказывать погоду¹ по только ей ведомым приметам так же наверно, как вправлять вывихи и лечить от простуды. Он застал ее на печи. Спросил, не приходил ли врач. «На мою хворобу, Денис, одна управа осталась — могила. Другого лекаря и не надо!» «Да что ты, Арина Карповна!» — возразил Стрелков. «Нет, зажилась. Зажилась и чужой век заедаю. Ты со мною, старый, не спорь». Тогда он спросил, решив свернуть с этого разговора, потекшего не в ту сторону, не семенная ли картошка сыпана в сенцах. «Семенная,— отозвалась с печи Арюшечка и с трудом подняла с лежанки седую пристоволосую голову.— Только не засемено я нынче огород, Денис, силы мои ушли. С коровой кой-как, а огород пускай лебеда обживает. Некорошо это, да что поделаешь».

В тот же день Стрелков зашел к Федору Селиненкову, дом которого стоял неподалеку, позвонил в школу, на стан, пригнал трактор, и к вечеру Арюшечкин огород был всхахан и засажен. Из школы пришел тимуровский отряд, пятый и шестой классы. Привела ребят молоденькая учительница, жившая в Рогачевке на квартире у такой же одинокой, как и Арюшечка, старушки. Стрелков смотрел, как она живо командует своими воспитанниками, и подумал о том, что надо бы учительнице выделить в новом доме квартиру, может, замуж выйдет за кого-нибудь из местных парней, навсегда здесь останется. Ведер всем не хватило, старуха слезла с печи и нашла где-то в чулане четыре холщовые сумки с длинными перевязями, в них когда-то носили в рогачевскую семилетку книжки и тетрадки ее сыновья.

— Баб, а где же Егор тут? — спросил Лёсик, не отрывая взгляда от солдатского портрета.

— Егор? А вот он, сынок, вот он, мой Егорик. Самый крайний. Самый молоденький.

Лёсик кивнул и долго смотрел на черно-белый квадратик фотографии. Потом, будто очнувшись, спросил снова:

— А где же он погиб, баб Арин? Егор-то?

Старуха переспросила, приложила к уху морщинистую ладонь и прижмурилась, напрягая свой ослабевший слух. Потом закивала, сказала:

— В Германии. В Германии головушку сложил.

— А где похоронен, известно?

— Нет, сынок, неизвестно. Не написали про то, где похоронен.

— А Григорий, значит, в Восточной Померании.

Старуха опять кивнула и нагнулась над сундуком. На откинутую крышку, оклеенную какими-то цветными картинками, вылинявшими и поблекшими от времени, она выложила несколько стопок белого полотна, какую-то коробку, похоже, с парой обуви, потом еще что-то пестрое, наверное, девичье, и, наконец, темно-зеленую гимнастерку с капитанскими погонами, немятое потертными в некоторых местах, видимо, автоматным ремнем.

— Вот его, Гришеньки моего, амуничка. — Говорила Арюшечка медленно, скажет несколько слов и помолчит, скажет и помолчит. — Товарищ его привез. Генерал икий приказал: отвези, дескать, матери его.

Арюшечка стояла посреди горницы, в одной руке держа гимнастерку сына, а другую прижав ко влажной груди, где, казалось, уже и не было ничего, кроме боли. Серега и Лёсик смотрели на старуху молча и растерянно, словно и сами они были в чем-то непоправимо виноваты. Им казалось, что вот-вот старуха поперхнется, словом ли, вздохом ли, и заплачет — так дрожал ее голос. Им было неловко и за то, что вот у них праздник, вся деревня застольничает и гуляет в их честь, а у нее, одинокой и забытой, такое великое горе, что трудно и представить, как она несет его столько лет. Но чем, какими словами можно высушить ее слезы? Как утешить ее? Словно угадав их мысли, Арюшечка с усилием проглотила тяжелый

комок подступивших к горлу из самого сердца слез, сложила гимнастерку, как складывают дорогую вещь, вынутую для показа гостям, и снова нагнулась над раскрытым сундуком.

— Тут у меня, сыночки, и звезды Гришины. Храню.

— Гляди, Серег, это же ордена! — Лёсик толкнул друга в бок.

— Да, Григорий воевал, видимо, будь здоров! — полушепотом ответил Серега. — Она мне ни разу не показывала. Гимнастерку показывала, а ордена...

— Он ведь немецкий язык хорошо знал, видимо, в тыль ходил.

— Одних только Отечественной войны — два.

— И орден Красного Знамени есть.

— Редкий орден.

Старуха не слышала их разговора.

— Вот они, звезды Гришины. Только и осталось от сыночка моего, — снова сказала она. Арюшечка держала их в горсти, как держала бы родную землю, прежде чем высыпать ее на могилку сына, если бы выпало такое счастье.

Створка ближнего окна была раскрыта, пахло молодой смородиновой листвой, быстро набирающей силу, перепрелым навозом и парующей землей. Иногда отчетливо доносились всхлипы гармони и голоса поющих. Видно, подошли коров, спровадили в клевы, и под Матерью снова все пошло колесом. В саду с теменью густела тишина, только басовито гудели майские жуки, устраиваясь на почлег, и поэтому, когда стукнула калитка, ребята сразу подняли головы и насторожились. Старуха же поняла все по выражению их лиц, и по тому, как один из них встал, подошел к окну и высунулся в сад. Кто-то прошмыгнулся в огородную калитку, не прячась пробежал между гряд, и через мгновение мальчик, отправленный Стрелковым, предстал перед очи сидевших в горнице. Он ловко, словно проделывал это довольно часто, вскочил на подоконник, раза три основательно дернул носом и, так же основательно утерев его рукавом рубахи, которая выбилась из штанов и вольно свисала вниз, объяснил, кто и зачем его сюда послал. Арюшечка закивала и виновато посмотрела на Серегу и Лёсика. Мальчик говорил негромко, но старуха поняла, какую весть принес он.

— Может, чайку попьешь, внучек?

Мальчик замотал головой и, уже не обращая внимания ни на Арюшечу, ни на призывников, принял ся сосредоточенно ковырять пальцем в носу.

— Олег Григорьевич, — насмешливо сказал Лёсик, — резьбу сорвешь.

— Не сорву, — некогда ответил мальчик и сплюнул через щербу за окно. — Мне председатель велел сюда и обратно пuleй. И никаких чаев, — почти сердито добавил он и взглянул на чашки с недопитым чаем.

Олегом Григорьевичем этого смуглого сорванца с зелеными, словно летняя стоячая вода после ильина дня, глазами прозвали года два тому назад, когда он, прия в первый класс Рогачевской средней школы, на вопрос учительницы, как его зовут, не без важности ответил: «Олегом Григорьевичем. А тебя как?»

— Так что мне Стрелкову передать? — Мальчик снова циркнул за окно.

— Ты чего это расплевался, а, пацан? — резко переменил тон Лёсик, хотя улыбка продолжала играть в уголках его губ, и шагнул к окну, но Серега остановил его.

— Скажи, что больна бабка Арина. Передай Стрелкову, что не придет. Понял? А мы вернемся немножко попозже. Там-то как, еще не расходятся по домам?

— Не-е, еще пляшут. А девки песни поют. — Щербатый рот мальчика растянуло в улыбке, глядеть спокойно на которую было невыносимо, и ребята тоже улыбнулись.

— Ну-ну, поют, говоришь?

— Поют, — махнул рукой Олег Григорьевич и хитровато подмигнул призывникам. — А Танька ваша больше всех старается, у нее, конопатой, как у артистки выходит.

Лёсик снова вскочил с табуретки, и она, будто подпрыгнув, отлетела назад.

— Погоди-ка, Серег, дай я ему все же леща отпуши. По всем статьям, солдат, заслужил.

— Э, полегче.— Олег Григорьевич поднял руку.— Я при исполнении.

Ребята рассмеялись.

— Ну, ладно, иди. И не забудь, что сказано было. Передай все слово в слово. Понял?

— Понял.

— А ну-ка, повтори приказ.

Мальчик повторил.

— Молодец,— похвалил его Лёсик, и Олег Григорьевич, довольный, заулыбался.

— А теперь иди. Одна нога здесь, другая — там.

— Ну-ну, ты не очень командуй. Командир нашелся,— проворчал мальчик, явно пользуясь попустительством призывников, затем запихнул кое-как в мокрые от росы штаны белую рубашку и выпрыгнул в темноту.

Скрипнула калитка, зашлепали по стежке босые ноги.

В горнице стало тихо, и слышно было, как в старых стенах работают жуки-часовщики, медленно разрушая и без того ветхое старухино жилье.

Серега и Лёсик сидели за круглым столом напротив солдатского портрета, положив на скатерть загорелые свои руки; Арюшечкины мужики смотрели на них спокойно и сурво. Так глядят отцы на своих сыновей, которым тоже пришел через верой и правдой послужить Отечеству. И они были бы их отцами, они были бы отцами их ровесников и сегодня вместе со всеми провожали бы в армию своих сыновей. Если бы... Но они не пришли. Не родились и сыновья. Остались одни фотографии. Да дом, в котором они жили. Да кое-какие вещи, письма, награды. Небогатое наследство.

Должно быть, перевалило уже за полночь, когда они наконец встали и начали прощаться. Арюшечка следила за каждым движением их губ и отвечала то жестом руки, высвобожденной из-под серой клетчатой щали с кистями, то короткой фразой.

Старуха устала. Но спать ей не хотелось. Когда Серега и Лёсик ушли, она выключила свет и долго стояла перед портретом. В малой горнице тикали часы; она напрягала слух, уже не сокрушаясь о его скучности, и ей казалось, что монотонное тиканье, стремительно отсчитывавшее мгновения ее непозволительно долгой жизни, доносилось с дальнего края деревни. Поскорее бы умереть, подумала она и не ощутила при этом того щемящего трепетного страха, который испытывала, бывало, в молодости, когда к слуху или ни с того ни с сего приходили вдруг думы о смерти, о том, что настанет и ее черед в неведомом череду ухода. Поскорее бы к Степану, там, может, и сыновей повидаю. Повидаю, как не повидать, повидаю, думала она, и губы сами собой повторяли, вышепитывали ее думы. Ей казалось, что она и в темноте отчетливо видит их лица на фотокарточках. Повидаю, да. Там не разминемся. Больно уж долго живу на белом свете, шептала она, долго, некорошо это. Вам вот не пришло, милые вы мои. А я зажилась. Некорошо. Ей стало стыдно, особенно перед сыновами. Старуха вздохнула, с трудом оторвалась от портрета, подошла к едва бледневшему окну, притворила его и долго стояла, держась за подоконник и глядя в темноту. Кое-где над землей, умиротворенно спящей в тишине и покое, светились звезды. Их было мало в эту ночь, должно быть, до земли доходил свет лишь самых ярких и сильных, и старуха могла разглядеть каждую звезду так же отчетливо, как каждого из своих сыновей, живого, смеющегося, в памяти своей. К горлу снова поднялись слезы, они восходили, словно тяжелые росы после душного и тяжкого дня.

— Степан,— сказала она, с усилием разомкнув скошившиеся, сведенные судорогой губы; она знала, что Степан не ответит, так было не раз, но все равно позвала.— Что ж ты не пришел? А, Степан?

В горнице, казалось, стало еще тише. Наверное, подумала старуха, совсем ничего теперь не стану слышать. Тиканье часов на другом краю деревни прекратилось. Но и об этом она подумала без сожа-

ления. Теперь она слышала лишь собственный голос, он гудел в ней, как колокол.

— Егор, а ты чего ж это, а? Ведь обещался вернуться. Нельзя было тебе оставлять меня одну. Видишь, как плохо мне теперь на земле без вас. Последний ведь. Что ж ты, сынок.

Она протянула вперед трясущиеся руки, нащупала створку и легонько толкнула ее. Скрипнули старые ржавые петли, но Арюшечка этого не услышала. В лицо ударило свежим воздухом, запахло смородиновой листвой и землей. Старуха подумала, что, должно быть, уже много времени, часа два ночи, а может, даже больше, потому что именно за полночью, ближе к рассвету, так радостно пахнет весенняя земля, напоминая человеку о своем извечном предназначении. Звезды загорелись ярче и отчетливее, и теперь их было много, больше, чем у нее когда-то сыновей, и даже больше, чем мужиков, ушедших в тот год из Арпылей на войну.

— А ты, Василий, даже письма и того не написал. Она ведь тебя долго, долго, сынок, ждала. Зря ты на нее сердце держишь. А уж какая свадьба была! Какая свадьба! Я глядела на вас, на тебя да на Анну, и думала: красивые да молодые, ладно бог свел, ладно, и грешным делом загадывала, что вот и детки у вас пойдут красивые, здоровые. Ах ты, господи... И ты, Алеша, не навестишь все мать свою. И ты, Володя...

Она вздрогнула. Колокол голоса обрушил на нее чужое имя. Это был не ее сын, она знала наверно, что не ее. Но тоже солдат. И тоже сгинувший на чужбине. Может, Прасковушка малый? С ним вместе уходил Егор, подумала она. Нет, того, кажется, Михаилом звали. Да, Михаилом. Егор с Мишней уходил. И поминает Прасковушку всегда святого Михаила. Арюшечка долго не могла вспомнить, чье имя принесла ей большая память. Что ж это я, подумала Арюшечка в следующее мгновение, рассудок теряю? Заговариваюсь? Неужто ум померкнет, как и служ? Этого она боялась больше смерти. Сразу вспомнилась Траля, молодая еще баба из Рогачевки. Запрошлой осенью, босая, в одном платьишке, Траля прибежала в Арпыли, остановилась посеред дороги, заголилась и стала звать мужиков, а когда ее хотели успокоить, обогреть и отвести домой, вырвалась и убежала в поле. Арюшечка тогда стояла в толпе среди собравшихся и смотрела вслед сумасшедшей, пока та не скрылась за пригорком. В толпе кто вздыжал сочувственно, кто похорватывал, были и такие, а кто-то из старух постарше годами сказал: «Вишь вои, как с нею дьявол играет. Все, грязные его глаза, не настенится». И теперь подумала: неужто мне суждено бродить по деревням с безумными глазами и растрепанными грязными волосами и смущать людей, пока они не скажутся и не определят куда-нибудь в больницу, в приют? Она поняла, что нужно оставить сил и для того, чтобы помереть здесь, в родном доме, в Арпылях, уйти по-христиански. Володя... Старуха вспомнила. Просветление обрадовало ее, словно внезапная добрая весть. Морщины на ее лице вздрогнули и спрямились. Она вздохнула. И ты, Володя, тоже пришел бы, проведал старую бабку Арюшечку. Я перед тобою, Анна, не виновата. Нету, милая, моей вины в твоем горе. Знать, такая судьба нашим солдатушкам. Да. Вот бы собрались все, да к Грише на могилку и съездили. И меня бы созвали. Сейчас, люди сказывают, поезда быстрее стали, так бы и докатили до той земли, где братик ваш зарыт. Чует мое сердце, невольно ему там лежать, по родной землице косточки плачут.

Звезды горели, словно костры в далекой необъятной степи, которую Арюшечка никогда не видела, но о которой слышала по радио и о которой много писал в своих первых письмах Гриша. И тогда она распахнула другую створку, ей показалось вдруг, что это не звезды мерцают над мирно спящей землей, над пространством полей, над лесами, над деревней и речкой, а глаза ее сыновей; они струились к ней отовсюду сквозь туманности и пространства, склонились над ее головой, вновь восходили и опять стремились к ней.

Глава третья СЕРАФИМА

Под Матерью веселья заметно поубавилось, видно, навеселились уже. Скоро и расставаться. Многие ушли: утром вставать рано, кому на дойку, кому в поле. Поредело и за столом новобранцев — девчата развели-сманили. Утерпишь ли за столом, когда до отъезда считанные часы остались. Гармонь стояла на лавке, гармонист, видать, тоже ушел куда-то, и инструмент остался как сирота. Магнитофон молчал, может, поломался, а может, дали малость отдохнуть.

Председатель Стрелков и старик Кружаленков по-прежнему сидели за столом и о чем-то не спеша разговаривали. На столе через дорогу зажгли фонарь, рассеянный желтый свет его достигал самых дальних столов, освещал потные лица арпылевцев и беспорядочно сдвинутую пустую посуду.

— А ты попробуй, докажи им! — Стрелков хотел грехнуть со всего маху кулаком о край стола, но вовремя опомнился, опустил тяжелую руку и стал разглаживать непокорную складку на клеенке.

— И докажи! Докажи! На то ты и голова у нас, — не уступал ему старик Кружаленков, довольный, что задел-таки председателя за живое. — На то ты, Иваныч, над нами и поставлен. Светлая твоя душа. Чтобы, значит, блюсти интересы нашего коллектива и государства в целом. А не потакать отдельным лицам, не угодить им, штанетерам. Для них ведь, Иваныч, и радости выше нет, как заполнить нужную клеточку, поставить там корюльку какую-нибудь, дескать, все, выполнено, как велено. Корюльку поставили — и душа на покой. Мы ведь хозяина выбирали, а не хрен с маслом. Ты ж хозяин, вот и скажи, где надо, свое, хозяйствское-то, слово.

— Хозяин... — Стрелков оставил в покое так и не разглаженную складку на клеенке. — Да если бы я был в своем колхозе хозяином!.. Развели, понимаешь, паутину бумажную. Площади! Поголовье! Вот и вертишь, как таракан в банке. А ты мне дай твердый план поставок государству и чтоб без корректировок, а уж сколько сеять и сколько на семена оставлять, я и сам определи. У меня вон специалистов целая контора. Давно все подсчитано, где теряем, а где наверстываем. Вот тогда-то мы, может быть, не двести тонн мяса государству сдавали бы, а все двести пятьдесят! За перевыполнение плана — честь и хвала животноводам и кормзаготовителям. Премии, само собой. Слова-то нынче не бог весть какие гостицы.

— Нет, Иваныч, ты мне не крути. А вспомни-ка Пронича, тот ведь умел поставить. За палочки, за трудодни работали. И слово в гостище от него, было, не вот услышишь. А дело поставить умел! И так иной раз повернет, что господи боже мой!

— Да ведь и народ другой пошел, Матвеич! О чем ты говоришь-то? Вспомни, как мы у Пронича работали. А сейчас народ с хитриной да все в свою сторону. Пронича вспомнил. Да такого, как Пронич, сейчас, может, и во всей области не найдешь. Пронича вспомнил. Матвеич, — вдруг спохватился Стрелков, видно, надоел ему этот разговор, намозолил душу, — а может, нам самим к Арине Карповне сходить?

Старик ничего не ответил, но по тому, как он кашлянул, как нагнулся и завозился, устраивая под столом протез, было видно, что он против.

— Хоть отнесем чего-нибудь, а?

Старик Кружаленков снова поморщился.

— Да, ты прав. Прав, Матвеич, поздно уже. Неудобно. Спит, поди, Арюшечка наша, отдыхает, мать солдатская. Но завтра все же надо зайти. Может, помочь чем.

— Это другое дело, Иваныч. Хлевок бы надо ей поправить, хлевок. А то корова в чисто поле смотрит. А еще сена бы привезти. Ведь почти все молоко государству сдает. У нас по колхозу сколько на корову?

— Сколько... По три тысячи сто.

— Ой, много ли?

— Много. Выше среднего районного показателя. В «Рассвете» вон и по две еле-еле надаиваются.

— Нашел с кем равняться. Да и районный показатель... Гляжу я на сводки в нашей газете и думаю: сожмался наш районный показатель, как, проши ты меня, куриная гузка. Две тысячи килограммов в год — да что ж это, Иваныч, такое? Ты меня, непартийного и старого, прости, но Арюшечкин показатель мне больше нравится. Она ведь по три пятьсот каждый год от своей Красавы Афанасу сдает.

— Ничего, вот перекроем Арпылину, воду для полива соберем, поля вокруг Арпылей и Рогачевки залужим, и пойдет у нас молоко погуще нынешнего.

— Так на эту плотину миллионы понадобятся?

— Понадобятся.

— А Арюшечкина ферма без лишних, как пишут в газетах, капиталовложений и дальше будет по три пятьсот давать. Так если ты хозяин, с умом если, то вложи в эту ферму хоть сколько-нибудь, хоть самую малость, да побольше души, и не понадобятся, глядишь, государству миллионы тратить, плотины строить.

— Нет, Матвеич, тут ты погорячился. Плотины все равно нужны. Но и твоя мысль правильная. На такой подход к частному сектору нас сейчас партия и правительство ориентируют.

— Что-то вы не только торопитесь выполнять партийные приказы. В газетах свистите, а на деле — тырк-тырк, заклинило и не везет. Только и знаете, что денежки у государства клянчить. Зарплату черт знает какую стали получать, сроду такого не было. А чтоб хлевы частному, как говоришь, сектору поправить, глядишь, и не найдется средствов-то. — Старик Кружаленков махнул рукой, и в жесте его Стрелкову почудилось отчаяние и укор; то же самое, наверное, было и в его глазах, но Кондрат Матвеевич отвернулся, так что председатель видел лишь его подрагивающую впадую щеку.

— Пионеры к ней ходят, знаю. Звезду прибили над крыльцом, мажут каждую весну красной краской. Но ты опять прав: этого мало. Пацаны — что они могут? Воды принести, дров зимой... Эх! Хоть бы один-то живой остался! Вернулся бы хоть один! А хлевы мы ей поправим. Плотников на той же неделе пришлю, вот закончат полы перестилать на телятнике, и пришлю. И материала найдем, и время. И сена накосим, хорошего сена. Накосим и привезем. Много у нас в колхозе вдов солдатских, а такая одна. Ну хоть бы ж один кто вернулся, — снова вздохнул Стрелков и тяжело опустил кулак на косяк столешницы.

— Не говори, Иваныч, — сказал Кондрат Матвеевич, и Стрелков заметил, что голос у старика потепел. — Мы хоть и битые-перебитые, калеченные да контуженные, а все ж таки живые остались. Застольничаем вот. А им что досталось? А ничего, Иваныч. Мать сырь земля. Я, Иваныч, недавно опять плакал. Как День Победы настаёт, так плачу. Вспомню и плачу. Старый стал, нервы слез не держат. Вспомню ребят и плачу. Хоть Степку, хоть Алексея, хоть кого другого... из наших... арпылевских. — Старик вдруг осекся и толкнул в бок Стрелкова, тот оглянулся, но ничего не заметил. — Ты гляди, Иваныч, невеста Сережкина никак приметохалась! Ишь, принцесса, морду-то как вскинула!

— Кто? — Стрелков по-прежнему тупо глядел в темноту. — Кто там? Танюха Селиненкова? Да, Танюха хорошая девка. — И спохватился. — Так она тут с самого начала.

Старик засмеялся, мотая головой и всхлипывая по-детски. Немного погодя придвинул кулаком выступившую слабую слезу и сказал, все еще вздрагивая от неунывшего смеха:

— Нет, Иваныч, эту кобылку он, видать, еще не обратывал.

Стрелков наконец понял, куда глядели все: в черной неосвещенной прогалине между вишняком и огородными пряслами виднелся белый неподвижный силует лошади.

— Серафима! Серафима! — позвал кто-то.— Ну? Иди, иди, милая. Чего застеснялась? Здесь твой хозяин. Здесь.

— Вот каких невест выбирать надо, парень,— сказал неизвестно откуда появившийся гармонист, мешковато перешагивая через лавку и одновременно закидывая за плечо широкий потертый ремень с зеленою бархатной оторочкой. Он поклопал Серегу по плечу, кивнул в сторону девчачьи и начал тихонько подбирать какой-то мотивчик.

— Ишь, как она, в самом деле,— тихо стали переговариваться за материнским столом.

— И вправду верная, не гляди, что животная.

— Чует хозяина.

— Ишь.

— Поди, Сережка, поди к ней-то. Ведь к тебе пришла.

— Во, бабы, как кобылку-то приручили, что и на проводы пришла.

— Пришла.

— И вправду ждет Сережку. Сережка! Ты что же это сидишь как каменный?

— Иди, малый, иди. Тоже попрощаться надо— живая душа.

Серега взглянул на Таню Селиненкову, сидевшую напротив. Она много в этот вечер плясала и сидела теперь раскрасневшаяся и возбужденная, неустанно о чем-то болтала с подружками, хохотала, не забывая, однако, время от времени посматривать в самую гущу новобрачцев, словно оставила там что-то и беспокоилась теперь, цело ли. Иногда, ловя взгляд младшего Евдокушина, она улыбалась ответно, но без значения, делала какой-нибудь непонятный знак, но больше кокетничала. Однажды Серега пригласил ее на танец, а она сделала удивленные глаза и отказалась. Он стоял перед нею, изо всех сил стараясь побороть в себе стыд и злость, и чувствовал, как краснеет, а на лбу и на верхней губе выступают, словно слезы, капельки пота. Назад возвращаться было стыдно, и он пригласил первую попавшуюся на глаза девчонку из тех, которых арпильевские женихи не очень-то баловали вниманием и которые поэтому весь вечер крутились возле гармониста, изредка и некогда, чтобы разбавить тоску, танцуя друг с дружкой.

Вот и теперь Таня заметила его беспокойный взгляд, в нем было столько решительности, что она испугалась и, не найдя другого выхода, засмеялась и отвернулась к подружкам. Серега встал, еще разглянулся на сидевших напротив (Таня так и не обернулась), захватил со стола побольше хлеба, рассовал по карманам, нагнулся к Лёсику, шепнул ему что-то и, перешагнув через лавку, пошел к Серафиме. Когда Серега подошел совсем близко и Серафима узнала его, он засмеялся и окликнул ее вполголоса, а она мотнула головой и сделала шаг навстречу.

— Уезжаю,— сказал он и вздохнул.— В солдаты ухожу. Служить. Надо так, Серафима. Ну как мне тебе объяснить? Каждый мужчина должен. Страна у нас вон какая большая, и всю ее защитить надо.

Он сунул ей кусок белого хлеба, но Серафима не взяла, мотнула головой и коротко взглянула. Потом еще. И заплакала на месте, выражая нетерпение. Кожа на ее щеке дернулась, и Серега ощущил ладонью, как судорога прошла по всему большому телу лошади.

— Ну что ты, Серафима. Хлеб-то хоть возьми. Ну, не бесись, не дури.

Может, и понимает что, подумал Серега, и ему захотелось заплакать, даже слезы навернулись и зашипело под веками.

— Ну что ты, на самом деле? Ешь. Всем в армии служить надо. Вон и Лёсик со мною тоже, и Сашка Романенков. Как ты не поймешь.— Он гладил ее теплую щеку и говорил, говорил, говорил. А она косила на него черное яблоко глаза и нетерпеливо переступала с ноги на ногу.

Пута на Серафиме не было. Видимо, Ниловна, высокая сухопарая тетка, которой два дня назад Серега передал свое хозяйство, нарочно ее не спутала. Обычно Серафиму путали в ночь, чтобы не забежала

куда, а если выпускали погулять в пойму, то пuto вешали на шею. Так делал и он. Теперь же и на шее веревки не было: или Серафима разорвала его, или Ниловна пустила в эту ночь кобылку так.

— Ну-ка, подойди, подойди.— Серега подвел ее к пряслу, забрался на верхнюю жердь и ловко вскочил на лошадь верхом, навалившись на колку и почувствовав губами жесткие волосы гривы.— Пошла, пошла, Серафима. Полегоньку. Пошла.

Без седла и без уздечки ехать было неловко, все время то стаскивало набок, то заваливало назад, но Серафима это чувствовала и шла аккуратно. Только один раз, когда из бурьяна, черневшего вдоль обочины, выскоцил кот, она резко остановилась и едва не шарахнулась в сторону. Вскоре началась Усадьба. Здесь было темнее, чем в проулке. Старые липы совсем загородили огромными, как облака, ветвями не-бо с густыми теплыми звездами. Летучие мыши, тонко попискивая, проносились низко над дорогой, взмывали возле самой лошадиной морды — какое-то мгновение Серега видел их стремительные скрюченные крылья — и пропадали в громадах ветвей, словно маленькие черные призраки. Запахло водой, слева открывалось пространство пруда, примыкающего к Усадьбе, должно быть, такого же старинного, как липовые и кленовые аллеи парка. У самой закраины, там, где плавал туман, угрюмо горбясь над стоячей водой, качнулась черемуховая ветка, холодным, обжигающим дождем брызнула роса, несколько капель упали на дорогу, и их тут же поглотил волглый песок; это дрозд сорвался с перепугу, переметнулся низом через дорогу, нырнул в туман и заквоктал суматошно в зарослях бузины и акаций.

— Тыфу! Черт тебя...— выругался Серега, отдернув со лба капли росы и, нагнувшись, пожлопал лошадь по белой напряженной шее.— Не бойся, Серафима, не бойся, это птица. Птица пролетела.

Серафима свернула с дороги на стежку. Стежка вильнула раз-другой, в одном месте замочилась краем в парной воде, уступив разросшейся черемухе, затем выскоцила на пригорок и пошла плотиной. Приторно пахло стоячей водой и жирной болотной растительностью. А по всему обережью, перекрывая гармонь и частушечную разноголосицу, доносявшуюся с луговины, благим матом орали лягушки. Серега вспомнил, что из распахнутого Арюшечкиного окна тоже был слышен этот суматошный ор, похожий на приглушенный вибрирующий гул сотен тысяч маленьких моторчиков. Он придавил немного каблуками, и Серафима затрусила помаленьку, гулко брякая по дороге неподкованными копытами. Дорога потянулась в гору. Запахло пылью, но это длилось всего лишь одно мгновение, потому что на взгорке снова засвежело. И здесь его кто-то окликнул по имени. Серега остановил лошадь и оглянулся.

— Валер, ты, что ли? — позвал он в темноту. Положил руку на теплый круп лошади, полуобернувшись и затянув дыхание, прислушался: позади тихо разговаривали, потом послышались шаги, похожие на шаги к нему.

— Ты куда, братуха? Да и один, похоже?

Теперь Серега узнал: окликнул его Валерка. Голос у брата твердый, немного хрипловатый, почти как у отца.

— Один, — повернув Серафиму, ответил Серега.

— А Таня где? Все песни поет?

— Поет.

— Хочешь, позову?

— Не надо.

— Да брось ты горячиться. Танюха — девчонка хорошая, таких крепче привязывать надо, а ты...

— Привяжешь их, как же. Ты вон привязал...

— Э, об этом ты брось, братуха.— Валерка поймал его за руку, крепко сжал и немного потянул на себя, так что Серега стал заваливаться набок.— Много ты понимаешь.

Серега хотел было вырвать руку и поторопить Серафиму, которая уже нетерпеливо переступала с ноги на ногу, но сдержался и ответил брату крепким пожатием: не сердись, брат.

— А может, все же позову?



— Нет, не надо.

— Ну, смотри. А... Последняя ночь. Ты, братуха, этого не забывай. Другой такой ночи не будет. Два года. Понял? Да и после тоже не будет такой.

— Пусть поет.

— Ну-ну, пусть поет, а слушатели найдутся. Так, да? Дурак ты, братуха.

Валерка хотел погладить Серафиму, но она всхрапнула и шарахнулась в сторону, и Серега не упал только потому, что успел-таки ухватиться за гриву.

— Нервная какая. Избаловала.

— Не надо трогать. Чужой, боится.

— Какой же я чужой?

— Все равно. Забыла. Не надо.

Звезды светились так ярко, что пуговицы на Валеркиной гимнастерке блестели, словно облитые росой.

— Кто там с тобой? — Серега кивнул в сторону вишняка, где, знал он, возле кружаленковской бани была старая скамья, сбитая стариком из затесанных с одной стороны березовых жердей. — Полина? Да?

— Не твоё дело. — В голосе отвечавшего не было злобы, потому что в голосе спрашивающего не было ехидства.

— Значит, Полина.

— Значит. Хотя это еще ничего не значит.

— Значит. Ты и сам знаешь, что значит.

Братья некоторое время молчали.

— Не обижай ее, Валер. Не обижай.

— Не понял.

— Она уже достаточно обижена, братец. А тебя она все же ждала. Как бы там ни было, но тебя она ждала. Запомни. — Он толкнул каблуками, и Серафима, казалось, ожидавшая этого, напрягла свое огромное тело и вынесла седока на Кабацкую гору.

— Постой, Серега! Закурить-то оставь!

Серега достал из кармана помятую пачку сигарет и сунул в темноту.

Серафима побежала быстрее, словно боялась, что хозяина ее снова окликнут. А позади чиркнули спичкой, озарив на мгновение полосатый клин майки на груди и белые, будто откипевший недавно в Арпылях вишневый цвет, аксельбанты, едва уловимо потянуло табачным дымком. До армии не курил братан, подумал Серега. И еще подумал о том, что Валерка все же не смог пересилить себя и забыть Полину, знать, не выболела, застарела боль о ней в его сердце, и, быть может, это и хорошо. Вспомнились братчины письма. Валерка почти в каждом из них просил написать о Полине, о том, как живет она с Виктором, не говорит ли о нем, и вообще... Вспомнил Валеркины слова, сказанные два дня назад у калитки, когда они, братья, стояли и ждали мати с дойки, а Полина прошла мимо с полными ведрами и поздоровалась, опустив глаза: «А она ведь еще красивее стала. Эх, Серега! Пропадай, моя голова!» Сказал вроде бы весело, азартно, а в глазах что творилось... Эх, братуха, братуха, вздохнул Серега, меня уму-разуму учишь, а сам как запутался.

После свадьбы Полина и впрямь похорошела. Виктор работал неплохо, неплохо и зарабатывал. И, если бы не пил так, если послушал жену и спокойтился вовремя, счастливым был бы их дом в Арпылях. Темно-русые волосы ее, остриженные когда-то коротко, под мальчишку, отросли, и она скватывала их в узелок на затылке, открывая смуглый лоб и шею с кофейным пятнышком большой, величиной с пятак, родинки. Линия губ стала более мягкой и завершенной. И если случалось — засмеется Полина, то уж все мужики и парни, кто в ту минуту окажется рядом, не удержится от соблазна хотя бы мельком взглянуть на нее. Она немного пополнела, а может, просто казалось, что пополнела. В деревне, где, как водится, ничего не проходило незамеченным и в той или иной мере не обсужденным, это обстоятельство истолковали просто: обабилась, дескать, маленько, на человека стала походить, сяди и спереди поднаросло. Характера Полина была не просто мягкого, а скорее кроткого, хотя постоять за себя умела, и эта черта ее несколько причудливого, как, впрочем,

и у всех женщин, характера раскрылась потом, когда погиб муж и ей, грешно красивой и молодой, стали не давать прохода парни и мужики.

Мужинам пьяняки Полина сносила молча и не злопамягствовала. Вначале, правда, пыталась унять в нем дурную страсть, упрашивала, молила отстушиться от выпивок, но тот как-то загадочно улыбался, ей становилось не по себе, и Полина смирилась, однажды уверившись, что это ей судьба уготовила испытание или наказание за неверность. За неверность и за старый грех, за все сразу.

Виктор Валеркой ее не корил, не напоминал даже, да и свое сердце, похоже, не надсаживал: ну, было, ну, прошло, а теперь-то другая жизнь началась. Только однажды, когда она отпрянула от него в постели, резко одернув ночную рубашку, он отодвинулся на край, закурил и долго, глядя в бледнеющий квадрат окна, думал о своем друге Валерке Евдокушине, которому рано или поздно, но ведь придется что-то говорить при встрече. Представил, что вот вернется он, взойдет на крыльце их нового дома, скажет: «Как же ты, друг...» — и, не подав руки, спросит, где Полина. Он спросит, где Полина, потому что должен же он повидаться с нею. В той, не такой уж и давней, жизни их связывало гораздо большее, чем сидения на скамейке и смотрения на звезды. Да, их связывало гораздо большее. Быть может, такое, чего у него с Полиной не было до сих пор и вряд ли когда будет.

В Арпылях Полина прижилась скоро и, похоже, крепко. Здесь ее уважали, спрашивали совета, как, например, яровизировать семенную картошку, чем подкармливать огурцы и помидоры; а когда погиб Виктор, то и опекать стали, хотя чаще всего не к месту и невпопад. До замужества она жила в Рогачевке в колхозном общежитии для молодых специалистов. В колхоз же приехала по распределению после техникума, где училась на агронома. Валерка Евдокушин в тот год только-только окончил десятый класс школы и работал слесарем в мастерских. Через полгода ему принесли из военкомата повестку. Полина провожала его до станции.

К тому времени их отношения стали настолько близкими и было это настолько явным, что и в Арпылях, и в Рогачевке поговаривали о скорой свадьбе. Ждать бы ей и ждать, два года — недолгий век. Однако ж вышло совсем не так, как рядили возле колодцев и как загадывали Валерка с Полиной.

Вскоре вернулся из армии Виктор Ефременков, спорол с мундира погоны и явился к Стрелкову за назначением, узнав, что колхоз месяца три назад получил новый «ЗИЛ» и что подходящего человека на машину пока не нашли. Вот тогда-то в правлении и столкнулись они в дверях, Виктор и Полина, да так вышло, что и не разминулись уже.

У родителей молодые жить не стали, у тех еще один сын подрастал, да и дочка была на выданье. К тому же отец Виктора, мужик прижимистый, в доме все крепко и ревностно держал в своих руках. Не дожидаясь конца медового месяца, Виктор и Полина сразу взялись за строительство своего дома. Заняли пустовавшую усадьбу, залили фундамент. После уже распахали огород, развели кур и кроликов. Витька с отцом поговаривали и о том, как бы купить где-нибудь по дешевке хлев, поставить его и завести корову, тем более что колхоз в таких случаях предоставлял большие льготы, и телочка обошлась бы молодым совсем недорого.

Дом строили миром. Кое-чем помог колхоз. Стрелков позвонил куда-то в район, с кем-то переговорил, и через пару дней несколько «КамАЗов» привезли в Арпыли кирпич и трубы. Это был первый кирпичный дом в Арпылях. Стрелков помогал молодым, конечно же, не без своего председательского умысла: пускай, мол, Виктор с Полиной покажут арпылевцам, и старым, и особенно молодым, в каких домах в деревне жить можно. Старые семьи по привычке жили в деревянных пятистенках, а молодые не строились, норовили перекатить в Рогачевку в двухэтажки со всеми удобствами, на строительство которых Стрелков когда-то сдуру согласился, а теперь страш-



но жалел. Нужно было обживать центральную усадьбу, подсунули проект, посмотрел, обрадовался, что его земляки жить теперь станут, как в городе, и подмажнул бумагу. А когда заселили первые три дома, за голову схватился. Скот переселенцы почти весь вывели, каждый день в правлении крик-скандал, требуют выписать кто молоко, кто мясо, а грязи на улицах стало больше, откуда, думал Стрелков, она только взялась, весной и осенью двухэтажки — словно острова в сером море размыленной колесами и гусеницами дорожной и придорожной жижки. Колхоз разрастался, и Стрелков знал, что скоро нужно будет застраивать и Арпылы и в первую очередь заполнить выпавшие усадьбы, чтобы не мозолили людям глаза и души буряя да крапива. Но занять их нужно было не двухэтажками, а домами усадебного типа, чтобы жил деревенский народ, Петр или Григорий со своей Татьяной или Натальей и ребятишками в полном согласии с землей и всем крестьянским, веками устоявшимся жизненным укладом, чтобы бегали возле крыльца по зеленой травке дети, подрастили и видели, как мамка сажает в огороде свеклу, замоченную на блюде в тряпочке, и пророслые огурцы, как отец подрезает яблоньки и поправляет изгородь. А потому первый кирпичный дом в Арпылях был не просто домом для молодой семьи. Нашлись в деревне и каменщики, точнее печники, но они не ударили в грязь лицом, поклонились по Усадьбе, постояли возле уцелевших углов старых барских построек, постучали по ним молотками, посовещались и приступили к работе. И за несколько дней выгнали над обрывом белые ровные стены, глядя на которые старики цокали языками и покачивали головами, вспоминая, должно быть, давнюю минувшие времена, а молодые восхищенно переговаривались со строителями, почесывая затылки. Дом получился не большой, но уютный, о четырех комнатах, расположенных непривычно, как бы попerek традиции арпылевских пятистенок, по-городскому, и зажили бы молодые в этом доме в относительном мире и согласии, если бы не несчастье, которое случилось так скоро. После того, как похоронили на арпылевском кладбище Виктора и смерть его стала помаленьку забывать, начали Полину донимать приезжие-заезжие да из местных парней нет-нет и постучит кто-нибудь в спящее окно. Но после того, как однажды она вывозвала в навозе рогачевского фельдшера Игоря Александровича Коробцева, который вперся к ней тоже по пьяному делу, пыла у охотников заметно побаивалось.

Серафима вынесла Серегу на Кабацкую гору. Кабацкой звали ее потому, что когда-то, еще до революции, здесь проходил большак до Спас-Деменска, а неподалеку от теперешней Полининой усадьбы, на самом обрыве, стоял кабак, в котором спускали свои последние горевые гроши арпылевские и рогачевские мужики. Теперь в том месте только камни, обросшие дымчато-зеленым и жестким, как высокшая кожа, лишаем, бурьян гудит да ветер гуляет. Место это с тех пор, как большак забросили, а кабак сгорел вместе с кабатчиком, считалось сомнительным в том смысле, что здесь прохожих и проезжих, в поздний час торопившихся в деревню или из деревни, случалось, что-то «окликало и блазнило». Перед войной, рассказывали старики, здесь передились мужики из-за покосов, дело дошло до кольев, и дравшихся невозможно было разнять даже тогда, когда пролилась кровь, так крепко дьявол их держал; в оккупацию нашли здесь мертвую девочку лет пяти, невесть откуда взявшуюся, видно, из беженцев, а потом, в сорок третьем году, когда погнали в сторону Десны немца, на серых камнях Кабацкой горы пришедшие из леса партизаны расстреляли арпылевского иуду, полицая Архипа Кружаленкова, родного дядю Кондрата Матвеевича Кружаленкова. Двумя же годами раньше на горе карательный отряд казнил партизан: председателя Никиту Проничева и молоденьского лейтенанта-пехотинца. После войны тоже кое-что «бывало», и об этом Серега слышал и от старух, и от ребят возле ночлежных костров, когда на страшные истории так и подмывает, а рассказчики

стараются изо всех сил и, закончив, вкрадчивыми и приглушенными почти до шепота голосами клянутся, что именно «так оно все и было».

На горе Серега спешился и огляделся. Справа кое-где светились редкие отнги, а там, за прудом, густела ночь, и только обрывки фраз да неторопливые переборы уставшей гармони напоминали о том, что под Матерью все еще продолжается веселье.

— Ну вот и последняя ночь прошла, — вслух подумал Серега и сел на белый камень.

На горе было разбросано много камней, больших и маленьких, но белый лежал один, плоский, будто надгробие. Лежал он немного особняком от других на самой вершине Кабацкой горы. Камень уже остыл и покрылся холодной, скользкой испариной.

— Последняя ночь. Вот такие-то дела, Серафима. Ты думала, что мы с тобой всю жизнь вместе будем. Эх ты, глупая. Такого не бывает. Люди и те расстаются. Вон Валерка с Полиной как любились, а потом и расстались. И теперь маются. А что будет, неизвестно. Последняя ночь.

Серафима появилась на свет от соловой кобылы Барыни и белого цыганского жеребца Серафима, который когда-то пожировал в арпылевском табуне. В него-то и удалась она мастью и статью. Молодая кобылка еще резво бегала по пойме вместе с другими жеребятами и стригунками и, набегавши, так же зазартно сосала материну молоко, когда однажды в лесу Барыню накрыло березой и перебило хребет. Серафима же каким-то чудом успела отскочить, и ревущее дерево прошло мимо. Лошадь пристрелили из ружья, там же, на делянке, ее и ободрали.

Через год Серафима чуть было не угодила на мясокомбинат. В правление как раз пришла бумага, по которой колхозу срочно предстояло сдать государству столько-то центнеров говядины, столько-то свинины и столько-то конины. Но Стрелков вывел ее уже из табуна, который прогоняли мимо правления, а из списков тут же велел вычеркнуть одну лошадиную голову. «Директивы мне... На ком я огороды колхозникам пахать буду? Что я им скажу? А сено из болот на ком вываживать? Бумажку в оглобли не запряжешь! Вычеркрай, Алексей, Серафиму! Тут и без нее на план будет!» — крикнул он погонщику и, оглянувшись на собравшихся возле правленческого крыльца старух, замахал руками: гони, мол, пока народ не рассердился и остальных коней не арестовал. Так и осталась Серафима в арпылевском табуне, который уменьшился в тот год почти вдвое.

Хоть и далеко с той поры продвинулася вперед научно-технический прогресс, дав колхозу много новой техники, комбайнов, тракторов, машин, но работа для лошадей по-прежнему была. Потому что лошадиная сила, как любил говорить старик Кружаленков, всегда останется силой.

В первый раз Серега увидел Серафиму, когда ей пьяный Черёхля подрезал гриву и хвост. Получалось у Черёхли черт-те как: где почти под корень снимал, а где и вовсе пропускал — то ли ножницы не резали, то ли глаза не смотрели. Вечером, захватив из дома скибку хлеба и полив ее сладкой водой, Серега побежал в пойму, подманил Серафиму, которая, как ни странно, сразу подошла к нему, обнюхала одежду и потянулась за гостинцем, тихонько вытащил из-за пояса овечьи ножни и начал ровнять белую гриву. Хлеб Серафима съела быстро, видно, не часто перепадало ей такое лакомство, но уходить не уходила, обнюхивала фуфайку, совалася в плечо и ловила мягкими теплыми губами его руки. А он, закончив работу, сунул обратно за пояс ножни, стянул с фуфайки белую щетину волос и стал разговаривать с лошадью, оглаживая ее шею и вздрагивающие бока. Вот так, вдруг и совсем нечаянно, началась их дружба.

(Окончание следует)

Поэзия

Владимир
ЕРЕМЕНКО

☆☆☆

Мать приходила, звала.
Дочь приходила, звала.
Смерть приходила, звала.
Некогда было. Дела!

День наступал. Угасал.
Мир расцветал. Угасал.
Хмель оплетал. Угасал.
Некогда было. Писал.

Зрелость пришла и ушла.
Люди смеялись: «Дела?!»
«Жизнь, — говорили, — мала!»
Женщина молча ждала.

Колыбельная

Задудит в дуду подпасок.
Голос вытечет из красок
Тонкой струйкой, наобум.

Обернется месяц сливой.
Станет нотой сиротливой
Полуденный, душный шум.

Ну, теперь глядите в оба:
Вон тревога, как чаща,
Нависает над селом.

Пробежит озиноб от взгляда —
Волчье око ли, лампада?
Зверь не зверь, и дом не дом.

Стынет озеро-поляна.
И над ним кольцо тумана,
Тяжелее молока...

А мужчины спят, как дети,
Потому что есть на свете
Материнская рука.

☆☆☆

Берег матери. Родина имени.
Поле памяти в ласковом пламени...
Кто зачат от крылатого семени,
Не обманется нежностью времени.

Все терял себя вновь
Да растрачивал.
Все калил свою кровь
Да затачивал,

Все искал красоту недоступную,
А нашел простоту неподкупную.

☆☆☆

Д. Кугульгинову

Пока душа летала птахой,
Ладонь была цветком и плахой.
Но втайне вынесла на свет
Без счета яблок и планет,
Простым приемом — под рубахой.

Медовый август загустел.
Хомяк в сторожке свиристел.
Брывался ветер, как Атилла.
Потом в душе зажгли огонь...
Металась птицею ладонь.
То расцветала, то грустила.

В корзинах яблоки дошли,
Планеты спелые взошли
Когда, тяжелая, слепая,
Душа и вправду родилась,
И с миром ощутила связь,
Цветок ладони осыпал...

☆☆☆

Сомневаюсь, пока не угас.
И отстаивать имя не смею:
Право Родины высказать нас
До конца остается за ней.
Полнокровна слепая стезя —
В недрах памяти — лепет равнины.
Ни на миг оторваться нельзя
От прозрачной ее пуповины.
А едва оторвешься, тогда
Распускается ветер во мраке!
Забывают языки города,
Осыпаются пыльные злаки.
И спелые идут чередой,
И невидящих ловят за плечи.
Испытанье огнем и водой
Забывают лишенные речи...
Нас напутствуют тысячи глаз.
Мы наивно ликуем: «Поется!»
Но всегда на потом остается
Право Родины — высказать нас...

☆☆☆

Это было в украинском белом селе,
В сокровенную ночь, на пороге луны:
Мне казалось, что я уже жил на земле.
И поэтому руки мои холодны.

В кроне тополя прятались шорох и свист.
И речной холодок отраженья качал.
Я стоял, постигая серебряный лист.
И не участь ждала...
И не голос звучал...

**Марина
КУЛАКОВА**

*Девять в
Юности*

☆☆☆

Если бы птицы разучились летать,
они бы потом разучились петь,
потом весну от зимы отличать,
потом от жизни отличать смерть.
Если бы люди разучились мечтать,
они бы потом разучились петь,
потом весну от зимы отличать,
потом от жизни отличать смерть.

☆☆☆

На остановке женщина стояла,
похожая на стаю белых птиц.
Она непостижимо состояла
из длинных пальцев,
платья, жестов,
взглядов,
 волос летящих, ветра
и ресниц.

И чья-то сеть
ее уже держала,
незримая, средь шума и огней.
Иначе что же,
что же ей мешало
немедленно растаять в вышине?

В деревне

Приехала. И русый русский ветер
коснулся плеч, приветливо грубя.
...И ничего банальнее себя
я в эти дни не встретила на свете.

Мой прежний мир был так отсюда прост...
И на меня надменно и сурово
смотрели величавые коровы
печальными глазами кинозвезд...

☆☆☆

Земляники хочется зимой
до веселых приступов отчаянья!
Ты, конечно, скоро будешь мой.
У тебя влюбленное молчание.
Ты придешь в один из близких дней,
скажешь все, что слышать мне захочется.
А во мне

неслышишмый извне
русый бес печально расхохочется.
Он скосит зеленые глаза,
что опять слезами наливаются.
Кто бы знал, что острые косы
по ночам о камне убиваются!

г. Горький

Татьяна КУЗОВЛЕВА

А я могла бы так?..

Бывает так: закат
Свой мягкий свет распещет,
И смолкнет все вокруг;
И вдруг увидишь ты:
Все дерево молчит,
А лист один трепещет,
Как будто побороть
Не может немоты.
Невидимым ветрам
Он отдан на расправу,
Иль сам тревожит их,
Уснувших на лету?
Какую весть несет?
Какую тайну, право,
Удерживать в себе
Ему невмоготу?
Блистать, когда вокруг
Любой словами блещет,—
Отвага не нужна
Для этого, увы.
Все дерево молчит,
А лист один трепещет.
А я могла бы так?
А вы, могли бы вы?..

Тихая бухта

Говорят, что в Тихой бухте
Очень тихая вода,
Там не думает о бунте,
Дескать, море никогда.
Я была там. Это бредня.

Так же трудно там грести.
Так же волны там намедни
Берег силились снести.
Я была там. Вы не верьте,
Что другое море там.
Эхо жизни, эхо смерти
Шло за мною по плязам.
Я плыла, врастая в море,
Погрузив лицо в волну,
Чью-то радость,
чье-то горе
Слушала сквозь глубину.
Расторваться в них? Без толку.
Прошумело наугад
Море, что меня исторгло
Миллионы лет назад:
— Грусть свободы,
Радость плена —
Это женские пути.
Только помни,
во Вселенной
Тихой бухты не найти:
Сокровенные обиды,
Загоняющие в глушь,
Так обманчивы глубины
Тихих бухт и тихих душ.

Ты меня береги!..

— Ты меня береги!
— Я тебя берегу:
Я костер развозжу на крутом берегу,
Чтобы видел ты, к дому бредя поутру,
Как горят ожиданье мое на ветру.
— Ты меня береги!
— Я тебя берегу:
В самом главном тебе я вовек не солгу.
Ну, а там, где ты сам мимо правды пройдешь.
Я тебе во спасенье придумаю ложь.
— Ты меня береги!
— Я тебя берегу:
За тобою незримою тенью бегу,
Обгоняя тебя на дороге тогда,
Когда вижу я: встречно несется беда.
— Ты меня береги!
— Я тебя берегу:
Никогда твоему не позволю врагу
Ни кулак, ни строку над тобой занести.
Я наветы могу от тебя отвести.

Я тебя берегу—
Я тебя исцелю.
Я на шее твой
Свои руки сцеплю.
Удержу,
Закружу,
Заключу тебя в круг!..
Только что же ты рвешься
Из сомкнутых рук?

И бросаешь мне через плечо,
На бегу:
— Ты меня береги!
— Я тебя берегу...

Стихи о начинающем ударнике

В тайге отслужив
И устроившись дома пожарником,
Он хочет — во что бы ни стало —
Стать лучшим ударником,
Хотя бы в ансамбле,
Играющем в местном ДК.
Когда он гремит барабаном
И хлещет тарелками,
Ему все земные страдания
Кажутся мелкими,—
Хоть я не возьмусь утверждать это наверняк

Но — вероятио...
Зато я уверена:
Маленькому, крепконогому,
Ему научиться мучительно хочется многому
И стать знаменитым —
Плевал бы тогда он на рост.
Тогда бы не он,
А ему каждый парень завидовал.
А он ощущал бы себя бы
Денисом Давыдовым,
И девушки думали бы, что не так-то он прост!
Вот так, да!

И вот когда стереогромы
И молнии-стерео
Он в мир извергает
Из меди, и кожи, и дерева,
Я верю, что станет он лучшим в ансамбле ДК.
Иначе во имя чего
Глохнут высып июльские,
Немеют от страха
Луга и леса среднерусские,
И мертвый лежит у меня на ладони строка?
Просто обидно.

И я укоряю себя в своей згионистичности:
Есть явный резон
В гармоничном развитии личности.
Ведь, слушая парня,
Свой груз не бросает Атлант.
Ведь скажут потом:
«Вот, пожалуйста, был он пожарником,
А стал он — в масштабе района —
Известным ударником.
Работа, работа —
Ничто без работы талант!»
В том-то и дело...
Однако известно давно,
Что с момента рождения
Дарован любому
Свой способ самовыражения —
Единственный способ —
Уж как там и что ни пиши.
И думаю я
Об ударнике не без волнения:
Пожар ли действительность
Тушит он без вдохновения
Или барабанит он все-таки не от души?
Трудно сказать...

Николай ДМИТРИЕВ

Воспоминание

Я мальчишкой пошел за грибами.
Вот за мной три десятка домов
Потонули уже за горбами
Побеленных роскошью холмов.
А к полудню от запаха сена,
От какой-то неясной тоски,
От пискливого голоса тлены
Непривычно заныли виски.
Где-то взлаяли разом собаки,
Прогудел одинокий мотор.
...Вот и сплел я в тенистом овраге
Удивительно-редкостный вздор:
Вдруг, пока я топчуясь у опушки,
Там решилась деревни судьба,
И фашисты гранаты-толкушки
Опускают в ее погреба!
И кричат, погибая, соседи
В разнодушную знойную синь:
«Хорошо, хоть у Клавы и Феди
Поберется единственный сын!»
Но туда — на пожар и на плаху,
Пусть! Один я совсем не могу!
На кустах оставляя рубаху,
Я в родную деревню бегу.

Вот она! По-над речкою, близко.
С разлетевшейся горсткой стрижей,
С голубым стебельком обелиска
И с насмешкой над дурью моей.
Но я плакал, и сердце решало,
Что нельзя мне ее оставлять!
И напрасно меня утешала
Ничего не понявшая мать.

У реки

Пахнет вянущей поломанной ольхой,
Пахнет речкой, пахнет родиной глухой.
В предвечерний комариный серый час,
Стиснув зубы, страшный слушаю рассказ:
«Видишь заводь и засохшие сучки?
Вот отсюда не вернулись рыбачки.
С ними сын мой, твой ровесник, твой годок.
Положили их по берегу в рядок.
Видно, все к нему сбежались. Думали — клюет,
Ну, а смертью прошлое плюет.
Положили. Дождик начал моросять.
Ты ответь, ответь — с кого теперь спросить?
Сколько можно, у меня пытает мать,
К двадцати-то миллионам прибавлять!
На рыбалку уходили, по грибы,
А оказалось так, что — по гробы...»
Десять лет уже, как будто в первый раз,
Стиснув зубы, страшный слушаю рассказ.

«Умный» разговор

— Ты красива... Так что же ты недобрая?
Ведь в толпе идем, а ты — как над толпой.
Столько светлого ненабрано, недобрано
Ненаглядной, упоительной тобой!
Ведь красотой своей случайно ты отмечена —
Эта штука достается без труда.
Просто камнем самоцветным вдруг подсвеченна
Человеческая, всякая руда.
О себе ты изумительного мнения,
Но пойми в конце концов, что все мы, все
Через сорок лет, а может, даже менее,
Уравняемся и в спеси, и в красе...
— Я тебя, мой обвинитель, славно слушаю,
Хоть известен мне тот простеный мотив.
Молодец, что мне поведал правду скучную,
Но зачем поведал, веки опустив?
У тебя под ними злость и обожание,
Ты завралась, ты запуталась совсем.
Старый-старый спор о форме с содержанием
Мы оставим Заболоцкому и всем.
Согласиться я спешу с тобою полностью,
Потому что жду, когда ж ты замолчишь.
Или ты еще в полнейшей бездуховности
И росинку, и ромашку обвинишь?
И пускай все-все в тебе меня сторонится —
Ты пройти уже не смеешь стороной.
Я ж бессмертие твое, твоя бессонница,
Ну, а ты — сова дневная, мой родной.



Для чего ты сосешь бормотуху
У ларька и наколотых дров?
Чтоб хватило присутствия духа
Наблюдать столкновенье миров?
Миллион поколений любили,
Чтоб возник ты на этом посту?
Миллион поколений лепили
Этот лобик в похмельном поту!
Чтоб таращились слепенько глазки,
Где двоятся любовь, ремесло,
И наука, и Слово, и сказки,
И добро, и всемирное зло.
Я не знаю, какой ты породы,
Может, с тайной своею бедой,
Но нельзя в эти трудные годы
Подзаборной цветсти лебедей.

Марина ЕСЕНИНА **СТАРАЯ КУКЛА**



*Дебют в
«Юности».*

Марина Есенина москвичка. Окончила Московский полиграфический институт, занималась научной журналистикой. Работала в издательствах «Медицина», «Наука», в газете «Неделя», журнале «Литературная учеба». В печати выступала как автор рассказов и переводов с языков народов СССР.

Была в глазах твоих тоска,
И ты не видела, как прежде,
Что в этих серых облаках
На голубое есть надежда,—

декламировал двадцатилетний Коля и рассуждал, поглядывая на куклу:

— Мне кажется, первые строки вообще лишние, а последние две лучше написать не словами, а красками.

И брался за альбом и акварель. Часок-другой поводив кисточками по бумаге, он оставлял это занятие и отправлялся в парк или в лес, бродил, и в воображении его без труда складывались остроумные диалоги, меткие портреты, и все чаще приходили мысли о повести или романе. С годами в нескольких тетрадях уже разместились наброски сюжетов, соединенные где стихами, где рисунками.

В институте Николай Владимирович не доучился, на службу не пошел, а довольствовался случайными заработками. Был он здоров и силен: разгружал вагоны на вокзалах, грузовики у магазинов, ходил с геологами по тайге и даже нанимался матросом на рыболовное судно. И каждый раз, заработав денег, он собирался дописать роман или закончить поэму. Но тут тронет его за душу какая-нибудь хорошая женщина. Вдохновится Николай Владимирович, станет писать ее портрет, а если как раз время подойдет, поедет с ней к морю, где несколько недель, а то и месяца два бегают они по берегу, ночуют где-нибудь, веселятся и радуются. Николай Владимирович угадывает желания подруги и движений ее души. Тут же сочиняет ей стихи, в которых, как брызги, поблескивают две-три действительно хорошие строчки, и Николай Владимирович со щемящей надеждой чувствует их и собирается остальным придать тот же блеск. Вот только вернется в Москву, будет осень, ясная, холодная голова — и уж он поработает! Но как хорошо, что сейчас рядом с ним пальмы, море и счастливая женщина.

Если в разгар блаженства кончались деньги, Николай Владимирович спокхватывался в последний мо-

Рисунок Р. Клочкова

мент, когда завтра не на что было бы купить молока и даже хлеба, или нет денег на билет, а в спутницы попалась женщина увлекающаяся, не притаившая на случай ни рубля. Нерасчетливость в женщинах вдохновляла Николая Владимировича, и он особенно чувствовал себя мужчиной. Он исчезал в поисках заработка и через несколько часов возвращался с билетом для подруги, которой необходимо было срочно ехать домой, чтобы в потемках или скромных радостях семейной жизни утешаться воспоминаниями, что был у нее беззаботный, искрящийся праздник любви.

А расставался он с женщинами просто и душевно, как и сходился. Никто не таил на него обид.

С Таней у них так приблизительно и было. Целую весну рисовал Николай Владимирович портреты застенчивой девушки и даже родителей ее рисовал. Потом они поехали к морю. Вот только Таня по молодости или уж так, по природе, отнеслась к Николаю Владимировичу чрезвычайно серьезно. Она его полюбила, была готова на все и готовность эту, к недоумению Николая Владимировича, осуществила решением родить.

— Таня! Посмотри на меня! — отчаялся Николай Владимирович. — Ну какой я отец? Какой муж? У меня даже заработка постоянного нет. Вы с маленьким будете со мной несчастны! Вы будете голодать! Вам нечего будет надеть! Я же художник! — распался Николай Владимирович. — Мне от жизни нужно совсем другое!

— Что же тебе нужно? — сдавленно спросила Таня, не поднимая каменно опущенных век.

Николай Владимирович осторожно поглядел на нее, прицениваясь, какие именно слова будут ей доступны.

— Я хочу длинную, длинную желтую дорогу по краю большого поля... И чтобы впереди меня шла босая спутница, затылок ее золотился бы от вечернего света, а из-под пяток взлетали фонтанчики пыли... — Он увлекся описанием своей мечты.

А Таня вдруг встала и ушла, так и не подняв глаз.

Он со вспыхнувшим было облегчением проводил ее взглядом и перевел дух. Потом почувствовал, что очень расстроен, и ему стало не до работы. Захотелось уехать куда-нибудь, отвлечься, поразмышлять, скинуть с себя эту томительную праздность, так одолевшую его.

Он провел два промозглых месяца в опустевшей Юрмале. Когда случалось ему вечерами одиноко дрожать от ледяного ветра возле свинцового моря, чудилось, что эти часы как-то искупают его грехи, и он, бывало, задерживался на холоде до невозможности. Когда же, закоченевший, возвращался в уютную чистую комнату, снятую совсем недорого, отогревался и успокаивался, то ему казалось, что у Тани, должно быть, все устроилось, она одумалась и вряд ли останется несчастной.

Вернувшись в Москву, Николай Владимирович из какой-то робости Тане не позвонил.

Лет через десять до него дошел слух, что Таня тогда все-таки родила. «Ну надо же!» — отдаленно побухало в голове Николая Владимировича, а потом и перестало.

За это время Николаю Владимировичу удалось выставить три портрета в фойе кинотеатра, выступить с чтением лирических стихов в каком-то заводском клубе и опубликовать несколько прозаических зарисовок.

Однажды зимой Николай Владимирович занемог. Хворь была вроде незначительная, но прилипчивая, и не хватало сил даже ненадолго уйти из грязноватой и тесной от хлама квартиры. Он никак не мог решиться позвонить на работу Ларисе — женщине, которой вот уже месяца три доставлял одни радости, встречаясь с ней в удобное для нее время, в меру отвлекая ее от деловой и семейной жизни.

Ларисе Николай Владимирович все же позвонил,

с юмором пожаловался на самочувствие, и она сдержанно обещала зайти после работы.

Пришла не одна, а со своей знакомой Риммой. Очкастая, носастая, сутуловата, Римма смущалась, взглянув на высокого кудрявого атлета, открывшего дверь. После невразумительного приветствия он отступил в комнату и нырнул под одеяло. Николая Владимировича позабавило смущение старой девы, как он определил про себя Римму, а взгляд у него был верный.

Какой все же незаурядный мужчина был Николай Владимирович! Его неосуществленный в труде художественный дар с годами не угас, а утвердился в том, что он мог отыскать очарование в женщине любой наружности. Вот Римма загородилась рукой от пара, вьющегося над травяным отваром, — как беззащитно торчит голубоватая косточка на запястье и пугливо исчезает в морщинках при внезапном движении руки! Вот Римма наклонилась за оброненной тряпкой — как застенчиво напряжено ее суховатое бедро!

Лариса успела сварить впрок какую-то еду, подобрать разбросанные и застывшие в причудливых формах носовые платки. Время от времени она поглядывала на прихворнувшего Николая Владимировича со снискожительной и поспешной улыбкой. А он внутренне умилялся суете вокруг себя. Наблюдал за Риммой, и скованность ее движений отзывалась в нем каким-то далеким, смутным воспоминанием то ли о бабушке, то ли о няне. Он уже чувствовал несвободу от Ларисиного присутствия, которое мешало ему вполне сосредоточить фантазию на новой знакомой.

Часа через два женщины стали прощаться, и Лариса, скользнув губами по его влажному лбу, предупредила, что в ближайшее время ей никак уже не вырваться к нему.

— Но Римма, — пообещала Лариса, — будет наведываться регулярно. Человек она надежный и ненавязчивый.

Римма хотела было что-то вставить, но Николай Владимирович опередил ее, радостно поблагодарил и пожаловался на полное одиночество.

Римма пришла через день, и Николай Владимирович по множеству мокрых следов перед дверью понял, что она долго топталась в нерешительности, прежде чем позвонить.

— Римма, милая, здравствуйте! Насилу дождался вас.

Николай Владимирович пытался через порог взять тяжелую сумку из рук оцепеневшей Риммы, но она только крепче скжала пальцы на ручке, и Николай Владимирович, как за привязь, ввел ее в переднюю.

— Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?

Римма старалась держаться строго и деловито, но если ей удавалось придать твердость голосу, то движения ее были очень неуклюжи. Она сегодня еще больше удивилась красоте Николая Владимировича и ни с того ни с сего вдруг отступилась, а когда Николай Владимирович помогал ей снять пальто, у нее свело руку.

— Чувствую я себя, Римма, очень скверно. Болею впервые в жизни и с непривычки владаю в панику.

От страданий, с которыми ей пришлось освободить руку из рукава, Римма окрепла душой и в комнату вошла уже решительно.

— Вчера вечером, — продолжал Николай Владимирович, — я вспомнил, как слышал однажды от одной женщины, что у ее матери рак всего организма. Встал, подошел к окну, а там такая метель, домов соседних не видать, голова закружилась, по всему телу мурашки и тоска. Прямо рак всего организма!

— Так что же вы стоите? Ложитесь. Я принесла банки.

Шесть дней приходила Римма к больному с вареньями, печеньями и снадобьями.

Она рассказала, что работает машинисткой на дому и всегда может выкроить свободное время в середине дня. Николая Владимировича она ни о чем не спросила. И он, не стесненный вопросами, говорил без остановок. Его радовало серьезное и незнакомое

ему товарищеское внимание Риммы к пересказам ненаписанных романов, умиляла забота о его здоровье, которое поправлялось и поправлялось. Желание удержать возле себя Римму толкало его на капризы и симуляцию недомоганий, а симптомы он черпал из популярной медицинской энциклопедии. Николай Владимирович сильно стыдился своей лжи, поэтому не заметил, что Римма вовсе не тяготится обязанностями сиделки.

Тревожное чувство ежедневного ожидания Риммы было ново Николаю Владимировичу, во всяком случае оно мало походило на полноценное испытанное им любовное нетерпение.

Однажды Римма не пришла и не позвонила. К вечеру этого дня Николай Владимирович извивался ожиданием. Он обнаружил, что не знает ни телефона ее, ни адреса. Никак не мог дозвониться до Ларисы, чтобы навести справки, и чувство утраты вдруг сжало сердце.

Она появилась к середине следующего дня, бледная и равнодушная. Вяло поздоровалась и молча пошла на кухню с большой сумкой. Это не соответствовало настроению Николая Владимировича. Он загородил дорогу, взял ее за плечи и требовательно спросил:

— Что случилось?

Римма смущалась от близости его лица, отшатнулась и стала оседать на пол.

— Простите, мне очень нездоровится, — только успела произнести она достаточно внятно, потом речь ее сбилась.

— Римма! Да вы совсем больны! Как же так? — Николай Владимирович сноровисто взял ее на руки и отнес в комнату.

Римма металась в жару и бредила, а Николай Владимирович старательно делал то, что рекомендовала в подобных случаях медицинская энциклопедия.

Перед вечером она ненадолго очнулась, безразлично огляделась вокруг, попросила чаю и снова забылась.

Николай Владимирович почувствовал себя очень усталым. Он задремал, устроившись на полу, но чаша через два проснулся от неровностей подстилки и от холода. Ему очень хотелось спать в тепле и удобстве. Он походил по комнате, подумал, потом осторожно отодвинул спящую Римму к стене, а сам приотился с краю поверх одеяла, укрывшись пальто. Но укрытие это было ему мало, а вытянувшись, он начал зябнуть. Продрогший Николай Владимирович не устоял перед соблазном забраться под одеяло. От Риммы шел жар, но отогревался Николай Владимирович неравномерно: спина согрелась, а ногам все было холодно. Тогда он пододвинул ступни вплотную к больной, и по ним наконец разлилось тепло. Засыпая, Николай Владимирович оправдывал себя воспоминанием из медицинской энциклопедии, что если у больного очень сильный жар, его полезно охладить.

Жар держался еще сутки.

Они поженились. И сначала Николай Владимирович серьезно увлекся похорощившей, помолодевшей, часто краснеющей Риммой.

С какой решительностью взялся он за работу над романом! Хозяйство не доставляло теперь никаких хлопот. Вдоволь выпивши, выпив горячего кофе со слоеным пирожком, Николай Владимирович садился за рабочий стол, на котором его теперь всегда ждали заправленная прекрасными чернилами ручка с золотым пером — свадебный подарок Риммы — и стопка высокосортной бумаги. К этому времени Римма уже отправлялась в свою квартиру, чтобы стрекотом машинки не мешать мужу.

Оставшись один, Николай Владимирович сперва добросовестно сидел за столом, потом как бы невзначай оглядывал прибранное жилище. Особый уют придавали ему небрежно брошенный в кресло мягкий золотистый плед и Римминь тапочки с пушистыми моковыми помпонами. Внутри у Николая Владимировича сладко замирало. Он потягивался, вставал,

шел в ванную принять для бодрости горячий душ. После душа заходил на кухню, где на столе, и на плите, и в холодильнике дожидалась его еда. Николай Владимирович закусывал, немного отдохнул с книжкой на новом диване, потом спокойствовался, садился за роман и коротал оставшиеся до прихода женщины часы.

Римма возвращалась уставшая, робкая, словно до сих пор не уверенная, что идет домой.

Новизна жизни оттянула перемену чувств, столь подвижных у Николая Владимировича. Только через год, к середине апреля, он растревожился. Как захотелось ему по утрам не глядеть в пустоту аккуратно сложенных бумажных листов, а вырваться за город, колоть ледок в мелких лужицах или под вечер очутиться на краю пустынного поля.

Он не решался выходить из дома раньше Риммы; терпеливо дождавшись, когда за ней хлопнет дверь, считал в уме до ста и начинал собираться в дорогу. Но странно, устроившись на каком-нибудь особенно голом месте, он вдруг обнаруживал, что ветер впустую проносится мимо и теперь сами по себе не приходят к нему ни новые мысли, ни чувства, а подбираются какие-то нечеткие и одновременно заученные воспоминания. Он узнавал отрывки из своих старых стихов, ясно видел их недочеты, машинально исправлял в уме, и ему становилось скучно: так окаменели ощущения, вызвавшие когда-то эти строки.

«Что происходит?» — недоумевал Николай Владимирович, стараясь не поддаваться подбирающейся к сердцу тоске. «Это с отвычки, — утешал он себя. — Я разучился наслаждаться одиночеством. Нужно приезжать сюда каждый вечер — и все вернется». Еще несколько раз выбирался он в поля, в полуденные и в закатные часы, но никак не приходило к нему ощущение пространственного и временного простора: то ветер был слишком холодный, то шел дождь и физические неудобства, неощутимые прежде, уже подсовывали ему легкие оправдания и он спешил назад, к электричке. Быстрая ходьба по лесу утешала его, и ему вдруг становилось даже весело, когда вспыхивала в памяти какая-нибудь прежняя его строка. «Идет по дороге коза и смотрит правде в глаза», — смеялся Николай Владимирович, вспомнив, как к месту сложились однажды у него эти слова.

Когда Римма обнаруживала, что Николая Владимира нет дома, она злилась и страдала. Старалась отвлечься денежными расчетами, но они ее совсем не утешали. Денег не хватало. Надо себе купить новое зимнее пальто, да и у Коленеки пальто неважное, да еще сколько нужных вещей недостает. Давно не плачено за ее кооперативную квартиру. Римма отгоняла воспоминания о том, как она дожидалась этой квартиры, как мечтала когда-то о ней, и все больше смирялась с мыслью, что квартиру придется продать. Изнемогая от ожидания Николая Владимировича, Римма с раздражением брала за шиворот куклу Коленеку, но мягкие натуральные локоны нежно рассыпались по запястью, и она, подняв очки на лоб, целовала эту вещь со страстью, какую никогда не отваживалась показывать мужу.

С продажей квартиры дело уладилось к следующей зиме. Пальто Римма купила себе неплохое и не устояла перед соблазном купить дубленку Коленеке.

Николай Владимирович самозабвенно радовался обнове. Он стал чаще гулять по людным улицам и поглядывал на тех, кто тоже был в дубленке. Доходило до того, что он не обращал внимания на привлекательную женщину в матерчатом пальто, если поблизости шел мужчина в дубленке. Николай Владимирович примечал и цвет, и покрой, и пуговицы на чужой шубе и всегда находил, что его одежда лучше. Ожидание какого-то успеха, любви снова стало беспокоить его.

Он время от времени все же присаживался к столу для работы над романом, но теперь, когда у них оставалась одна квартира, часто не было возможности подумать в тишине, в одиночестве; от сидения над бумагой проку было все меньше, и Николай



Владимирович прибегал уже только к устному изложению.

К лету он увлекся воспоминаниями о прежних годах, когда резвился в черноморской волне с молодой красавицей. И если мысль о красавице он все же сдерживал по своей природной деликатности, то мечта о море все больше томила его.

Николаю Владимировичу в голову не приходило предложить Римме поехать вместе. Ни в одной его мечте о золотом пляже этой женщины не существовало. Конечно же, он мог уехать без нее хоть завтра, но у него не было средств. Николай Владимирович был человек легкий, его досада на неосуществимость желаний беззлобна, только мечты становились все волшебней. Они переполняли его, и он все чаще пересказывал их Римме, рисуя сказочное очарование южной природы.

Сначала Римме казалось, что он делится с ней своими литературными замыслами, но от особой разгоряченности его тона насторожилось и встревожилось ее сердце. Возникла нечеткая, стыдливая мысль об их совместной поездке. Римма представила пылающий гальковый пляж, который видела лет пятнадцать назад, когда единственный раз в своей жизни была у Черного моря. Вообще-то ей всегда больше нравилась прокладная вежливая Прибалтика. Римме с купальниками не везло. За всю жизнь еще не попалась такой, в котором она не стеснялась бы.

А ведь на Николая Владимировича многие станутглядеться, рассмотрят и Римму — и вдруг он застыдится ее? Нет, она ни за что не поедет! Да и денег на двоих не хватит. А он пусть едет, пусть проветрится, не то ведь она ему и вправду надоест.

Римма сняла со сберегательной книжки последние деньги и вечером, когда сели пить чай перед телевизором, завела издалека речь:

— Лета в этом году, наверное, так и не будет. Все дожди, холод.

— Да, Риммуся, — вздохнул Николай Владимирович, — все надежды смыло этими дождями.

— А мне кажется, Коленька, ты должен отдохнуть

где-нибудь в тепле, — с горечью, но твердо сказала Римма.

— Что ты, дружочек! — Николай Владимирович оборотился к ней всем телом и в лучах телевизора всмотрелся в ее лицо. — Да не на что мне ехать!..

— Деньги есть, и говорить нечего!

Римма услышала свой непреклонный тон и ощутила превосходство. Теперь она окончательно усыновила Николая Владимировича в своем сердце, а смысл их отношений вдруг озарился для нее возвышенной естественностью. Она заметила жадный блеск в его глазах и не обиделась. Задорная игривость защебетала в душе:

— Конечно, поезжай, деточка, не беспокойся!

Николай Владимирович вздрогнул, но возиковал.

Поездка эта совсем не удалась. Николай Владимирович обнаружил, что цены на жилье велики. Ему пришлось снять комнату вместе с двумя какими-то мальчишками, жаргонная болтовня которых его раздражала. Он сновал между замусоренным пляжем, грязноватой столовой и своей койкой — и ничего не радовало его. Женщин кругом было много, попадались и красивые, но ни одна не тронула его сердце. Однажды он, правда, заговорил со смуглой молоденькой девушкой, но она оглядела его холодно, беззастенчиво и хрипловато ответила:

— Отвали, дед.

Николай Владимирович плохо спал, и в сновидениях ему являлись то Римма с куклой Коленькой в руках, то смуглая голая смазливая хамка — она щипала за нос маленького Деда Мороза в матроске, а тот беззвучно плакал. «Ну надо же! — возмущался сквозь сон Николай Владимирович. — Какая отвратительная женщина!» И проснулся от срама и тоски.

Вся жестокость предрассветного часа обрушилась на него. «Ну надо же! — трепыхалось его сердце и требовало мечты. — Ну надо же! — знакомо и спасительно вдруг промелькнуло в голове. — Как же я мог не спросить! Как упустил?!» Болезненная пустота в воображении заполнилась вдруг образом

хрупкой девочки с большими испуганными глазами. Она стояла на холодном осеннем ветру, одинокая, несчастная и прекрасная. И только он мог согреть и успокоить ее! Пульс у Николая Владимировича сделался полным, воображение играло, слеза катилась, решение зрело, жизнь продолжалась!

На следующий день он вернулся в Москву.

Он не узнал свое жилище. Посреди комнаты была гора из мебели, покрытая тряпками и газетами.

— Как же так? — отчаялся вслух Николай Владимирович.

— Кто там? — послышалось из-за горы.

Он обошел гору и увидел Римму на пирамиде из кухонного стола и табуретки. Она с полоской обоев в руках робко оглядывалась на звук шагов.

— Римма! Что происходит? — Он простер к ней руки.

— Я, Коленька, ремонтом занялась. — Она медленно спустилась, цепляясь за стену. — А что с тобой? Почему ты здесь?

И на мгновение они застыли, а потом крепкоожали друг другу руки.

Не разжимая руки, Николай Владимирович начал необыкновенным голосом:

— Риммочка... думала ли ты когда-нибудь о детях? Я последнее время все думаю, что дети есть почти у всех людей... нашего возраста.

— Да, Коленька, — поспешно откликнулась Римма на небезразличное ей все-таки упоминание о возрасте и освободила свою руку, — у некоторых и внуки есть...

— Римма! Ведь и у меня есть... дочь.

— Как же это? Когда, Коленька? А раньше ты не говорил...

— Забыл. Да и узнал я про нее недавно...

— Она что же, такая маленькая? — с дрожью поинтересовалась Римма, невольно думая о молоденькой матери.

— Да уж не такая маленькая. Мы с ее матерью расстались лет десять или пятнадцать назад.

— И никогда больше не виделись? — с надеждой спросила Римма.

Николай Владимирович с досадой уловил эту надежду.

— Ах, Римма, ты не о том все думаешь. У меня вот и имя ее как-то путается в памяти. Я ее, кажется, Рыжиком звал или Пушком. И фамилия ее мне не нравилась, грубоватая такая — Свищунова, что ли... Необходимо разыскать дочь, Римма.

Несколько месяцев Римма вела поиски. Когда же наконец встретилась с Леной — так звали дочь Николая Владимировича, — ей пришлось наговорить много объяснительных, убедительных, трогательных, а также трагических слов, из которых выходило даже, что Николай Владимирович чуть ли не при смерти. И Лена пообещала прийти.

Николай Владимирович ждал дочь молча. Но в голове у него клокотали слова, которые он должен будет сказать ей, когда она войдет. Сначала они были простыми, но время тянулось, слова усложнялись, путались, и тогда он пугал Римму громкими ненужными вопросами:

— У нас фрукты есть?

— Я купила, Коленька, и апельсины и яблоки.

— А конфеты?

— Есть. «Мишка на севере».

— «На севере диком стоит одиноко»... — подхватывал Николай Владимирович. — Римма, ну как все-таки она выглядит?

— Я же тебе говорила, на тебя похожа.

— Молчи! Молчи! Я сам увижу. Во сколько же она придет? Как вы все-таки договорились?

— Да к вечеру ближе, — замирала от неуверенности Римма.

— Римма! Ты все же считаешь, что я должен оставаться в халате?

— Коленька! Я же Леночке сказала, что ты болен. А халат этот тебе очень к лицу. И вообще лучше бы тебе сейчас прилечь.

Николай Владимирович шел в ванную, рассматривал себя в зеркале. И в конце концов изнемог и прилег на диван.

Звонок в дверь так хлестнул Николая Владимировича, что он потерял голос.

— Римма, — просипел он.

— Коленька! Открой! Это Леночка! — крикнула она с кухни.

Не помня себя, Николай Владимирович очутился у входной двери. Отворил. На пороге стояли две высокие, молоденькие и, как ему показалось, совершенно одинаковые девушки.

— Здравствуйте, Николай Владимирович! — кором сказали они.

— Вас двое! — пораженно, безголосо вымолвил он.

— На выбор! — услышал он голос одной.

— Ах, прости, проходите, пожалуйста. — Он посторонился.

— А вот и Леночка! — радостно ворковала подспевшая Римма. — А это ваша подруга? Какие красивые девушки. Проходите. К столу, пожалуйста. Усажайтесь. Коленька! Познакомься с Леночкой подругой. Ну что же ты!

Николай Владимирович робко выступил из тьмы прихожей, и, пока он шел до середины комнаты, взгляд его метался по девичьим лицам.

— Здравствуйте.

— Садитесь, садитесь. — Римма была такая радушная, что от чрезмерной естественности вдруг причмокнула, облизнув большую ложку. — Я на минуточку на кухню.

Николай Владимирович давно сбился со счета своих лет. Еще менее представлял он, какрастут дети. И откуда было ему знать о нарочитой незрелой женственности в облике пятнадцатилетних девочек, когда их хорошо кормят. На его взгляд, просвещенный в другом направлении, это были совершенно взрослые, котя и очень молоденькие женщины. Если бы Лена пришла одна, он, может, и удивился бы, что перед ним не крупное дитя, но не потерял сосредоточенности на том, что это его дочь. Теперь же, когда две рослые девушки оказались в его доме, мысли Николая Владимировича вильнули в сторону от неокрепших отеческих чувств. Он совсем не к месту вспомнил, что давным-давно не бывал в компании таких молоденьких женщин, и с удовольствием рассматривал их, тогда как они принялись тормощить кукол.

— Лена? — обратился-спросил он у той, к которой, кажется, в прихожей обратилась Римма.

— Значит, вы Лену выбрали? — Люся сделала обиженное лицо.

А им вдруг овладела былая легкомысленная любезность:

— Я с удовольствием выбрал бы вас обеих...

Но тут его кольнул неодобрительный взгляд вошедшей Риммы.

— Да, девочки, — говорила Римма, — этих замечательных кукол сделала мама Николая Владимировича, ваша, Леночка, бабушка. Но давайте сядем к столу.

Сели. Поели.

С первого взгляда Лене, пожалуй, понравился Николай Владимирович. Он оказался не таким старым, а красоте и живости его лица она даже обрадовалась.

— Николай Владимирович, — спросила она его как-то нерешительно. — А вы кто? Ну... по профессии...

— У Николая Владимировича очень много работы. Сейчас он, правда, нездоров, это мешает ему, и я запрещаю ему подходить к рабочему столу, — затараторила Римма. — Он пишет прекрасные стихи, картины и романы.

А Николай Владимирович молча глядел в пространство, и растрелянность его взгляда была так наивна, словно охватила его глаза впервые в жизни и он не знает, что это нужно скрыть.

— Извините, я сейчас вернусь. — Николай Владимирович поднялся и вышел на кухню.

«Ну почему нужно говорить об этом? — силь-

ной досадой, которую он испытывал только в школе, думал Николай Владимирович. Он нервно и бессмысльно отворял дверцы шкафчиков и тут увидел откупоренную бутылку с коньяком, которым Римма заставляла его полоскать рот от переутомления сердца. Николай Владимирович залпом выпил граммов сто. Постоял некоторое время со сморщенным от отвращения лицом. Хмель быстро проник в его изнеженный диетой организм. Он встряхнул промытыми, седыми, на удивление сохранившими блеск кудрями и устроился в комнату.

У Николая Владимировича было припасено много устных историй, которые, бывало, производили на женщин неизразимое впечатление. Одна из них, про мороженого осетра, вдруг прорезалась в его памяти.

Римма все говорила что-то заскучавшим девушкам, и он с удовольствием перебил ее:

— Дорогие женщины, я хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной, когда я служил матросом на рыболовном судне. Бернее, мы уже были на берегу.— Николай Владимирович усился, смело взглянув на Лену и продолжал: — Одна знакомая...— Тут он примолк.— Короче говоря, у нас с товарищем оказался огромный мороженый осетр метра два ростом. Да, да, ростом. Дело в том, что рыба эта,— он на ходу редактировал рассказ,— досталась нам... ну, не совсем праведным путем.— Ему приходилось опускать очень интересные подробности.

Рассказ его — несколько теперь куцый — о том, как обрадили мороженого осетра в матросскую робу и бескозырку, купили для него купеческий билет до Москвы и вели по сумеречным улицам Архангельска под видом пьяного друга, а потом уложили на полку и подтирали под ним лужи, как присмирела не верящая своим глазам старуха-попутчица,— развеселил девушек не так сильно, как надеялся Николай Владимирович. Посмеялись и снова замолчали.

— Лен, я кофту подсинила вчера, а она разводами пошла,— вдруг сказала Люся.

— Может быть, музыку завести? — несколько нервно спросила Римма.

— Музыку! Музыку! — отозвался Николай Владимирович с еще не угасшим хмельным оживлением.

Римма поставила пластинку «Музыка тридцатых годов». Грязнули «Брызги шампанского».

Николай Владимирович шаркнул перед Леной, она пожала плечами, но встала.

Николай Владимирович обнял свою дочь за талию и вошел в тант. Он смотрел в юное лицо, и оно нравилось ему. Отыскал ли он в этом лице тронущие его черты, осознал ли вдруг, что рядом с ним его дочь, только вспыхнула в нем нежность, и он ласково прошелся ладонью по спине Лены и при повороте от неизъяснимой радости порывисто прижал ее к себе. То ли поворот был слишком крут, то ли так уж была смолоду поставлена рука у Николая Владимировича, но вопреки его воле жест вышел какой-то не по-отечески страстный, и Лену пронзила неестественность этого объятия. Она резко остановилась. Николай Владимирович и сам был чуток, и он вдруг узнал в своих движениях совсем не то, что чувствовал и думал сейчас, и ужаснулся:

— Простите, Лена, я на старости лет неловок стал, чуть было мы с вами не грохнулись.

— Ничего-ничего,— отстранилась Лена.— Нам все равно домой пора. Пошли, Люся! — Она сразу направилась в переднюю.

— Я провожу вас! — с отчаянием сказал Николай Владимирович.

— Мы сами, не беспокойтесь.

— Нет, я вас провожу!

— Коленька, надень шубу,— растерянно сказала Римма.

Николай Владимирович спускался по лестнице следом за девушками. На площадке между пролетами кто-то выставил старый трехстворчатый шкаф с тусклым зеркалом. Николай Владимирович увидел в нем покиющую лохматую женщину в тулупе и длинной юбке. Вспомнил, что он в халате, и понял, что это его отражение.

Девушки убыстряли шаг, словно хотели поскорее отвязаться от сопровождения. Иногда они хихикали, Николай Владимирович плелся за ними с осторожностью бездомной собаки, которая и готова к зову, и не верит в него. Его желание оказаться нужным привело к тому, что он первый увидел автобус и громко сказал:

— Можно еще успеть!

Девушки побежали, одна из них — он не разобрал которая — оглянулась и крикнула:

— Счастливо, Николай Владимирович!

Года через полтора Николай Владимирович умер от сердца.

После его смерти Римма сделалась очень общительной, ей никак не сиделось дома. Лариса, к которой она теперь зачастila, вздрагивала всякий раз, как открывала ей дверь.

Римма приветливо улыбалась, показывала большую тяжелую хозяйственную сумку и радостно сообщала:

— А я с Коленкой пришла!

Встать в семь; умыться, прибраться, перекусить, привести себя в порядок, выйти из дома не позже восьми пятнадцати; автобус, метро с пересадкой, снова автобус да еще пять минут ходьбы — девять часов ровно. Четыре часа работы плюс час перерыв плюс еще четыре часа — уже шесть вечера, день прошел; путь домой, не спеша, с магазинами — полтора-два часа; ужин, да уборка, да стирка, да с соседкой поболтать, да телек посмотреть — и, пожалуйста, половина двенадцатого, если не все двенадцать: день да ночь — сутки прочь.

ЖИЛА-БЫЛА КЛАВОЧКА



Борис
ВАСИЛЬЕВ

Это — время.

Зарплата минус налоги, взносы в профсоюз, комсомол да «черную кассу» — на руки восемьдесят шесть рублей. Ничего, многие одиночки и меньше получают. Отложим за квартиру, свет, газ, там — лампочка перегорела, здесь — кран потек: семья в месяц, как ни вертись. На работе — обед в столовке, да дорога тридцать копеек в день в оба конца, да складчина: то кто-то рождается, то кого-то повысили, то праздник, то девичник — двадцать три, проверено. Да каждый день дома завтрак и ужин, да восемь обедов в субботы с воскресеньями — в общем, тридцатка, а то и все тридцать три выложишь. И — разное: десятку в город Пронск; кино или театр или торт себе для веселья; колготки или чулки (рвутся, проклятые, не поймешь, почему рвутся-то!) — еще пять, а то и семь, а всего расходов по этой статье не меньше двадцатки. Если все сложить — восемьдесят рублей плюс-минус ерунда. И на все-все: на платье и белье, на пальто и сапожки, на перчатки и шапочку, на плащик и кофточку, на юбку и шарфик, на мыло, парикмахерскую, косметику, на концерт, на выставку или на электричку до природы доехать — на все-все без излишеств, без кусочка удовольствия откладывать удается пятерку в месяц. А мебель? А море? К нему же съездить, ой, как хочется, глазком одним поглядеть, как там отдыхают. А Ленинград и Сузdal? А меховой воротничок? А туфельки? А ресторан, в котором один раз в жизни была? А проигравший, пусть хоть трижды учененный? А цветы самой себе, чтоб соседке Липатии Аркадьевне сказать: «Знакомый подарил...»?

Это — деньги.

Время — деньги: ни того нет, ни другого. Вертись в расчетах, прикидывай, можно ли второй стакан чаю выпить или лучше так перебиться: у Людмилы Павловны скоро день рождения, на подарок скидываться придется, да и на девичник; так уж «самой» заведено, а она начальница. Значит, надо считать.

И Клава Сомова считала. Шевеля губами и усиленно морща кругленький, как у ребенка, лобик, складывала, делила и прикидывала, от чего нужно отка-

Рисунки
А. Сальникова

ваться, чтобы что-то купить, как исхитриться, чтобы чего-то не покупать, и сколько раз можно пойти в кино, чтобы не залезать в долги. У нее никого, решительно никого не было во всем белом свете, кроме бабки Марковны, которой она ежемесячно посыпала десятку. Это перенапрягало ее бюджет, но мама у края жизни просила за старуху, и Клава исполняла последнюю волю, хотя бабка эта ни с какой стороны не приходилась ей ни родственницей, ни даже знакомой. Клава знала в общем маминую историю, в подробности не вникала и слала деньги безропотно и бесперебойно. Она свято следовала маминым заветам, потому что считала маму умной, а еще потому, что ничего не имела, кроме этих заветов. Да и заветов-то было всего три.

Первый: жить так, чтобы, боже упаси, не влезать в долги, а наоборот, ежемесячно что-то откладывать. Хоть рубль мелочью.

— Одна ты, Клавочка, а советчики далеко. Жизнь длинная: где споткнулась, где перегнулась, а где и сплоховала.

Клава в деньгах держалась, а в жизни раз сплоховала. Все, правда, за государственный счет сделали, но стыда наклебалась. Врачиха три раза на беседу вызывала, о совести говорила, о женской гордости и о том еще, что нерожавшей опасно аборт делать: детишек может никогда уж не быть. Но Клава глядела на свои руки, пытала ушами да твердила, что мама неизлечимо больна, а потому, чтоб делали все поско-ре.

Второй завет — каждый месяц Марковне десятку отсылать. За то, что мама тоже была одна и в войну не эвакуированной оказалась, а просто беженкой: прибежала в город Пронск из города Красного в августе сорок первого в чем из постели выскочила и рухнула от страха и голода на улице Кирова. Очнулась у Марковны да так у нее и осталась. После войны в Москву подалась, дочь родила и ей теперь завещала бабку Марковну, будто самое бесценное сокровище.

— Себе откажи, а Марковне чтоб каждый месяц. Денег не будет — платье последнее продай. За добро доброму платят. — Мать пожевала искусанными губами. — А если случится что плохое, если совсем невмоготу станет или обидит кто — к Марковне поезжай. Поняла? К Марковне.

Клава никогда и в глаза-то эту Марковну не видела, а деньги текли и текли, как при маме: за добро платили, чем могли, и эта вырванная с кровью десятка тяжелее тянула, чем иные тысячи.

Мама помирала в больнице. В послеоперационной палате, куда никого не пускали, а Клаву пустили, дверь в коридор не закрывалась, напротив находился пост, виднелись край стола и пола сестринского халата. И мама последний завет шептала на ухо, чтоб не конфузить дочь, которой уже исполнилось двадцать, но которую она с материнским упорством продолжала считать несмышленкой:

— Гуляй с оглядкой, мужчина пошел ненадежный. На слово никому не верь. По себе знаю, как поверить захочется, когда скажут, что любят, а ты меня вспомни. А если и тебе счастья не выпадет, тогда... — Мать помолчала, колебясь. — Тогда, как я, сделай. Подбери мужчину, чтоб непьющий, и роди. Тяжко одной ребенка тянуть, а век одной вековать еще тяжче. Так что рожай, благословляю. Коль в двадцать пять замуж не выйдешь — рожай, велю...

Этот последний завет воспринялся особо, недаром мать шептала его, щекоча ухо. В нем было не только будущее, но и прошлое, потому что мать в свои двадцать пять поступила так, как сейчас наказывала дочери, исплакавшись в одиночестве и не надеясь более выйти замуж. Приглядела чужого, да зато почти что не пьющего, завлекла, исхитрилась в общежитии его принимать, рискуя пропиской, работой и комсомольским добрым именем. И думала сейчас, что рак у нее оттого, что никогда она полностью страсти не тратила, и в мужских руках прислушиваясь к шагам в коридоре. Женщины, которые лежали с нею в многочисленных больницах (мама долго помирала, целых два года), в один голос утверждали, что ничего нет для их организма хуже, чем страсть эта половинная,

чем богом проклятая однобокая любовь в общежитиях, что все женские недуги оттого, что ни засмеяться, ни вскрикнуть не смели они и что будто бы это все сильно влияет на детей, напуганных еще до собственной своей жизни. И, наставляя сейчас дочь, умирающая стремилась вложить в нее решимость, которой и самой-то недоставало. И еще — снять с себя чепонятную, тревожащую тяжесть. Не физическую, а какую-то иную: мать не знала, откуда она взялась, эта тяжесть, но интуитивно жаждала откровения. Заложенная в ней нравственность, не придавленная соображениями, как ловчее устроиться, шевельнулась вдруг, расправила крылья и попыталась подняться над бытом, житейскими уловками, компромиссами и допущениями, но мать не знала, что такое душа и как она корчится, стыдясь того, в кого вложена, а потому, стремясь облегчить взлет собственной нравственности, учила дочь, как обойтись без нее.

Клава не почувствовала мучительной двойственности, которая так терзала мать в последние часы жизни. Она тоже ничего не знала о душе, а потому и совесть, и нравственность были для нее понятиями абстрактными, существующими сами по себе и, конечно же, отдельно от нее, как пункты Морального кодекса. Она покорно выслушала маму, то и дело вытирая слезы, поняла, что та сказала, но поняла умом, как и была приучена понимать. А ум склонен прикидывать, и Клава, слушая и согласно всхлипывая, уже решала, что это ей не подходит, что она по женским статям лучше матери, а потому очень скоро встретит замечательного мальчика и они зарегистрируются во Дворце бракосочетаний. И это было вполне естественно, и по-иному Клава и думать не могла, потому что ей исполнилось всего двадцать и она была убеждена, что молодость ей — навсегда.

В двенадцать Клава считала себя очень красивой, в шестнадцать — очень хорошенкой, в двадцать — очень симпатичной, а потом поняла, что все горазды потискать, но никто не спешит с предложением. В восемнадцать у нее был жених, но пожениться решили, когда он отслужил в армии, а на проводах Клава позволила, и жених растворился, как сахар. Мама тогда еще была жива, лежала в больнице по первому разу, все случилось у них в комнате, но соседка оказалась замечательным человеком и только за то ругала, что Клава чересчур расщедрилась.

— Мужиков томить надо, подруга. Чем крепче томишь, тем дольше любовь. Ясно тебе?

— Как — дольше? — Клава считала, что любовь, как и молодость, концов не имеет; ее разуверяли, приводя примеры из кинофильмов и даже из художественной литературы, но она все равно так считала.

— Дольше с этим, — пояснила соседка Тома. — Потом другой будет, но его же найти надо!

Это было давно (четыре года прошло!), а женихов не было. Никто не дарил цветов, никто не водил в кино, никто не целовал в полутемном подъезде так, что хрустели косточки. Каждое утро, взглянувшись в зеркало, Клава со страхом подмечала, что глаза начали выдавать в ней какую-то особую, ночную, совиную бесшумность одиночества. И тогда ей казалось, что уже не помогают загадочные тени на веках и даже новый лифчик, так ладненько сделавший фибурку, и она часто плакала по ночам.

Подходили ее сроки, веселая тревожность юности сменилась тоскливой суетливостью; Клава уже не срывалялась вдруг на шумную улицу в безумной надежде именно сегодня, сейчас встретить того, кто будет любить ее всю оставшуюся жизнь, а плелась на кухню, где можно было встретить либо Липатию Аркадьевну, либо шалопутную Томку. С Липатией она пила чай, без любопытства выслушивая длинные рассказы о длинных романах, в которых бывшая администраторша всегда бросала влюбленных в нее знаменитостей.

— Вы помните Павла Стахова, Клавочка? Знаменитый был артист, знаменитейший! Женщины в провинции так и падали, так и падали. В окна по водосточным трубам на пятый этаж лазили, ей-богу! Ах, как он был влюблен в меня, как влюблен! Однажды прислал трамвай, набитый букетами. Ландыши, лан-

дыши! Весь пол моего номера был усеян ландышами, и я не устояла. Вы — женщина, вы бы тоже не устояли. Я рухнула на эти ландыши, как подкошенная...

Клава уныло удивлялась: с истасканной, заштукатуренной, как общежитие, Томкой было веселее. Свои романы она не сочиняла, а раскручивала здесь же, в их коммунальной квартире на трех одиночек. Начав знакомство с утверждениями, что мужиков томить надо, она теперь уже не утверждала, а спрашивала:

— Томишися, подруга? Хочешь, приведу для здоровья?

Клава испуганно отказывалась. Сначала брезгливо и громко, потом просто громко, потом тихо, потом... Потом были воскресенье, весна, солнце, воробы. Клава мыла окна, надев старенький, еще школьный халатик, из которого давно выросла и теперь торчала плечами, животом, коленками, бедрами. Липатия уехала в гости, о чём важно и звонко объявила, соседка тоже прибиралась, грехоча за стенкой, и на душе у Клавы было на редкость покойно. Она с удовольствием наводила чистоту и даже что-то напевала, когда вошла Томка.

— Поешь, подруга? — Она замолчала, глядываясь в стоявшую в оконной раме Клаву. — Симптомчик! — Деловито понизила голос: — У меня сантехник замок вставляет. Ничего парень, пличистый. Как кончит, скажу, чтоб к тебе зашел.

Клава хотела возмутиться, хотела отказаться, хотела затрясти головой и — не смогла. Почувствовала, как бросило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забилось, а грудь скжalo, и она с ужасом услышала собственный лепет:

— Неприбратая я.

— Нормально, подруга, ты сейчас, как люля-кебаб, аж скворчишь.

— Тома! — отчаянно зашипела Клава, спрыгнув с подоконника. — Я не знаю, Тома, я...

— Попроси окно закрыть, мол, умучилась, не закрывается. Потом бутылку на стол... Есть бутылка или одолжить?

— Тома, я боюсь.

— Для здоровья, подруга! Это ж — как анальгин принять.

Клаве было и страшно и гадостно, а тело уже ломало и крутило, и все в нем ждало и жило сейчас надеждой. И уже недоставало сил сказать: «Нет!», уже глаза поглядывали на кровать, а дрожащие руки сами собой поправляли, взбивали, пушкистили волосы...

Томка оказалась права: как анальгин. А после горько. И противно, и себя жалко, и вообще скверно. А дни бежали друг за дружкой, и Клава, засыпая, уже начинала подумывать о последнем мамином завете. И яростно презирала себя, вспоминая бесцеремонные пьяные руки...

было с этим прекрасным именем. Но не станешь же мальчику при знакомстве о героях рассказывать, вот и приходилось называть себя Адой. Это звучало красиво, коротко и немножко даже таинственно.

А второй факт: в их отделе координации встречного планирования, который, между прочим, подчинялся непосредственно Главному управлению, мужчин вообще не водилось. Была начальница Людмила Павловна, была заместительница Галина Сергеевна, была старший инженер Вероника Прокофьевна и были девочки — Наташа, Оля, Лена, Катя, Таня, Ира и еще одна Наташа. Вот и весь коллектив, правда, очень разнородный. Галина Сергеевна, к примеру, замужем, Вероника Прокофьевна — брошенная, Оля — мать-одиночка (ее все в отделе «мапой» звали; «мама плюс папа равняется мама», — как Лена однажды выразилась), Наташа — разведенная, а вот Катя — счастливая: и замужем, и с малышом, и с двумя бабками, почему и училась в институте на вечернем отделении. И Таня тоже — вот-вот счастливая: с влюбленным женихом, папой да мамой и третьим курсом того же вечернего. Ну, а остальные — «живущие, где окажутся: в брошенных, разведенных или «мапочках», как та же Ленка шутила. Шутить шутила, но сама не ждала: гуляла громко, звонко, отчаянно, «ночи напролет и дни навылет». Никаких тайн она не признавала, говорить ей что-либо секретное было невозможно, но зато и над своей жизнью покрывало не опускала. Очередным своим «мальчикам» приказывала за неё на работу заходить и обязательно представляла всему коллективу:

— Номер тридцать девятый. Как тебя? Ах да, вспомнила: Андрюша. Точно?

А на другой день интересовалась:

— Ну, как вам мой свеженький?

Одбирали редко. Чаще плечами пожимали, а Вероника Прокофьевна хмурилась и губки подбирала:

— Что ты нашла в нем, Елена? Не одобряю. Поматросит, да и бросит, уж я-то их знаю.

— Так хоть поматросит! — хохотала Лена.

Она знала цену бабским пересудам и водила своих очередников, чтобы позлить родной отдел. Когда удавалось, смеялась, весело закидывая голову: зубки были ровненькими, беленькими, всегда ждущие влажненькими. Она очень хотела, чтобы Ирка сдохла от зависти, но молчаливая, вся из себя такая загадочная Ирочка только улыбалась.

— По мелочи размениваешься, мат.

Вот за неё никогда никто не заходил, но все отлично знали, что если уж перед обедом солидный мужской голос попросит к телефону Иру, то после работы за ближайшим углом ее будет ждать темновицневый «Жигуль» и Ирочка полетит к нему, асфальта туфельками не касаясь. А на следующий день у нее непременно появится картичная вязость, таинственные намеки на сквозняк в ресторане, и вся она будет особенно дерзко источать волнующий аромат французских духов, маленький фланкончик которых стоил половину зарплаты. Таких духов не было ни у кого из знакомых, и Клава считала, что их выпускают только для киноартисток.

— Глупая ты, Клавдия, — сказала Наташа Разведенная. — Да духи эти нарасхват...

— Да кто же это из женщин их позволить себе может? — ахнула Клава.

— А они не для женщин выпускаются.

— А для кого же? Для мужчин, что ли?

— Именно что для мужчин. Вот увлечки какого-нибудь артиста-замминистра и получишь.

— А как же Ирочка? — шепотом спросила Клава.

— А вот как раз так же! — засмеялась Наташа Разведенная.

Лена и Ирочка были самыми знаменитыми девочками: у остальных все было обычным. Обычные интересы, обычные заботы, обычные секреты и обычные увлечения. Все они вечно куда-то спешили, вечно куда-то опаздывали, вечно кого-то ждали и всегда боялись, что кто-то куда-то не придет, а если и придет, так чтоб сказать: «До свиданья, дорогая, у меня уже другая». Оба телефона в отделе были постоянно заня-

2.

Если оценивать Клаву Сомову сторонним мужским взглядом, то следует признать, что взгляд этот мог запросто с кем-то ее спутать. Небольшого росточка, полненькая, несмотря на отчаянны старания не поплыть, девушка с напряженным взглядом больших зеленоватых глаз, короткими волосами, толстенькими, как подставочки, ножками была обыкновенно-мила или мило-обыкновенна. А если добавить к этому свойственную ей незаметность и всегда почему-то чуть растерянные движения, то выделить ее из московской толпы было совсем не просто. Тем более что и охотников выделять пока не находилось.

В этом были повинны два факта. Во-первых, как считала Клава, имя, которым наградила ее крестная мать. Теперь так никого не звали, имя казалось старушечьим, и, знакомясь, что случалось, правда, крайне редко, Клава представлялась Адой, а потом забывала откликаться. Но тут уж ничего нельзя было изменить: она еще в шестнадцать написала насчет изменения имени в молодежный журнал, а оттуда ответили, какое это прекрасное имя и сколько Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда

ты, и начальница Людмила Павловна сочла нужным распорядиться, чтобы по ее личному аппарату не звонили хотя бы до обеда. Девочки постоянно болтали о том, что где дают, кто что достал, перешел, связал или собирается доставать, шить или вязать. Не проходило дня, чтобы кто-то не притаскивал на работу сапожки, кофточки, туфельки, свитерочки, платья, юбки, и все детально обсуждалось, оценивалось и примерялось. И Клава носила, когда что-либо удавалось раздобыть, и Клава меряла свое и чужое и горячо обсуждала свое и чужое, живя кипучими интересами всего отдела и стыдливо завидуя двум загадочным — Лене и Ирочке, — которые жили забытой, пугающей, грешной, но звонкой и необыкновенной жизнью.

Отдел существовал по своему расписанию, и самым святым в этом расписании был час обеда. Кроме него, имелись еще два чая: один — до обеденного перерыва, второй — после него. Первый чай был необходим для разгрузки официального перерыва: напившись чаю с купленным вскладчину тортом, пирожками или захваченными из дома бутербродами, женщины в обед бежали по магазинам. Семейные устремлялись за продуктами, одиночки спешили на разведку в промтоварные. Если кто-то где-то на что-то нарывался, то брал не только для себя. Это позволяло коротать второй, послеобеденный, чай в благодушной атмосфере примеров и советов. Притом они неторопливо и старательно исполняли основную работу, успевали проводить профсоюзные и комсомольские собрания и были на хорошем счету.

Конечно, единственное потому, что руководила ими Людмила Павловна. Суровая, можно сказать, даже грозная начальница, но всем девочкам было известно, какая отзывчивая у нее душа. Год назад Вероника Прокофьевна вдруг пропала. Недавно на работу оформилась, с начальством за принципы сражалась — и нет ее. Ну, нет так нет, никто особо и не задумался, но Людмила Павловна заволновалась, забеспокоилась и все узнала: от Вероники, оказывается, муж сбежал, и она так это переживала, что угодила в больницу с нервным расстройством. Вот там-то ее и обнаружила Людмила Павловна. Нашла, поговорила с врачами, организовала посещения, чтобы не всем табуном ходить, а каждый день по одной. И когда какие-то особые лекарства понадобились, на всех своих знакомых нажала и добыла то, что требовалось. Выходила Веронику Прокофьевну, подняла ее, пригрела, в специальный санаторий путевку достала и, можно сказать, с того света к жизни вернула. И — в свой отдел на прежнюю должность.

Вот какой необыкновенной женщиной была Людмила Павловна. Все это понимали, все все знали, и все ее чуточку побаивались. Естественно, про себя. И не потому, что была начальница безулыбчивой, как стихия, а потому, что точно знала, как надо поступать, как надо говорить и как следует реагировать, и не было — да и быть не могло! — ни одного вопроса, на который у Людмилы Павловны тотчас не сыскалась бы ответ.

— Приличная женщина этого не наденет.
— Приличная женщина грудь не выпячивает.

— Приличная женщина на такое кино не пойдет.

Никто не спорил, но зато никто особо и не рвался в «приличные женщины». Тем более что определение страдало непостоянством и, если, скажем, вчера «приличная женщина» никак не могла надеть мини, то сегодня она же твердо была убеждена, что удлиненная юбка уродует фигуру. Гораздо меньшим изменениям подвергалось другое унифицированное определение, которое употреблялось по отношению к миру внешнему, но нисколько не реже: «Советская женщина». Людмила Павловна не просто произносила привычные заклинания — она искренне полагала, что в них-то и заключена вся премудрость мира и потому ни о чем постороннем можно более не думать. А посторонним было все, что не касалось ее непосредственно.

Работа — касалась.

— Социализм — это учет, — произносила Людмила Павловна так, будто сама додумалась до этого макси-

мум полтора мгновения назад. — Значит, наш отдел — самое социалистическое учреждение.

Последняя абракадабра действительно являлась ее творчеством. Все должно было быть учтенным, разложенным по полочкам и расписанным по параграфам. И так бы и случилось в руководимом ею коллективе, если бы не одно досадное обстоятельство: коллектив был женским, а женщины ничего не имеют против того, чтобы быть учтенными, но терпеть не могут полочек и яростно сопротивляются параграфам. И, привычно произнося формулы типа «приличная женщина» и «советская женщина», Людмила Павловна никогда не забывала делать поправку на специфику своих подчиненных.

Метод был проверенным: почаше бывать с народом. Девичники, дни рождения, праздники, квартирная премия — все могло быть предлогом, а если календарно наступал тихий период, то изыскивалась возможность встряхнуть коллектив энциклопедическим путем:

— Девочки, сложитесь, сколько там... Вероника Прокофьевна прикинет. Наташу Маленьку от работы освобождаю. Никаких излишеств, Наташа: торт, конфеты, немного вина. Как обычно.

— Это ж в честь чего? — спрашивала отчаянная Лена.

— Стыдно, — со строгой паузой говорила начальница, хмурясь сквозь очки. — Сегодня много лет назад прогрессивнейший человек своего времени и, между прочим, личный друг Карла Маркса закончил четвертую главу своего великого труда «Женщина и социализм». Неужели же мы, советские женщины, которым, по сути, и посвящался этот гигантский труд...

Все виновато замолкали, Вероника Прокофьевна подсчитывала, на сколько тянет четвертая глава, а Наташа Маленькая готовилась к походу по магазинам. Она называлась Маленькой не из-за роста и уж тем паче не из-за возраста, а по совершенной привлекательности: была безропотна, безголова, безотказна — все «без», а потому числилась любимицей, получала премии и по субботам ходила к начальнице убирать квартиру.

Из старших — тех, кого уважительно называли по имени и отчеству, — самостоятельный считалась Галина Сергеевна. Вероника Прокофьевна, поначалу изображавшая из себя нечто очень прогрессивное, с уходом мужа потускнела, как нечищеный самовар. И во всем отделе оказалась одна «независимая держава» — как выразилась Наташа Разведенная — Галина Сергеевна. Поэтому к ней относились по-особенному, да и сама она была особенная. Людмила Павловна всегда ставила ее в пример остальным, хвалила со всех трибун, но — разве от девочек скроешь? — завидовала. И однажды даже не выдержала, сказав ближайшим, что есть Веронике Прокофьевне с Наташей Маленькой:

— Господи, да за шофера и я могла выйти. Хоть двадцать раз.

Естественно, крик души этот быстрейко Галине Сергеевне передали: женский телеграф сработал. Ожидали, как она выкрутится, а заместительница так ответила, что тему эту тут же навсегда и закрыли:

— Женщина, девочки, за мужчину замуж выходит.

И никто — ни старшие, ни младшие — не догадывался, что за фасадом современной деловой женщины скрывается совсем не уверенная в себе жена и мать. Что прекрасная фраза верна лишь теоретически, а на практике Галина Сергеевна — в те времена еще просто Галка — вышла замуж за весьма целеустремленного человека.

— Решаем так, — сказал он сразу же после регистрации их брака. — В институт идешь ты — и поможе, и память у тебя имеется. Это — первое. Ребенка заводим, когда ты на четвертом курсе будешь, оттуда уже не выбгонят. Ну, а потом — машину с ветерком, и все у нас будет, как у людей.

Галина Сергеевна родила девочку, защитила диплом, устроилась на хорошую работу, оставалась машина, чтоб «как у людей». Копили, отказывая себе во многом, но девочка оказалась болезненной, и деньги шли на врачей и санатории. Муж тихо пилли, а Галина Сергеевна, постоянно ощущая на своих плечах

непомерную тяжесть благодарности, вечерами плакала, днем завинчивая нервы до последнего витка.

Вот так в подспудно равновесном кипении и пребывал отдел квартал от квартала и год от года. И еще бы долго пребывал, если бы Клава Сомова не потеряла квартальную сводку. А квартал был на исходе, запрашивать дубликат означало нарушить сроки и лишить всех премии, и Клава некрасиво ревела, роясь в папках и шмыгая носом. Ревела она не от страха, а от пропажи этой проклятой сводки. Она искренне рвала исполнять любые распоряжения, с удовольствием бегала на субботники, ездила на овощную базу или в колхоз. Она всегда трудилась на совесть и не могла по-иному трудиться, потому что мама говорила ей: «Если надо, Клавочка, то тут уж и через «не могу» все равно надо, ничего не поделашь». Это когда она не хотела по утрам идти в детский сад. А теперь потеряла сводку, и все вдруг взорвалось.

Это Клава так считала, что взорвалось из-за сводки. А на самом-то деле все было чуть-чуть не так. На самом-то деле в Главке выдали служебную тайну:

— У вас сокращение штатов.

Галина Сергеевна узнала об этом за неделю до Клавиной потери, Людмила Павловна — за месяц. Но начальницы это не касалось, а заместительница рыдала весь вечер. И когда пришел домой муж, зарыдала еще сильней:

— Должность сократили! Я, я одна там тянула всю работу, как катаржная, а меня же и сократили!..

Муж помрачнел, походил, подумал. Долго курил на лестничной площадке и вернулся, просветлев:

— Какое у начальницы образование? Общее руководящее? А у тебя — по специальности. Туз. Основную работу кто ведет? Ты. Король. У кого больная дочь? У нас. Дама. У кого муж — рабочий класс? У тебя. Валет минимум. При таких козырях можно смело играть. Приписывали?

— А как же иначе Главк премию получит? А мы — от Главка.

— Вот и подсунь приписочки за прошлые годы. Нет, не сразу, конечно, тут подумать надо.

— У нее везде руки.

— Так это ж нам плюс. Ей устроиться легко, а испачкаться страшно. И когда почувствует, что может биографию замарать, сама сбежит. Да еще тебя на свое же место порекомендует.

Вот какая началась неделя, и то, что Клава посыпала сводку, ровно ничего не значило. Пока. Пока заместительница не сообразила, как под эту утерянную сводку подсунуть прошлогодние приписки.

Это был тот редчайший день, когда у каждой имелось дело, жесткий срок и цифры, с которыми манипулировать надо очень внимательно, чтобы не запутать и без того безнадежно запутанный суммарный баланс. И все обсчитывали свое, Вероника Прокофьевна прикидывала общие цифры, а Галина Сергеевна готовилась подогнать их под результат, чтобы получить две десятых процента сверх. А сама Людмила Павловна выполняла в эти часы главное: звонила бывшим однокашникам и в дружеской беседе узнавала, обещала, проверяла и напоминала, что без ее отдельно они до конца дней своих не согласуют друг с другом собственных результатов.

— Антоныч, привет, Людмила Лычко беспокоите. Как жизнь, как половина? Целуй ее, она у тебя золото. А дети? Ну, что же ты хочешь: большие дети — большие заботы. Не отыхал? Куда думаешь? В совминовский, конечно? Ну, бог даст, там и повстречаемся, если с путевкой не подведут. Что? Вот-вот, и я о том же. Какой у тебя план-то? А если по-честному? Так кто же вас увяжет, если не Людочка? Вот эту цифру и запишем, я ее с Гладышева получу. Да, да, ни больше, ни меньше, со всей дамской аккуратностью. Господи, что бы вы делали без меня? Ну, можешь спать спокойно, поцеловались, перезвонимся...

Работа кипела. Клава ревела, и никто не спрашивал, с чего это она ревет. Если в одном месте собрано более пяти женщин, редкий день обходится без слез. Когда делать особо нечего, интересуются, с чего это сослуживица в слезы ударила, а когда дел по горло и ни в одном нуле ошибиться нельзя, самой за-

реветь хочется. Но спросить рано или поздно должны были, вопрос назревал не из любопытства, а по необходимости; Клава ощущала, что вот-вот он прозвучит, и ревела еще отчаяннее.

— Клавдия, сводку.

Клава хотела ответить: «Сейчас!», чтобы оттянуть, отсрочить гнев, потом хотела просто взять да и убежать, потом еще чего-то захотела, но, себя пересилив, сказала еле-еле:

— Утерялась.

И хоть прозвучало еле-еле и слово-то вылетело не очень понятное, а все девочки считать перестали и на него уставились. Наташа Маленькая сказала «Ой!», а Вероника Прокофьевна подошла к усыпанному входящими-исходящими Клавиному столу и раздельно произнесла:

— Совершенно секретный документ. Мы обязаны сообщить куда следует.

Тишина наступила: скрепку урони — грохотом отзовется. Все замерли и встали, будто на Клавиных похоронах.

— Да бросьте вы девчонку пугать, — тихо сказала Галина Сергеевна. — Переливаем из пустого в порожнее, а воображения, будто и вправду военные тайны. Оля, достань прошлогодний отчет, возьмем среднее с поправкой на перевыполнение.

А саму радостно затрясло вдруг: вот он, момент, о котором муж толковал. Вот случай зайти с козырного туза, пока горячка, пока не разобрались, пока заняты все по горло. Оля уже у стеллажей копалась, а Галина Сергеевна с трудом ажиотаж сдерживала. Но не сдержала, влезла в спор, показав козырного туза раньше, чем пошла с него.

— Странно вы себе представляете наше учреждение, — поджав губы, сказала Вероника Прокофьевна посторонним голосом.

— Оно и есть странное, — усмехнулась заместительница. — Вот подсчитывают нашу выдачу годного без коэффициента приятельства и закроют нас навсегда. И что, по-вашему, случится? Да ровно ничего, кроме реальной экономии народных...

Тут раздался грохот: мала Оля отчетный том уронила. Все вздрогнули, оглянулись и еще раз вздрогнули: в дверях стояла Людмила Павловна.

3.

— Томишился, подруга?

Клава не томилась, а гладила. Она любила гладить: от белья шел теплый парок, утюг творил гармонию, и все хорошо складывалось. И уютно думалось, чисто по-женски: ни о чем и обо всем сразу. А Томка вошла без стука, задала дурацкий вопрос, на который Клава давно уже научилась не отвечать, и села напротив. Глаз у нее был перевернутый, и Клава решила, что соседка опять влюбилась и опять в женатого.

— Гладим да стираемся, а для кого стараемся? — стихами вздохнула Томка. — Пошли ко мне. Водку пить.

— Сейчас борьба объявлена, и я водку не уважаю.

— На шампанское наляжешь ради борьбы. Пошли, юбилей сегодня.

В Томкиной комнате Липатия Аркадьевна, мурлыкая, накрывала на стол. Томка кутила на славу — с водкой, шампанским и красной икрой, но на столе было ровно три прибора. Томка поглядела на них, потянувшись крашеной грибкой и налила рюмки.

— Я водку не уважаю, — упрямно повторила Клава. — И борьба...

— Заткнишь ты со своей борьбой, — буркнула подруга. — Кладите закуску сами, ухаживать некому.

— Мне рассказывали, что водка исключительно за воевала весь мир, — сказала Липатия, изящно накладывая закуску. — Странная судьба женщины: поклонники не вылезают из-за границы, а наш удел — ожидание. Век стрессовых нагрузок и одиночества, что же вы хотите?

— Хотим, чтоб не было одиночества. — Тамара сердито тряхнула кудрями и подняла рюмку. — А у меня юбилей. Тридцать три годика, как одна копечка. До

дна, подруги! Кто хоть каплю оставит, за зло посчитают.

Напились. Томка ревела зеленою тушью и приставала:

— Нет, ты объясни, почему мы такие ненужные? Нет, ты все разъясни, раз ты такая умная.

— Мы нужные, но мужчина нынче земноводочный. Цветов не дарит и без водки не вздыхает. И давайте петь. Я ехала... Я ехала в метро... Куда я ехала?

— Нет, ты скажи. Ты прямо скажи!.. — приставала именинница к Липатии, которая хотела петь, ибо втайне считала себя непривлекательной.

Но с пением пока не получалось, потому что Липатия никак не могла вспомнить мотив и слова единовременно, а вспоминала врозницу, и песня не складывалась. Клава громко икала, наглотавшись колючего шампанского.

— Нет, ты мне объясни, почему это я всегда третья лишняя? Если б размазня была вроде Клавки или

старуха вроде тебя, тогда бы у матросов нет вопросов. Так или нет?

— Объясню, — вразпротрезвев от обиды, сказала Липатия Аркадьевна. — Вы, Тамара, хорошая женщина, но, извините, неинтеллигентная. Вы задаете проблемы, которые давно решены человечеством. Вот, например, знаменитый Леопольд Миронович — умница, чудо, какой талант, в меня — без памяти! Стремляться хотел.

— Чего же не застрелился?

— Да, так о несоответствии и одиночестве, — невозмутимо продолжала клокочущая от незаслуженных обид Липатия. — Женщины нужны для семьи и для страсти, и делятся они не по красоте и тем более не по возрасту — это вообще, я извиняюсь, не принцип, если хотите знать, — а исключительно на жен и гетер.

— Чего? — икнув, переспросила Клава.

— Точно! — Томка стукнула кулаком по столу и выругалась. — Точно, подруги, гитары мы: поиграют



и откладывают. И бегом к своим законным. А еще говорили мне, что имя все определяет.

— Имя? — насторожилась Клава, сразу перестав искать.

— Имя, подруга. Вот я — Томка, так мне всю жизнь мою томиться. Ты — Клавка, тебе кланяться.

— А я? — спросила Липатия Аркадьевна.

— А ты всю жизнь к мужикам липла, как пластиры, потому-то тебя с эстрады и выперли. Ну, чего, чего вытаращилась? Вцепиться в меня хочешь? Попробуй, я тебе последние волосенки начисто сведу.

— Девочки, девочки, — заверещала Клава. — Поцелуйтесь, девочки, милые, ну, прошу, ну, умоляю в смысле...

Поцеловались. Липатия поплакала, еще выпили, кое-как песню спели. А потом хорошо помолчали, душевно, и Томка сказала:

— Мы сверху только запачканные, вот что я вам скажу. А внутри мы чистые и, если нас погладить хоть маленечко, сверкать начнем, что хрустальные бокалы. Точно говорю, подруги, на нас весь мир держится, мы, можно сказать, последний его шанс...

Так сказала истасканная, перештукатуренная, все знающая Томка, тринадцать лет глядевшая на мир из окошка кассы предварительной продажи железнодорожных билетов. Ее бросали и предавали, ее спаивали и продавали, а она все равно в хрусталь свой верила. И звенел тот хрусталь в ней в тот забубненный ее вечер, потому что исполнилось Томке ровнохонько тридцать три годика.

А на другой день Клаву лишили квартальной премии. Десяти рублей, на которые она очень рассчитывала. Но не просто лишили, а изъяли, и это было особенно обидно.

После обеда Наташа Маленькая принесла ведомость.

— Распишись.

Клава расписалась, Наташа забрала ведомость, но вместо того чтобы выдать десятку, сказала:

— Тебе Людмила Павловна велела зайти. Сейчас же.

Клава испугалась. Она вообще безотчетно боялась всякого начальника, но начальника в кабинете боялась неизмеримо больше. Кабинет как бы в степень возводил живущий в ней трепет, обладая самостоятельным влиянием, как обладает самостоятельным влиянием, скажем, каток для трамбовки асфальта: катится будто без человека, будто сам по себе, а попробуй-ка не уступи ему дорогу. Так и кабинет с ковровой дорожкой, голым, как Манежная площадь в полночь, столом и дубовыми панелями катится на подчиненного, а уж коли в него вызывают, то и самые отчаянные останавливаются перед дверью, чтобы начать вхождение с левой ноги.

— Вызывали меня? — спросила Клава, от страха забыв поздороваться.

— Признаешь себя виноватой? — выдержав бесконечно начальственную паузу, спросила Людмила Павловна.

Клава начала многословно объяснять, но все равно получалось, что сводка потерялась сама собой, без всякого Клавиного участия. Людмила Павловна слушала молча, и Клава стала увидать, еще не закончив рассказа.

— Вот твоя премия. — Начальница открыла папку и показала Клаве десятку. — Порядочные люди сами от нее отказываются, если понимают, что она незаконна. Ты могла это видеть в кино.

Для Клавы эти десять рублей были не премией, а долгом Липатии Аркадьевне за перешитые брючки из искусственного вельвета. Брючки эти стали узкие мате Оле, и мата Оля предложила Клаве их совсем по дешевке. Клава обрадовалась, отдала деньги, и перешивать пришлось в расчете на премиальный червонец. И теперь она молчала не от несогласия, а от напряженных арифметических действий. Конечно, очень правильно поступил тот принципиальный товарищ в кино, который отдал свою премию как незаслуженную, но у него же наверняка с долгами был полный порядок. И Клава сейчас было очень стыдно не перед коллективом, не перед страной и даже не перед Люд-

милой Павловной — ей до ушного пожара было стыдно перед Липатией Аркадьевной,уволенной год назад и теперь перебивающейся случайными заработками.

— Ты нанесла коллективу моральный удар, — говорила тем временем Людмила Павловна, все еще держа купюру за уголок на уровне глаз. — Поэтому я считаю, что будет правильно, если ты откажешься от премии в пользу пострадавшего коллектива.

— А брючки? — шепотом спросила Клава.

— Можешь быть в них, — великолюдно согласилась начальница, которая все-таки была женщиной. — Если тебе хочется, я не возражаю.

Клава смотрела тупо, окончательно перестав соображать. Впрочем, от нее и не требовалось соображать, от нее требовалось «принять к сведению».

— Значит, товарищеский чай по случаю удачного завершения квартала за твой счет. Ты все поняла? Я передаю твою премию Наташе Маленькой для закупок. — Начальница поправила очки, подождала слез, не дождалась и помягчела. — На чай можешь прийти в брюках.

На чай Клава в разрешенных брюках не пошла, потому что их не на что было выкупить. Конечно, Липатия Аркадьевна отдала бы и так, но Клава считала это бессовестным и наврала, будто брюки ей начальница носить запретила. Понятное дело, чай (это ведь везде так называется: «чай») в десятку не уложился, Веронике Прокофьевне пришлось потрудиться над калькуляцией, но на всех вышло заметно меньше, чем обычно. Девочки обрадовались без вопросов, а Галина Сергеевна справилась:

— Торты подешевели? Или конфеты?

— Сомова угождает, — съязвила Вероника Прокофьевна.

— Понятно, — сказала заместительница, ощутив в руках еще один очень серьезный козырь.

Клава все приняла как должное — раз велели, какие еще сомнения! — никому ничего не сказала, но, выйдя тогда из кабинета, почувствовала такую тоску, такую потребность, чтоб хоть за пол-литра пожалели, что, пострадав и пометавшись, позвонила давнему, Томкой предложенному «анальгину» на работу и попросила прислать сантехника в квартиру номер семнадцать. Такой договоренности, правда, не было, и слесарь одиннадцать раз являлся незваным: жаждал утвердиться. Но Клава проявляла решимость и с помощью Томки всегда выпроваживала гостя несолено клевавши, а сейчас, сидя на девичнике, украдкой поглядывала на часы. Первой обычно уходила мата Оля, и Клава держалась подле, чтобы сбежать под прикрытием. И как только мата Оля поднялась («К сынуле!..»), выскользнула следом.

Слесарь ждал, хмуро подпирая стену. Поворчал насчет баб, которые время рассчитать не могут, и поехал на их этаж следующим лифтом: за счет разницы в лифтах Клава должна была отпереть входную дверь и крикнуть Липатии (если она дома), чтоб это она, Клава, пожаловаться на головную боль и попросить до утра не беспокоить. Потянув время, Клава пошла в свою комнату, где, по-крысиному нацелившись, уже сидел сантехник; достала пол-литра и отправилась в ванную. Приняв душ, надела тот самый халатик, из которого торчала частями, и, превратившись таким образом в люля-кебаб, вернулась к себе. А слесарь к тому времени прикончил ровно половину бутылки.

Женщину можно лишить любви, но лишить ее надежды на любовь еще никому не удавалось. Сколько бы раз она ни обманывалась, сколько бы раз ее ни обманывали, женщина упрямо будет верить, имея один шанс из тысячи. Так уж она создана, и никакие социальные, научно-технические и прочие сдвиги ничего изменить не могут. И когда подвыпивший гость схватил Клаву в дверях, ей сразу же почудилось: любит. Любят! Ну, не может же с таким пылом тащить, если в сердце ледышка? Или может? А?.. Нет, не может, не может, и Клава то ли от обиды изза десятки, то ли с трех глотков вина на «чеа» бахнула:

— А ты... Ты меня любишь?

Слесарь лежал рядом, закрыв глаза, и сердце его еще колотилось. Клава слышала этот бешеный, толь-

ко-только начинающий убывать стук и поэтому спросила. А он приподнялся на локте, посмотрел на нее, как на явление природы, и захохотал.

— Тише!.. — испуганно зашипела она, вмиг сильно пожалев о своем никчемном вопросе.

Он спрыгнул на пол, прошлепал к столу, налил водки.

— Ну, ты даешь!..

Выпил, причмокнул, закрустел огурчиком. Клава лежала на спине, закрыв лицо локтем, и ей было стыдно. Не своего голого тела, а своего лица, по которому бесшумно бежали слезы.

4.

В пятницу Людмила Павловна вызывала профорга. Вероника Прокофьевна пробыла в кабинете недолго, а вернувшись, сообщила, что в четыре собрание. Все очень недовольно зашумели (пятница ведь!), но проф-орг пояснила, что таково распоряжение свыше.

— Да, самое главное. Сегодня все должны подумать об экономии. Ну, там, электричество, копирка, бумага. Все в письменном виде сдать мне. Это для инспектирующих, пусть оценят активность. И на собрании чтоб не отмалчивались. Лена, ты, конечно, первой выступишь, а кто еще? Татьяна?

— У меня зачет завтра.

— Я выступлю, — сказала Галина Сергеевна.

Все удивились, потому что Галина Сергеевна никогда не выступала, хотя на собраниях отшивалась, как положено. А тут вдруг добровольно. Девочки промолкли, и озадаченная Вероника Прокофьевна сразу прекратила опрос.

Все собрания — общие, профсоюзные, комсомольские — проводились только в рабочее время и строго по распорядку: докладчик — двое выступающих — решение. Но это собрание было особым, потому что кто-то должен был проверять, и Людмила Павловна отменила второй чай, введя инструктаж. Однако Галину Сергеевну она инструктировать не стала, спросив мимоходом:

— У вас, Галина Сергеевна, о чем речь пойдет?

— Самокритика, — улыбнулась заместительница.

— Очень хорошо, — кивнула начальница. — Самокритика — важный профиль.

Догадывалась она, что не все будет ладно на этом собрании. Кое-что услышала, кое о чем расспросила, кое-как узнала и пришла к выводу: ее заместительница намеревается устроить прощальный фейерверк, дабы унести на новое место работы шлейф принципальности, честности и прямоты. Можно уйти, хлопнув дверью, а можно — с бенгальским огнем, вскрыв недостатки и скрыв достоинства. Так полагала Людмила Павловна и, естественно, готовилась к встречному бою.

И Галина Сергеевна готовилась к бою. Муж определил диспозицию, выработал тактику, рассчитал силу и указал на резервы:

— Все козыри у нас. Бей и не давай опомниться. Чем настырнее будешь, тем скорее она место очистит. Действуй!

Старшие были озабочены, девочки нервничали — в недвижном воздухе отдела, пропитанном духами, запахом кремов и помад, ощущалось нечто предгрозовое. И только Клава ничего не ощущала, поскольку все эти собрания ее вроде бы и не касались: она никогда не выступала, ее никогда не хвалили, но зато и не прорабатывали. И на всех собраниях она дисциплинированно молчала, старательно и неспешно думая о своем. Правда, сегодня пришлось потрудиться над экономией; долго страдала и вздыхала, а потом ее осенило, и она сразу же написала одно, но очень ценное предложение. Его, конечно, следовало подписать, но тут мама Оля позвала помочь навести порядок на стеллажах, она пошла помогать, а пока расставляла пухлые «деля», исполнительная Наташа Маленькая взяла со стола ее записку и отдала Веронике Прокофьевне. А тут началось собрание: начальница рассказывала об экономии, девочки помалкивали, гости-общественники важно кивали. А Клава вспоминала о последнем свидании, все еще переживая свой

никчемущий вопрос. Перебирала в памяти каждую секундочку, растягивая и разглядывая ее, как это могут делать только женщины, восстанавливала каждый взгляд, жест, интонацию, пытаясь понять и его и свое поведение. Ведь знала же, что «лекарство», что «как анальгин принять», ведь никаких иллюзий не питала, ведь сама не то что не любила — терпела, а надо же, не удержалась. Показалось, что не водичным перегаром на нее дышат, а нежностью, разомлела, разнежилась и... А он что? Посмотрел. Вроде даже внимательно, не просто так. И засмеялся. Как засмеялся? Несмешливо или радостно? Удивленно или растерянно? Вот какие насущные вопросы решала Клава, сосредоточенно глядя в рот выступающим.

К тому времени Людмила Павловна закончила свое сообщение. С достоинством опустилась на стул и взорвалась на Веронику Прокофьевну, но тут один из гостей — старичок в ехидных очках — потряс запиской.

— Один момент. Сообщение было красочным в смысле экономии кнопок и скрепок, но вот имеем кардинальное предложение вашего же работника: «Мы переписываем цифры и только все запутываем, а если нас закрыть, то будет настоящая экономия». Весьма дельное предложение, замечу. Весьма!

— С большой головы на здоровую! — резко сказала начальница. — Есть еще у нас работнички, которые прикрывают собственное разгильдяйство громкими фразами.

— Позвольте несколько слов, — проговорила Галина Сергеевна. — В порядке самокритики.

Ничего этого Клава не слышала напрочь. Она ковырялась в своих личных проблемах и, кажется, начала понимать его интонацию; как в полусладкем, услышала собственную фамилию и вынырнула.

— ...я не оправдываю ротозейства Сомовой, но кто нам, советским руководителям, давал право самовольно лишать работника премии, с тем чтобы на эту премию — которая все же выписана! — устраивать коллективное питание с алкогольными напитками?..

Клава не верила сама себе: Галина Сергеевна. Пытает и негодует, а два старичка и старушка слушают в шесть ушей. И весь коллектив разом очнулся и от девичьих грез и от женских дум и во все глаза уставился на выступавшую, приоткрыв подкрашенные губки. А поскольку Галина Сергеевна была настоящей женщиной, то изложение сухих фактов ей было не по силам, и на ожившую аудиторию выливались сложные смеси из действительности, слухов, сплетен, предположений и старых обид. Однако форме обличения Галина Сергеевна была прекрасно обучена и не забывала вставлять готовые блоки с упоминаниями о коммунистической морали, в свете последних указаний и священном долге руководителя перед народом. И все это вперемежку с мужем, который является для нее образцом, потому что — рабочий класс, с большой дочерью и собственным высшим образованием.

Людмила Павловна сидела, не дрогнув, и девочки напрасно заглядывали ей в глаза. Проверяющие вертели головами, и уже не одна старушка — божий одуванчик, а все трое строчили впередонки. И так были воодушевлены, что напрочь забыли о ведущей собрание перепуганной Веронике Прокофьевне, о повестке дня и даже о том, что они всего-навсего гости в низовой организации. Не успела Галина Сергеевна закончить свои обличения, как самый старший повернулся к начальнице.

— Истерика, — сказала Людмила Павловна.

Сказала очень спокойно, не вставая с места, и это обстоятельство показалось всем величайшим свидетельством правоты, хладнокровия и руководящей мудрости. И после этого одного-единственного, словно бы вскользь брошенного слова начальница не торопилась вскакивать и оправдываться. Выдернула паузу, медленно поднялась. Глянула мельком на раскрасневшуюся, жаждущую открытого боя заместительницу и неожиданно улыбнулась Клаве.

— Клавочку, ты получила премию за этот квартал?

Клава вскочила, как в школе, разинула рот и затрясла головой — сперва как «нет-нет», а потом как «да-да». Поступила она так не только потому, что

боялась начальницы, а потому, что бумажек боялась еще больше. В бумажке же, именуемой «Ведомостью на выдачу премиальных», стояла ее подпись. И Клава сначала пыталась сказать, как оно было на самом деле, а потом не как было, а как должно было быть.

— И что же ты с ней сделала?

Клава гулко проглотила комок и молчала, затравленно глядя на Людмилу Павловну.

— Не волнуйся так, ведь от тебя требуется только правда,— ободряюще улыбнулась начальница.— Ты пришла ко мне и попросила, чтобы на твою премию твои же подруги отметили радостное событие твоей женской жизни: накануне любимый человек сделал тебе предложение. В моем кабинете тогда как раз сидели наш профорг Вероника Прокофьевна и общественница Наташа Маленькая. Не стесняйся, Клавочка, радость твоя нам так близка и понятна, что никто тебя не осудит. К великому моему счастью,— тут Людмила Павловна мазнула по лицу заместительницы презрительным взглядом,— у меня оказались свидетельницы. Вероника Прокофьевна, как было дело с премией Клавы Сомовой?

— Совершенно верно,— деревянно закивала Вероника Прокофьевна.— Совершенно верно.

— А ты что скажешь, Наташа? Сомова расписалась в ведомости на квартальную премию?

— Расписалась,— поспешно подтвердила Наташа Маленькая.

— А теперь, Клавочка, ты все нам расскажи по порядку. Как ты пришла ко мне, как просила, чтобы мы все дружно отметили твоё счастье, как я отказалась, как за тебя Вероника Прокофьевна ходатайствовала, все рассказки. Ну? Говори, Клавочка, говори, никого не бойся.

Людмила Павловна уже владела не только вниманием, но и расположением, и, после того как Наташа Маленькая с готовностью подтвердила чистую правду, она спокойно опустилась на свое место и далее разговаривала сидя, взирая на подчиненных с привычной точки зрения. И теперь получалось, что не столько перед собранием и даже не столько перед комиссией, сколько перед нею стоят ее заместительница Галина Сергеевна и сотрудница Клавдия Сомова.

— Ну? Клавдия, мы ждем.

В душе у Клавы было темно и сыро, как в погребе. От нее требовали не просто лжи — с этим бы Клава как-нибудь смирилась,— от нее требовали лжесвидетельства. Клава не знала, что такое лжесвидетельство, но чувствовала, что подвели ее к краю и что у нее лишь два выхода: либо топить Галину Сергеевну, либо тонуть самой. Самой тонуть было до жути страшно, топить другого Клаве еще не приходилось, и она молча разевала рот, чувствуя, как между лопаток ручьем потек пот.

— Совресь — лучше на работу не приходи,— пропшипела в спину Наташа Разведенная.

Наташу Разведенную уважали все девочки, кроме разве Ирочки, которая во всем мире уважала только саму себя за целых два таланта: очень красивые ноги и очень красивые грудки. Наташа тоже была самостоятельной — если не державой, то герцогством. Выходя замуж по безумной любви (все девочки были тогда в ресторане), она уже через три месяца застала мужа с незнакомой девицей в ситуации, исключающей разночтения, собрала чеходан и тут же ушла к подруге. Муж прибежал через час, плакал, убивался, становился на колени, всю ночь просидел под дверью, Наташа осталась непреклонной и через положенный срок добавила к своему имени горькое, но весьма современное прозвище. Бывший муж отпал, любовь зарубцевалась; Наташа Разведенная уверовала в принципиальность и старалась всегда поступать в соответствии со своей верой.

Все это и еще сотни иных историй, ситуаций, ассоциаций и воспоминаний промелькнули в пустой, как Царь-колокол, Клавиной голове, и она не поняла — и некогда было, и вообще она медленно соображала, — не поняла, а всем существом, всей кожей, телом, нутром почувствовала, что погибла. И заревела отчаянно, громко, с истошным бабьим надрывом:

— А он не любит! Не любит! Не любит!..

И бросилась вон, натыкаясь на стулья. Не догнали, не нашли, не вернули, и собрание пришлось закрыть.

5.

До того, как стать Разведенной, Наташа была просто Троицкой. Безумная любовь превратила ее в Сорокину, но безумная гордость вновь вернула ей девичью фамилию, только уже с прозвищем, и это прозвище стало для их отдела куда более употребительным.

— Троицкая? Это какая же Троицкая? Ах, Наташа Разведенная! Ну, так бы и говорили.

После того страшного дня, когда она засорила на работе глаз, была отпущена в поликлинику, а потом пришла домой и, открыв своим ключом дверь, увидела чужой рай на собственном супружеском ложе, Наташа считала, что все у нее позади. Любовь и трепет, семейный очаг и дети, гармония души и неисчислимые хлопоты — словом, все то, что нормальная женщина называет счастьем. Счастье оказалось позади и вспыхивало, как стоп-сигнал, удерживая мужчин на почтительном расстоянии. И вместо всех женских радостей, вместо, так сказать, всего букета в руках остался один чертополох невероятной гордыни. Женщины вообще более склонны к этому чувству, тоные разбираются в нем, а уж коли начинают холить да лелеять, чувство разрастается, как полип, рискуя задавить все прочие черты характера. И уж в чем-чем, а в этом Наташа Разведенная преуспела с особой силой.

А пришла она тогда — со слезами, жгучей обидой, гневом, растерянностью, болью и чемоданом — к маме Оле. И мама Оля ее пригрела, успокоила, приласкала и утешила, как могла.

— Плюнь на все, Наташка.

Наташа плюнула, правда, не на все, но осталась у Оли и сынули Владика, названного в честь Третьяка, хотя наш прославленный вратарь никакого отношения к этому Владику не имел. Оля была единственным, поздним и поэтому особо любимым ребенком двух изрядно покалеченных фронтовиков. Ей предписано было быть счастливой, но об этом не знал пьяный водитель «КрАЗа», раздавивший инвалидный «Москвич» вместе с отцом и матерью. Это случилось семь лет назад; никакого Владика еще не существовало, но заодно не существовало и никаких родственников. У Оли хватило характера сдать экзамены на аттестат, обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную, окончить техникум и в двадцать родить мальчишку от отчаянного хоккейного болельщика. Болельщик нежно проводил до роддома и исчез, будто был святым духом и приснился в девичьем сне. Но Оля его не винила, считая, что в их встрече победа оказалась на ее стороне, и из девочки Оленьки, которую в отделе любили за доброту и покладистый характер, превратилась в сдержанную и всегда озабоченную маму Олю. Только озабоченной она была для отдела и для себя, а вот сдержанной исключительно для отдела. Но об этом знала одна Наташа Разведенная, которой можно было доверять самые страшные тайны.

Впрочем, не такой уж страшной представлялась Олина тайна, если вдуматься. Каждая душа — омут, но не в каждом омуте черти водятся. В Олином водились, и с этими чертами ни хоккейный болельщик, ни Владик, ни Наташа, ни заботы с хлопотами, ни солоноватый статус матери-одиночки ничего не могли поделать. Стоило Оле влюбиться — что, надо признаться, с нею происходило периодически, — как характер ее делался мягким, текучим, нежным: черти вылезали из омута, отряхивались, оглядывались и... И предписывали Оле делать то, что хочет ОН. А ОН был точно таким же, как все ОНИ — прошлые, настоящие, будущие, — и Оля срочно добывала для Наташи Разведенной какой-либо совершенно уж невозможный билет: на Таганку или в Дом кино, на Райкина или на Аллу Пугачеву.

— Случайно, — говорила она, старательно отводя глаза. — А я никак не могу, никак. Такая жалость.

Наташа презрительно усмехалась и появлялась до-

ма с последним поездом метро. И особенно румяная, особенно пущистая, особенно теплая и особенно задумчивая Оля ждала ее на кухне за накрытым столом.

— Интересно?

Наташа подробно рассказывала, а Оля улыбалась, акала, кивала, а мысли были далеки. Наташа прекрасно понимала это, гордо кривила губы, но в предложенную игру играла по правилам. Пока не возник Игорь Иванович, самолично открывший дверь, когда Наташа возвращалась в очередной раз с последним поездом метро.

— А вот и наша Наташа — угадал? Замерзла? Оленька, туш, чай и бокал шампанского!

И Наташа осталась второй раз в жизни. Но если в первый она вышла из столбняка с помощью слез, чемодана и бегства, то теперь реветь было вроде не к месту (хотя вдруг захотелось), о чемодане она не вспомнила, а мапа Оля улыбалась ей из-за плеча неизвестного мужчины. Но это были причины внешние, а вот внутренняя — одна, но именно из-за нее, из-за одной-единственной причины, Наташа Разведенная и пребывала в состоянии остекленения.

А всему виной была его улыбка — ослепительная, открытая, сияющая добродушием. Нет, не улыбка... Плечи. Чуть покатые, развернутые, шириной в дверь вагона метро... Нет, не плечи — волосы. Густые, темно-русые, с серебром на висках: такие волосы магнитом тянут к себе женскую руку... Нет, не волосы — глаза. Серые, чуть прищуренные, с ресницами, как у девушки. Да нет, не глаза — взгляд! И голос! И рост! И — руки. Руки, в которые так хотелось нырнуть, а нырнув, свернуться котенком, стать маленькой, теплой, беззащитной...

— Да что с тобой, Наташ?

Вынырнула Наташка из самой себя.

— Я?.. Здрасьте. А я в Политехническом была, поэтому выступали, Окуджава...

Сидели на кухне, пили шампанское. Мапа Оля улыбалась, и Наташа Разведенная улыбалась, только у одной глаза были влажные-влажные, а у другой сухие-сухие.

— В троллейбусе познакомились, смешно? И — сразу, с ходу, с первого взгляда, верите? И ничего не хочу скрывать, врать не хочу, выдумывать: женат я, понятно? Детей нет, жилплощади тоже, ясен вопрос? Развод — не проблема, хоть завтра, но надо бы, чтоб путем, так, девочки? На дураках. нынче умные зябь поднимают, слыхали?

Говорил, не переставая, глаз от Ольги не отрывал, улыбался ярче стосовечовой лампочки и ушел под утро. Оля открыто — при Наташе! — расцеловала его, долго держала, приговаривая по-девичи: «Иди. Ну, иди же. Ну, поздно уже». Наконец он оторвался, шагнул за порог; мапа Оля закрыла дверь, обернулась, привалилась к ней спиной. Глянула на Наташу упльвышими глазами:

— Ну?..

Наташа Разведенная хотела честно сказать, что обманет. Что на площадь заряется, что говорлив больно, что накален и хороши, хороши и накален, и не поймешь, чего в нем больше. Но посмотрела Оле в глаза, поняла, что не услышат ее, и вздохнула:

— Спать пора.

— Завидуюшь!.. — отчаянно, звонко, торжествующе выкрикнула мапа Оля.

А потом был девичник за счет Клавиной премии, и Наташа не обратила внимания на маленький личный взнос только потому, что из гордой ее головы никак не желал уходить белозубый Игорь Иванович. Сиял, сверкал, переливался, как бриллиант, которого Наташа никогда в жизни не видывала, и подмигивал. Нехорошо подмигивал, двусмысленно, но, слава богу, мапа Оля этих подмигиваний видеть не могла. Потом профсобрание, дура Клавка, все, как положено, и вдруг — Галина Сергеевна со своими обличениями. И слова эта дура Клавка...

— Соврешь — лучше на работу не приходи, — прошипела тогда Наташа Разведенная, и Игорь Иванович ей ободряюще улыбнулся, опять двусмысленно подмигнув.

Игорь Иванович появлялся три-четыре раза в неделю, мапа Оля торжествовала, и Наташа не могла не признать, что для обыкновенного женатика новый знакомый нетипичен. Тем более что уж раз-то в неделю, а умудрялся оставаться на ночь; что он при этом говорил своей законной, Олю не интересовало: женщины не терпят, когда обманывают их лично, но к остальному в процессе эволюции они как-то притерпелись. А Игорь Иванович весело играл с нею и с Владиком, таскал на руках и вдвоем и поодиночке, шумел, путал порядок, приносил шоколад и неразбериху, каждую фразу заканчивал вопросом, и Оля переселилась на седьмое небо.

— Счастье по троллейбусному билету, любопытно, а? В кино такое покажут, ведь не поверим, точно?

Теперь мапе Оле было уже не до «Современника» или Дома актера, а если сказать прямо, ей было не до Наташки. И Наташа Разведенная, сразу почувствовав это, ощутила такое дикое, такое злое одиночество, которого доселе никогда в себе и не подозревала. Она старалась приходить поздно, болталась по киношкам да кафушкам, терпела идиотские приставания, а из головы не шел, на миг не исчезал проклятый Игорь Иванович со своими плечами, голосом, взглядом, смехом, а главное — руками. Ах, как он прибирал к этим рукам дуру Ольку — мало ей было о дногого Владика! — открыто прибирал, весело, с шутками-прибаутками. И, конечно же, из-за жилплощади, а то из-за чего же еще? Ольга ведь совсем даже обыкновенная, без гордости, и ноги у нее короткие, если приглядеться. И вдобавок — мать-одиночка. Мапа. Ну, честно, кто на мапочек глаз-то всерьез кладет? Да никто: под бочок подкатиться — это с удовольствием, а чтобы с намерениями — да никогда! Девчонок навалом: только остановись на перекрестке — мигом со всех сторон ринутся, как на олимпийской эстафете, и вдруг какую-то Ольку-коротышку с довеском в три годика? Нет, явно в жилплощадь втюрился Игорь Иванович. Любовь с первого взгляда во все двадцать четыре квадратных метра...

Думая так не просто каждый день, а чуть ли не каждый час, Наташа, естественно, ни словечком, ни намеком, ни уголком губ в этих мыслях никому не признавалась. И не только потому, что мапе Оле намекать было бесполезно — в смерч попала мапа Оля и, счастливая, над землей отныне парила, — но и потому, что сама Наташа Разведенная такую безнадежную тоску по своим собственным, личным квадратным метрам ощутила, что дважды в голос ревела, душ на полную мощность включая.

6.

Суббота была очень даже рабочим днем, и, хотя никакого хозяйства у Клавы не имелось, а имелась комната, вылизанная до последнего миллиметра, мама велела прибираться, и Клава прибиралась. Вставала, правда, на час позже, но зато не мазалась, а, выпив чаю, надевала чехол поплоше и начинала перетирать все подряд. От двери налево вдоль по стеночкам неторопливо и старательно разными средствами и разными тряпochками.

Клава любила домашнюю возню — будь то уборка, стирка, а тем более глажение. Она вообще была создана для дома и семьи, а не для учреждений и коллективов. Дома господствовала гармония, дома Клава была умна и догадлива, дома у нее все получалось чисто, уютно и вкусно. А в отделе глупела, тупела, страдала, все у нее валилось из рук, и вечно она кого-то раздражала своей бестолковой медлительностью. Конечно же, каждую принцессу надо видеть в ее дворце, особенно когда она не просто чистит свое гнездышко, но и поет при этом.

Однако сегодня Клава не пела, а думала. На работе ей думать не случалось, но у себя она могла размышлять, о чем хотела и сколько хотела. И Клава, усердно трудясь, неотрывно думала о своем кошмарном вопросе и о его кошмарном ответе. Теперь-то, после стольких страданий, страхов и слез, она убеждена была, что ничего в нем не прозвучало, что дура она несчастная и что ей следует набраться духу и сделать

так, чтобы слесаревой ноги тут более не появлялось. С этой мстительной идеей Клава обращалась, как сажер с незнакомой миной, аккуратно ища, где же взрыватель, когда в дверь заскребли, и по тихой вежливости Клава вычислила Липатию Аркадьевну. И закраснелась, вспомнив о десяти рублях.

— Вы меня простите, у меня сейчас нету, но у меня будут, потому что скоро аванс, и я сразу отдам...

Она бессвязно лепетала, увидев свои перешитые брючки. Но Липатия Аркадьевна выглядела торжественно, в разговор вступать не стала, а повесив брючки на спинку стула, скорбно поведала:

— Клавочка, вы себе представить не можете, какое горе. Он свободен, умерла моя лучшая подруга, а он страдал всю жизнь, я чувствовала это своей интуицией. И вот колокол бухнул, а мне впору надевать пантик, потому что волосы посеклись исключительно от переживаний. Ах, какие были волосы! Он так любил ими любоваться, я это чувствовала своей интуицией.

Если на мужчину выплыть кучу личных мемоимений, у него в любом состоянии хватит здравого смысла спросить, кого имеют в виду. Но женщины руководствуются интонацией и умеют произносить коротенькое «ОН» так, что никаких вопросов не возникает. Поэтому Клава все сразу сообразила, тем более что Липатия Аркадьевна была одета так, будто шла на Вечер смеха в Останкино.

— Я всю жизнь мечтала его показать, и мне понадобится ваша опора. А ехать совсем пустяки, возле Донского монастыря, потому что он сам звонил в Моссовет, я в этом просто уверена, иначе почему в старом, а не в новом? Она же не дипломат, правда?

Клава слушала, уже одеваясь. Ей очень не хотелось идти на покороны неизвестно кого, но десять рублей сковывали, как кандалы. И они поехали, и Липатия тараторила всю дорогу.

— Клавочка, я так боюсь, что он не выдержит, увидев меня. Он совершил непоправимый шаг у разверстой могилы, и это исключительно катастрофически, потому что моя подруга бездыханна, а мы так любили друг друга. Может быть, мне избежать, а вы возложите? Держите букет, а я буду стоять в стороне, как «Неравный брак».

— А куда их класть? — сдавленно спросила Клава: она очень боялась покойников, только мамы не боялась.

— Там будет видно, — сказала Липатия, сунув Клаве цветы. — Вы меня спасете, как д'Артаньян королеву. Когда сомнется вечность и все пойдут по домам, я шагну из-за колонны. Ах, что с нами будет, что будет? Единственно, что пугает, так это же все знакомые. Все кинутся целовать руки, обниматься — ах, эти актеры, они же сущие дети! Может, мне шагнуть из-за могильного камня?

К началу они опоздали, колонн не оказалось, и Липатия, выдвинув вперед Клавдию, сразу где-то потерялась. Народу было мало, Клава застенчиво положила цветы на белое покрывало, стараясь смотреть так, чтобы не видеть лица покойной. Все томительно молчали, Клава начала пятиться, а тут велели прощаться, и она в страхе бросилась к Липатии, собиравшей слезы в крохотный платочек.

— Ах, как он импозантен! — тихо вздыхала она. — Горе исключительно к лицу мужчинам. Сейчас он вернется и увидит меня, дайте опереться, Клавочка, на точку опоры, а то я все перевернусь.

Гроб поехал вниз, люк закрылся, провожающие скорбно направились к выходу. Липатия впилась в Клаву, но ничего не произошло. Никто не бросился, не закричал, не грохнулся на пол. Прошествовали мимо.

— Как он посмотрел, как посмотрел! — жарко шипела Липатия. — О, несчастное, благородное существо, что оно творит с нами!

Выходили последними. В фойе толпились опечаленные с цветами, и на каталке стоял очередной гроб. Клава стала целиться, чтобы ненароком не увидеть покойника, но тут двери распахнулись, все разом задвигались, и каталку с гробом покатили прямо на нее. Клавдия заметалась, зашарахалась, вырвала руку и чуть ли не из-под колес кинулась в зал.

С Липатией они встретились только дома. Клавдия сбивчиво начала объяснять, почему она потерялась, но Липатия лишь печально улыбнулась.

— Знаете, почему я ушла? Исключительно потому, что он вызывающе интересен. Вызывающе! Это оскорбило мою женскую натуру. Ну, почему, почему, скажите мне, несчастная женщина, в тридцать лет потерявшая мужа, — вдова на всю жизнь, а мужчина и в семьдесят пять все еще жених?

Пока Клава провожала в последний путь неизвестную, пока шарахалась, терялась и ехала домой, начальница ее прибиралась. Собственно, прибиралась-то Наташа Маленькая, а Людмила Павловна сидела у телефона, положив перед собою список однокашников, и, болтая вроде бы о пустяках, продвигалась к цели непропливо, как первопроходчик.

— Виталий Семеныч? Привет, Виталий, ни в жисть не угадаешь, кто тебе по домашнему называет. Нет, не Ирина Петровна, дорогой, не она. Людочка это. Какая Людочка? А кто на курсе младше учился и в тебя был тайно влюблен? Заважничал, вспоминать не хочешь. Лычко говорит, Людмила Лычко, вспомнил теперь? То-то! Ну, как жизнь молодая? Не очень, говоришь, она молодая? Ладно, брось прибедняться, вы, мужики, до ста лет у нас не стареете. По какому делу? Слушай, а где Костя Смагин, не в народном контроле часом? А кто из наших там, не знаешь? Ну, добро, поцеловались, перезвонимся... — Клаудия трубку, делала отметку в списке, вновь набирала номер. — Федор Степаныч? Привет, Людмила Лычко беспокою. Как кто такая? А кто в тебе был тайно влюблен все годы учебы? Я, дорогой, я. Что поделяю? Да конторкой тут одной заведую. Есть идея собраться у меня, молодостью тряхнуть. Кости, говоришь, загремят? Ну, ты отпустил! Слушай, кто из наших в народном контроле окопался, не слышал чамс? Нет? Собрать вас всех жажду, вот и интересуюсь. Ну, бывай, поцеловались...

Звонила она с утра, список таял, но выходов обнаружить никак не удавалось. Людмила Павловна охрипла и увяла, день катился под уклон, а до цели было столь же далеко, как и на заре.

— Зинаида Сидоровна? Зиночка, привет, дорогая, целую, красавица! Как цветешь, век не видала...

Нет, не вытансцовывалась цепочка, не объявилялся свой человек. Людмила Павловна вяла на корню, а тут еще Наташа Маленькая вазочку раскокала.

— Вот теперь и склейтай. Да хоть языком, учить вас, недоразвитых...

И тут ее осенило, от «недоразвитых», что ли. По странной прихоти женской логики вспомнила вдруг, что Галина Сергеевна замужем. Нет, о самой Галине Сергеевне она ни на мгновение не забывала, но тут не о ней, а о том, что непростительно неодинока, вспомнилось. Хорошо, мол, ей, гадюке, за мужиной спиной, хоть он всего-то навсего шофер. Стоп. Где..? Да у Павла Ивановича в хозяйстве!

— Боржому! Быстро, у меня деловой разговор!

Слава богу, хоть Пал Иваныч оказался толковым: помнил, кто в него тайно был влюблен. Обещал тонко прощупать, тонко поговорить, тонко намекнуть; Людмила Павловна в нем не сомневалась, поскольку Пал Иваныч был калач тертым и у него вопреки поговорке рвалось не там, где было тонко, а там, где было надо.

— Ты, Пашенька Иванович, учти, что жена твоего шоferа — работник ценный и я ее лишаться не хочу. Но, как всякий ценный, цену себе набивает, ты меня понимаешь? Что? Должна прейскранту соответствовать? Двадцать копеек, гениально сострил. Вот об этом-то самом и мечтается нашему брату-руководителю. Ну, падаю в ножки, поцеловались.

Звонок этот мог сработать не ранее середины недели, но Людмила Павловна и в понедельник зря времени не тратила. Заперлась в кабинете, продумала все варианты, составила небольшой реестрик, учитывая, что бумажка всегда сильнее действует, чем устная речь, хотя в школах учат наоборот.

Во вторник с утра гордая Галина Сергеевна начала

метать растерянные взгляды. Сотрудницы их, возможно, и не замечали, но Людмила Павловна ликовала. Она-то знала, в чем дело, накануне отозвавши-
вому Пал Иванычу.

— Порядок,— сказал он.— А ты в самом деле бы-
ла в меня втюрившись?

— В самом,— сказала.— Расцеловались, перезво-
нимся.

И вот теперь — взгляды. А к обеду нервы не вы-
держали, и последняя независимая держава испроси-
ла аудиенции.

— Слушаю вас,— приветствовала начальница, де-
ля вид, что усиленно изучает бумаги.— Садитесь.

Приглашение садиться было с паузой, чтобы посе-
тительница могла вдосталь ощутить слабость собст-
венных коленок. И опять — вся в работе. И еще одна
пауза, и еще раз — с недоумением:

— Слушаю же вас, Галина Сергеевна.

Галина Сергеевна шла с твердым намерением рас-
ставить все знаки препинания. Однако немыслимая
занятость Людмилы Павловны и целые две паузы
спутали ее, и начать пришлось с существа:

— Людмила Павловна, мой муж был вчера втя-
нут... То есть вызван. То есть ему неверно осветили.

— Он в кого-нибудь врезался? — озабоченно осведо-
милась начальница.

— То есть... Это ж в каком смысле? — опешила за-
местительница.

— Он же, кажется, шофер? И если что-нибудь со
светом, то вы не волнуйтесь, я постараюсь помочь.
Естественно, если не было человеческих жертв. Ну, а
если все дело лишь в материальном ущербе, то мы
всегда должны понимать друг друга. Особенно мы,
советские женщины.

Галина Сергеевна ничего не соображала. Она шла
объясняться, была полна решимости продолжать борь-
бу — и вдруг...

— Позвольте, Людмила Павловна, я плохо пони-
маю. Я о том...

— Я ценю вас, дорогая,— растроганно вздохнула
начальница.— Может быть, вы не догадываетесь, но
даже люблю. Как исключительно приличную совет-
скую женщину.

Соединение двух определений несколько озадачило
саму Людмилу Павловну, и она замолчала. Ровно на-
столько, чтобы не дать заместительнице опомниться.

— Я не хочу с вами расставаться, а вы со мной
хотите. В этом прочность моей позиции и ошибоч-
ность вашей. Положение вам известно: скоро к нам
поступит новое штатное расписание, в котором...

Журчал голос, жужжали слова, общий смысл был
ясен, но собрать их воедино, обнаружить логическую
связь Галина Сергеевна уже не могла. Личная обида,
что сокращают именно ее, мешалась с козырными
картами, пронизательным мужем, больной дочерью,
идиоткой Сомовой и танковым напором начальницы,
которая все поняла и сейчас разделает ее, как плотву
для ухи.

— ...кошмарно, что вы научили Сомову написать
записку о том, что нас следует закрыть.

— Я никого не учила.— Она уже оправдывалась,
уже мельтишила.

— Оставьте, дорогая, я вам не Наташа Маленькая.
Вы позволили себе высказывания в присутствии всего
коллектива...

Опять зажурчало, зажужжало, слова сливались в
сознании Галины Сергеевны. А у нее муж вчера при-
шел перекошенным: «Дура! Выскочила! Без доказа-
тельств! С тузом!»

— ...приказ подписан, но расставания можно избе-
жать.— Людмила Павловна вынула из папки бумагу,
которую составляла все утро.— Схема нашей структу-
ры. Я — вершина, Сомова — подножие. Вашу дол-
жность убираем.

— Меня? — робко спросила заместительница.

— Должность, а не вас, должность. А вас остав-
ляем вместо Вероники Прокофьевны. Веронику —
вместо Наташи Разведенной, Наташу — на место ма-
мы Оли, Олю вместо Лены, Лену меняем на Иру,
Иру — на Катю, Катю — на Таню, Таню — на Ната-

шу Маленькую, а Наташу — на место Сомовой. Вот
и все.

— А Сомову?

— Сомову? — Начальница посмотрела строго.—
Из-за совершенной вами глупости могут приписать,
что вследствие критики. Значит, надо думать.

— А...

— Понимаю. Да, на перемещении вы теряете двад-
цать рублей, но я обещаю вам и Веронике прорыбить
персоналки. Полагаю, что теперь мы поняли друг
друга?

О, какой вулкан буйствовал в душе Галины Серге-
евны! Сжигал, повышал давление, рвался наружу
алой краской, даже шея стала, как у индюка. Рот
разинула заместительница, дважды плямкнула пере-
сожими губами, как столетняя бабка, а потом на-
пряглась и выдавила:

— А Наташа Разведенная?

— Умение подобрать к каждому работнику клю-
чик — это и есть талант руководителя.— Людмила
Павловна улыбнулась, мобилизовав для этого оскудев-
шие ресурсы обаяния.— Хотите боржомчику?..

7.

Все шло заведенным порядком. Общественники на-
катали отчет о неблагополучии, вскрытом благодаря
их бдительности. Однако по мистическим законам со-
временности Людмила Павловна знала, что именно
они написали, еще до того, как была выведена первая
строка. И хоть не обнаружилось однокашников в
народном контроле, но добрая душа сыскалась.

— Помариновать помариную, но списать не удаст-
ся. Так что занимайтесь круговой обороной, уважаемая
Людмила Павловна.

— Спасибо,— прочуствованно сказала начальни-
ца.— За мной не заряжает, как говорится.

— Ну, это пустяки,— рокотал в телефонной трубке
незнакомый, но весьма приятный баритон.— Ну, если
уж, чтобы дружбу поддержать, так свербит один пустячок.
Вы ведь с Виталием Семеновичем накоротке, так
заявите ему при случае, что у меня дочка с
детства в его системе работать мечтает. С образовани-
ем аккурат по линии внешторга, так что все соблю-
дено. Вот за это — поклон, это по-нашему, Людмила
Павловна, а кляузу беру на контроль. Ну, всех благ.

Ах, какое торжество испытывала Людмила Павлов-
на, положив трубку! Как четко и гениально просто
была устроена эта прекрасная жизнь, в которой все
стремились помочь друг другу. Нет, ради этого стоило
бороться и работать, работать и бороться, и началь-
ница решила сначала бороться.

— Девочки, срочно Галину Сергеевну ко мне!

После того памятного разговора поведение замести-
тельницы удивляло и настораживало. Кажется, дого-
ворились, нашли то, что сближает, а не то, что
разъединяет, но вместо того чтобы радоваться, Гали-
на Сергеевна ходила как пришибленная. Будто вдруг
превратилась в Наташу Маленькую, точно так же нач-
ав вздрогивать при стуке двери, громком голосе и
телефонном звонке.

— Сомовой начали подсююкивать?

— Я...— Галина Сергеевна подавленно замолчала,
беззвучно глотая слезы.

— Между прочим, пора действовать, дорогая. Да,
действовать! Мне доложили,— ах, как сладко было
хотя бы произнести эту магическую формулу! — что
комиссия начала активную борьбу. Активную! И мож-
но смело предположить, что Сомову скоро вызовут
на ковер. А она — дура и потому будет говорить прав-
ду. Значит, надо упредить. Готовьте антисомовский
материал.

— Людмила Павловна! — Галина Сергеевна совер-
шила серию движений, будто намеревалась прямо со
стула брякнуться в ноги, но недоэрзала.— Только не
это, я умоляю, я не смогу. Это же по... под... подл...

— Что?

— Поддержка,— забормотала заместительница.—
Товарищеская поддержка хотя бы со стороны Верони-
ки Прокофьевны.

— Разумно,— подумав, согласилась начальница.—

Разрабатывайте Наталью Разведенную.

Галина Сергеевна была прекрасным специалистом, разумной женщиной, добрым товарищем, но при этом отлично понимала, что скромная карьера мужа и собственное продвижение, персональный оклад и обещанное улучшение жилплощади, льготные поездки за границу и возможность послать дочь в пионерлагерь санаторного типа и еще великое множество учтенных и неучтенных мелочей находятся отнюдь не в руках профорга Вероники Прокофьевны. А жизнь текла по столу порожистому руслу, что сохранить семейную ладью в целости и сохранности можно было, только обладая гениальным лоцманским дарованием. Каждый порог требовал компромиссов, компромиссы — нервов, нервы — здоровья, и Галина Сергеевна таяла, съеживалась, становясь все меньше и меньше, точно превращалась в мышку-норушку. Причем как бы не в одну, а в две мышки: внешнюю и внутреннюю. И если с внешней все было понятно, то внутренняя грызла ее денно и нощно, лишая покоя, достоинства, сил и сна. Галина Сергеевна начала скандалить в троллейбусах, орать в очередях, грубить всем подряд, то есть стала походить на рядового москвича восьмидесятых годов двадцатого столетия.

А Клава жила, не подозревая, что создана мощная антисомовская коалиция. Она была настолько поглощена своими проблемами, что даже история на собрании более ее не занимала.

Полмесяца посвятив скрупулезному изучению слесаревых интонаций, Клава пришла к твердому убеждению, что с этим «аналгинчиком» надо кончать. Что это и стыдно, и совестно, и вообще она — женщина и не может жить без гордости. А какая уж тут гордость, когда тебе в лицо смеются в ответ на самый главный вопрос? И, тщательно все обдумав, Клава пошла ставить в известность Томку, поскольку чисто по-женски нуждалась в еще одном голосе — неважно, «за» будет этот голос или «против».

Голос был «против».

— Ну и дура психическая.

Томка обсчиталась на семнадцать рублей, но Клава об этом не знала, а потому вместо того, чтобы пожалеть подругу, начала толковать про гордость.

— Тыфу на твою гордость! — заорала Томка. — Какая тебе, к дьяволу, гордость, когда о том, что мы — женщины, мужики либо после стакана вспоминают, либо раз в году на Восьмое марта?

Клава упорно талдычила свое, соседка, войдя в раж, называла вещи своими именами, но главное совершилось: Клава Сомова с каждой фразой убеждалась в своей правоте. И, покинув не на шутку раскричавшуюся Томку, разыскала своего слесаря и все ему изложила. Чтоб никогда больше к ней не приходил, даже если кран потечет. Слесарь начал было гудеть, но Клава слушать не стала. Она так была горда, что решила тут же купить себе цветов. Какие подешевле. И пока она искала подарок самой себе, к ней пришла Вероника Прокофьевна. С обследованием по поручению профорганизации. Но поскольку Сомовой дома не оказалось, то принимала гостью соседка Томка, все еще клокотавшая от непонятной, но незаслуженной обиды. И, выложив все, что знала, а заодно и то, чего не знала, любознательной проворяющей, Томка ничего об этом визите Клаве не сказала. Сперва от злости, а потом просто позабыла, завертевшись в собственных делах.

Несмотря на то, что Клава сама себе преподнесла цветы и тем как бы поставила точку, ее продолжало распирать свойственное только женщинам нетерпеливое желание исповедаться, с силой воздействия которого может соперничать разве что почесуха. Клава томилась, как брага, изнемогая от переполнявших ее новостей, но поделиться было не с кем, и исповедальная страсть кисла на корню. И скисла бы, если бы в тот день к Оле не должен был заявиться Игорь Иванович. Он не оповещал об этом, но Наташа и так вычислила его по особому звону Олинего голоса, по особой чистоте ее смеха, по совершенно особой манере не идти, а лететь. И чем звонче смея-

лась мага Оля, тем все угрюмее становилась Наташа, а к концу работы замешкалась, пропуская всех, и едва ли не впервые оказалась с глазу на глаз с Клавой Сомовой.

— Спешишь? — тускло спросила, на ответ не расчитывая.

И поэтому Клава поспешно отреклась:

— Нет, что ты, что ты! Мне совсем некуда.

— Некуда? Идем в кафешку. Угощаю.

Клаве не хотелось идти в кафе, потому что, как на грех, на ней были не те туфли. Но она очень уважала гордую Наташу Разведенную, побаивалась ее решительности и завидовала ее комсомольской принципиальности, которой — она в этом была абсолютно убеждена — у нее самой было ничтожно мало. И поэтому тотчас же закивала, изображая радостное оживление.

В раздевалке кафе-мороженого им пришлось подождать, пока гардеробщик подавал плащи двум девицам в джинсах. Наташа что-то говорила, а Клава как обмерла, так и не могла очухаться. Ей ни разу не подавали пальто за всю ее жизнь, и даже когда счастливая Наташа — естественно, еще не Разведенная — пригласила в ресторан весь их отдел, Клава умудрилась вырвать свое пальтишко из чьих-то предупредительных рук. Сегодня такой номер мог и не пройти, и Клава страдала, мучительно соображая, куда нужно тыкать руками, чтобы попасть в рукава, и сколько может стоить эта процедура. Но тут услужливый старичок освободился, забрал одеяжонку, и Клава ничего осмыслить не успела.

— Ты чего жмешься? — сухо поинтересовалась Наташа. — Может, надо куда? Налево дверь.

— Я потом, — зашептала Клава. — Вот старичок уйдет.

— Никуда он не уйдет, — сказала Наташа и двинулась в зал.

Клава нигде не бывала, кроме столовых-самоедок, очень робела и меню в руки не взяла. Наташа заказала две порции мороженого, вафли и немного крепленого вина с загадочным названием. Вино Клаве не понравилось, но она мужественно пила, потому что Наташа угощала и отказываться было неудобно. Вскоре у Клавы развязался язык, и она начала нести ахинею про женскую гордость и объясняться в любви. Наташа послушала и усмехнулась.

— У тебя есть мечта?

— Мечта? — Клава икнула от неожиданности и торопливо пояснила: — Это на меня так алкоголь действует. Какая мечта?

— Такая, чтоб во сне снилась. — Лицо Наташки стало злым, губы скривились. — Глотни, чего разыкалась?

— Аллергия. — Клава хватанула полбокала, прислушалась, но икота ее, кажется, захлебнулась. И вздохнула. — Очень ребеночка хочется.

— Подумаешь, мечта! — фыркнула Разведенная. — Сегодня прижмись, через девять месяцев воплотишь. Или у тебя никого нет?

Вопрос был обидным, и Клава тут же решила поговорить, какая она гордая. Но сейчас слесарь-орангутан, что хватал да волок, не мог поразить Наташу, не мог быть связанным с мечтой, и Клава проникновенно начала выдумывать. Вернее, не совсем уж сказки, а сочинение на тему мечты и гордости.

— У меня был один человек, — шипела она, перегнувшись через стол. — Свободный совершенно, непьющий, меня любил до безумия, жениться хотел. Вот. И мы совершенно говорились и тоже решили в ресторане, чтоб все девочки. Вот. А я вдруг, понимаешь, это...

— Что?

— Ну, это. Должен был быть.

— Забеременела, что ли?

— Ну да. А он говорит, не надо, мол. Рано. Потребовал, словом. Или, говорит, нет, или, говорит, я уйду. И я, дура такая несчастная, пошла и... Избавилась.

— Это когда же? — заинтересованно спросила Разведенная.

— Это?.. — В пустенькой голове Клавы вместо мыс-

лей бродили хмельные пары, но она поднатужилась.— А в апреле. Помнишь, я неделю бюллетенила? Вот. Будто ангина. А врача вредная попалась, уговаривала не делать. В первый раз, говорит, исключительно опасно, детей может больше не быть. Вообще. Но я все-таки сделала, а потом выгнала его вон.

— Молодец! — Наташа Разведенная стукнула ладонью по столику.— А он что?

— В ногах валялся,— всхлипнула Клава.— Так умолял, так умолял, но я — твердо. Вот. То есть вон. Вчера опять приходил, но я даже на порог не пустила. Вот. Уходи, говорю, навсегда. И ничего, говорю в глаза, как в кастриольки. А он заплакал, цветы на порог положил и ушел. Все.

— Да,— вздохнула Наташа Разведенная.— Гады они все. За одним, может быть, исключением.

Помолчали, пожевали.

— И все-таки выпьем за мечту,— решительно сказала Наташа Разведенная.— За злую и беспощадную.

— Выпьем,— бодро согласилась Клава. Чокнулась и добавила шепотом для самой себя: — Очень уж ребеночка хочется. Чтоб было о ком заботу проявить. А то ведь я одна да одна, как этот... хвощ.

И всхлипнула. Так беспомощно, так обиженно, будто сама еще была ребеночком, о котором мечтала во сне и наяву.

8.

Не решаясь спорить на работе, заместительница возмущалась дома. Муж еще не появлялся, дочь лежала в больнице, и Галина Сергеевна бунтовала перед собственной матерью с криком, слезами, отчаянием и тремя порциями валерьянки.

— Я не могу, не хочу, не желаю!..

Не привыкшая к гибкости душа страдала и корчилась, и вместе с нею корчилась и Галина Сергеевна. Муж пришел, когда она собиралась к Людмиле Павловне для решительного объяснения. Он слышал человеком основательным; останавливать, а тем паче спорить с нею не стал, но между прочим сказал:

— В подкидного дурака давно не играла? Так вот сейчас с тобой в этого самого подкидного играют, только козыри теперь уже на чужих руках. Можно выиграть при таком раскладе? Можно, если успеешь свои картишки другому дураку подкинуть. И вот в этого подкидного сейчас все играют, учи. Не ты, так тебе, такие дела.

— Не свои слова говоришь, не свои! — закричала жена с истеричным торжеством.— Научили? Повторяешь?

— А почему же за умным не повторить? — резонно спросил он.— Начальник у меня не бревно, и уж коли сказал чего при встрече, так лучше на ус намотать, чем мимо ушей пропустить. Тем более что разговорчик не простой был.

Жена куталась в платок, всхлипывала, вздрагивала, но уже молчала. Может, еще и не слушала, но кое-что и в этом случае в уши западало, а потому муж негромко продолжал:

— Дело же не в том, кто тобой командует, а в том, чтоб честным остаться, так? Значит, это и берем за основу. Это первое. А второе — у меня, как тебе известно, изъязва, я тяжесть не могу таскать, а знаешь, сколько баллон моего автобуса важит? То-то. И вот Павел Иваныч предлагает перейти на его персональную, положив мне при этом среднеседельную в месяц. А всего делов-то — привез да отвез, и машина весь день твоя, хоть в Домодедово кати. Ну, давай проявим характер, откажемся — думаешь, уговаривать станут? Да таких, как мы с тобой, хоть Енисей перекрывай. Вот потому я и говорю, что надо быть принципиальным в главном — ну там, честь коллектива, перевыполнение, чувство законной гордости — в этом ни шагу, умри, где стоишь. А в мелочах-то, Галочка, да ты ж у меня с высшим образованием, ты же понимаешь, что мы спасибо сказать должны, что нас приметили, выделили из общей-то массы: это ж какие перспективы?

— Значит, на гордость наплевать, да?

— Думать надо. Диалектически думать, тогда все себе объяснишь.

— Объяснишь... — Жена горько вздохнула.— Меня последней независимой державой звали.

— Опять прокол,— улыбнулся муж.— Ну где, скажи, найдешь сейчас независимую державу? Нет таких, разделился мир: либо с империалистами, либо с нами. Эпоха так диктует, Галченок, эпоха, поступь истории, как нас в университете учат.

Галина Сергеевна притихла, всхлипывала реже, уняла дрожь, только глаза еще оставались тоскливо отсутствующими, словно прощались. Муж понял, заговорил о будущем, об отпуске, о болезненной дочке, которую хорошо было бы загнать на все лето в детский санаторий. Жена слушала вроде бы безучастно, а перебила в самом неожиданном месте:

— Придется Наташу Разведенную к нам домой пригласить. Чтобы по семейному поговорить, без национализма.

Муж облегченно перевел дух, поцеловал в щеку:

— Делай, как велено.

И пошел телевизор смотреть.

У Клавы телевизора не было, и она занималась делением и вычитанием. Полученный аванс требовалось разделить по статьям обязательных расходов и вычесть из него незапланированные траты. Например, две пары чулок, которые она безнадежно порвала на работе об один и тот же стул, на который все боялись садиться, а она всегда забывала. И Клава, морща лоб, распределяла свои рублевки, но делала это по памяти, а лежавший перед нею листочек хранил совсем посторонние записи.

Там были имена. Призвавшись в заветной мечте, Клава теперь с ужасом думала, какая же она мерзкая, что тогда струсила. Сейчас ребята-то шел бы четвертый годик, можно было бы и о втором думать, а она, изверг и дура, никого не имеет. А если бы тогда не струсила, то родила бы девочку — девочка обязательно должна рождаться первой, чтобы потом помогать маме и братишкам,— и она назвала бы ее очень красиво. Например, Эллада, а сокращенно — Лада. Нет, Эллада — это, кажется, такой город, а вот, например, Констанция. И она написала: «Старшенькая — Констанция. А следующим будет Валерик». И тут в дверь поскребли, Клава перепугалась, заметалась, накрыла свои капиталы газетой и закричала, чтобы Липатия Аркадьевна входила без стеснения.

— Я хочу угостить вас чашечкой кофе,— сказала Липатия, входя с кофейником, тортом «Сюрприз» и шоколадкой.— У меня ужасный хаос из-за множества вещей на малых метрах. Конечно, кофе — это роскошь, но мы — женщины, и роскошью нас не испугаешь.

— Да,— сказала Клава.— А я долг вам хотела отдать.

Долг отдавать она не собиралась, а собиралась просить обождество еще полмесяца. Но тут так случилось, что пришло вручить Липатии десятку, предназначенному бабке Марковне в город Пронск. «Перебьется эта Марковна,— подумала Клава.— В следующем месяце двадцатку вышлю». Пока Липатия благодарила, Клава собрала свои рубли, список будущих детей и достала сахар, чашки, хлеб и масло.

— Изумительно,— сказала Липатия Аркадьевна, усаживаясь за стол.— Давайте пировать, пировать, пировать.

Тон был грустным, хотя она изо всех сил изображала веселье. Клава ничего не поняла, но спросить постыдилась. Липатия Аркадьевна говорила и говорила, а Клава думала, до чего же плохо соседке, жалела ее до боли и все никак не могла решиться спросить.

— Знаете, я по уюту стосковалась. Да, да. Сейчас такое странное время, что все живут на кухнях. И все стали пить вино вместо чая: ведь чай требует уюта, а вино можно выпить и в подъезде. Я неуютная женщина, неуютная, молчите, я знаю,

и вот пришла к вам. Рядом с вами оттаиваешь, Клавочка.

— Вам плохо? — собравшись с духом, спросила Клава.

Липатия по-птичьи склонила голову, помолчала. Потом посмотрела на Клаву и улыбнулась запрыгавшими губами.

— Знаете, Клавочка, люди исключительно лучше жизни. Да, да, исключительно лучше, я это знаю. Я знаю жизнь и людей, а сегодня подумала, что я никому не нужная запятая и что, может быть, больше не стоит. Вообще не стоит, и все. И стала собирать пильюли. Все подряд, что мне когда-либо прописывали. Набрала целый стакан — разноцветно и очень нарядно. И решила их все выпить. А потом...

Клава вскочила и долго тряслася протянутой через стол рукой. Спазм лишил ее речи, она лишь разевала рот, но тряслася рукой убедительно.

— Что с вами, Клавочка?

— Ст... Ст...

— С той поры я уже передумала и пришла к вам праздновать свое спасение.

— Стакан!.. — выдавила Клава наконец. — Дайте стакан!

— Стакан?.. — Липатия опустила голову, съежилась. — Ах, Клавочка, вы чудесная, но зачем же, зачем вы крадете игрушку?

— Где стакан с пильюлями?

— На окне в моей комнате, — тускло сказала Липатия.

Клава никогда не была у Липатии Аркадьевны. По слухам, усиленно распространяемым самой хозяйкой, комната ее была набита старинной мебелью, бронзой, хрусталем и картинами, и поэтому Клава открывала дверь с трепетом. А открыв, сразу увидела стакан с разноцветными таблетками на голом подоконнике, вошла, взяла его и огляделась.

Комната была пуста. Несколько платьев висели на стене, несколько фланков стояли на сложенных друг на друге чешоданах. Фанерный ящик изображал буфет, а старая раскладушка была аккуратно застелена байковым одеялом. Кроме этого, в комнате имелись еще два ящика, стол и коленогая табуретка. И больше ничего. Ничего решительно, и Клава шла к дверям на цыпочках, будто от покойника. Высыпала таблетки в унитаз, вымыла стакан, вернулась.

— А где... Где ваши вещи?

— Я их съела.

— Я ничего не понимаю! — сердито сказала Клава. — Вас обокрали?

— У меня никогда ничего не крали, потому что мне исключительно везло в жизни. Нет, я вас обманула, Клавочка, в детском доме у меня однажды стащили ботинки. Знаете, мальчиковые. Исключительно прочные ботинки, теперь таких не делают. Я хотела купить, чтобы было всегда тепло и сухо.

— В детском доме? — тупо переспросила Клава, опустив все остальное.

Детский дом и Липатия Аркадьевна, в которую были влюблены все артисты, никак не связывались в ее голове. А тут еще — пустая комната вместо ожидаемого гнездышка.

— Да, да. Мой отец исчез в сорок третьем году. Мне было два годика, потому что я родилась на второй день войны. Исключительно на радость маме и папе.

— Как исчез? Погиб?

— Говорили, что его вызвали в городскую управу, и он не вернулся. В оккупации это случалось. Потом мама умерла, а меня отправили в детский дом.

Клава во все глаза глядела на худую, нескладную Липатию, на ее морщинистую шею, редкие, пережженные красителями волосы, ввалившиеся щеки, опущенные уголки губ и ничего не могла понять. Она словно видела ее впервые, а знакомиться не решалась.

— Пейте кофе, Клавочка, остынет. Правда, кофе можно пить горячим, теплым или холодным, и все это исключительно вкусно. Знаете, один мой поклонник...

— Вы не старая? — шепотом спросила Клава. Липатия Аркадьевна зарделась совсем по-девичьи. И торжественно тряхнула головой.

— Старость — это ощущение, которого я исключительно лишенна.

— Получается, вам... сорок с кусочком. — Клава недаром была счетным работником. — А как же... А почему же... У вас была тяжелая жизнь?

— Ах, Клавочка! — Липатия беспечно махнула рукой. — Жизнь не чемодан, зачем же ее взвешивать? Она прекрасная, удивительная, сказочная, и каждой женщине достается всего понемножку. И тут исключительно важно, что помнить. Что помнишь, такая и жизнь.

Чувство, что с этой женщиной она незнакома, крепло в Клаве с каждой секундой. Незнакомой была интонация, лишенная обычной жеманности, взгляд, вдруг погрустневший, слова, в которых лишь изредка, как опознавательный знак, мелькало что-то привычное. Прежде Клава не стремилась узнать жизнь Липатии, где, как ей казалось, одна выдуманная любовь сменяла другую выдуманную, а теперь захотелось. Теперь показалось, что в этой чужой прошедшей жизни было что-то важное и для нее, и Клава с несвойственной настойчивостью требовала откровения.

— Да, Клавочка, детский дом — это прекрасно, потому что он — детский, а у кого хватит бесстыдства порочить собственное детство? Там было исключительно много ребятишек и исключительно мало еды, и я была кудая, как кочерга. Нас учили шить, но боюсь, что не очень учили жить, во всяком случае, я до сих пор не встречала ни одного начальника, который вышел бы из нашего детдома. Я думаю, это потому, что из нас делали исключительно верующих людей.

— Верующих? — со страхом переспросила Клава. — Вас заставляли верить в бога?

— В коллектив, — строго сказала Липатия. — Нам внушали, что коллектив всегда прав, что он всегда умнее, честнее, благороднее и справедливее отдельного человека. Наверное, так воспитывают муравьев, и это исключительно правильно, хотя жизнь, увы, не муравейник, а жаль, потому что в муравейнике нет ни воровства, ни обмана и все ходят сътые. И я бы хотела быть обычновенной муравьихой, потому что у меня все равно нет детей, а там, в муравейнике, я бы ухаживала за куколками.

Клава с грустью подумала, что Липатия Аркадьевна совершенно права и что ей тоже хорошо бы было ухаживать за куколками. Она вспомнила о начатом списке, но решила не углубляться и спросила:

— Вы говорите, вас учили жить?

— Шить, — строго попростила соседка. — Хотя если правильно покопаться в душе, то я исключительно неспособная, и даже если бы меня учили жить, я бы все равно получила двойку. Но нас все-таки учили шить, и я ничему не выучилась, разве что пришивать пуговицы. А потом я пошла на швейную фабрику и пришивала пуговки к мужским сорочкам на специальной машине, и это было чудесное время. Ах, Клавочка, вы себе представить... Нет, представить вы можете, как я пела. Конечно, не за пуговицами, а в вокально-музыкальном кружке при дворце. Это замечательно, что теперь у всех есть дворцы, даже если они вместо любви, но я вышла замуж исключительно по любви. Его звали Тарасевичем Иваном Никитичем, ему было сорок два, а мне ровно двадцать, и я была исключительно счастливая, потому что могла быть его дочкой. А еще я была — вот вы ни за что не поверите! — я была румяная и даже толстенькая, а он воевал и был два раза ранен, и полицаи постреляли всю его семью. «Липочка», — говорил он мне, — мы будем самыми счастливыми на свете, Липочка...»

По худому, изможденному лицу Липатии весело бежали кругленькие слезки. Она шмыгала носом и улыбалась, и слезы прятались в морщинках, появляясь вдруг на кончике подбородка и уже оттуда капая в кофейную чашку. Клава боялась шевельнуться, боялась дышать, и в комнате стояла такая тишина, что было слышно, как капают слезы.

— А потом его перевели в Москву с таким повышением, что нам дали — это в то еще время! — целые две комнаты на двоих. Прямо — плодитесь и размножайтесь, как сказано в одной книжке, но я не могла размножаться, потому что застудилась еще в войну, потому что когда не вернулся наш отец, то совсем не стало дров. А муж все мечтал меня вылечить, и мы ходили по врачам. И, наверное, все было бы замечательно, только один раз мой Иван Никитич вернулся с работы, лег на диван и умер. А я не знала, что он умер, и готовила ужин, и болтала с Тамариной мамой — она еще была жива, — а Тамара...

— Какая Тамара? — шепотом спросила Клава. — Томка, что ли? Наша Томка? А где ж вы с мужем жили? У нас же трехкомнатная квартира, и у каждой по комнате.

— Да, да, — тихо согласилась Липатия. — Я исключительно напрасно завела разговор.

— Подождите! — Клава вскочила, метнулась к окну, вернулась. — Я в седьмой класс ходила, когда мы сюда переехали. Мы вашу комнату заняли, да, вашу?

— А зачем мне две комнаты? Мне совершенно не нужно лишнего, когда столько людей исключительно нуждаются. Не бойтесь, Клавочка, не бойтесь, мой муж умер в другой комнате. В той, где стоит раскладушка.

— Господи, — вздохнула Клава. — Я же ничего не знала. А вы были рыхая.

— Мне тогда исполнилось тридцать, — торжественно сказала Липатия. — Мне исключительно не на что было жить, потому что как-то случилось, что мы нажили только ранения и болезни. А меня всегда тянуло к артистам — это очень смешно сейчас, правда? — вот я и пошла в гастрольную эстраду и стала Липатией Аркадьевной.

— Как так — стали?

— Скажите, можно управлять артистами, если вас зовут Евлампия? А меня зовут Евлампия, и мой отец был Авдей. И его убили фашисты, а я назвалась Липатией Аркадьевной и так всех запутала, что меня так зовут даже в паспорте. Но обман всегда приносит горе, Клавочка, и страйтесь никогда не обманывать. Я могу вам исключительно точно сказать, что если бы я осталась Евлампией Авдеевной, то не превратилась бы в Липатию Аркадьевну.

За внешней бессмыслицей скрывалась боль, и Клава все поняла. А поняв, ощущала вдруг, что она старше Липатии; встала, обошла стол и крепко прижалась к груди беспутную ее голову.

— Обождите, Клавочка, обождите, — тихо сказала Липатия, боясь шевельнуться. — Сейчас вы прогоните меня и побежите отмываться индийским порошком. Я — воровка. Не верите? Я тоже не верю, но в обвинительном заключении было написано, что я присвоила столько, сколько мой покойный Иван Никитич не заработал за всю жизнь, даже если каждое его ранение оценить в три тысячи рублей. Да, да, Клавочка, я была под следствием, и хотя суд меня оправдал, но лучше бы он этого не делал, потому что я не могу работать ни в идеологии, ни в искусстве, ни даже в торговле. И все кадры ужасно пугаются, когда я об этом пишу в анкете, и меня с той поры так никто и не взял в трудоустройство. А ведь я ничего не прошу сказочного, я прошу исключительно об одном: пожалуйста, будьте так добры, позвольте мне сесть в стеклянную будку и продавать газеты. Я ничего не изменю в статьях и не украду ни одной копеечки, только позвольте. Если женщины не суждено родить, то за что же убивать ее до конца жизни? За что?

— За что? — испуганным эхом откликнулась Клава.

— Вы знаете, что такое «левые концерты»? Вот и я не знала, но мне объяснил следователь. У меня был замечательный следователь, исключительно отзывчивый, про него надо писать романы. Да, да. Он мне показал кучу каких-то бумажек, назвал их, как меня, «липой» и сказал, что на них моя подпись. А я...

Распахнулась дверь, и в комнату ввалилась развеселая Томка. За нею виднелись неизвестный Клаве мужчина, сияющий, как полная луна, и известный

Клаве слесарь, нежно прижимавший к груди две бутылки водки.

— Вот она! — заорала Тамара. — Люля-кебаб! Томится! Где гуляем, подруга, — у тебя или у меня? Лучше у тебя, а то у меня постелька настежь. — Тут она узрела Липатию. — А ты чего здесь? Гуляй отсюда, рыба-прилипала. Ну? Тряси костями!

— Извините... — Липатия вскочила, суетливо переставляя чашки, кофейник, нетронутый торт. — Извините, пожалуйста. Вы исключительно правы, исключительно.

Клава сидела, как истукан, еще не осознав, что происходит. Мужчины уже вломились в комнату. «Лунатик» улыбался у дверей, а слесарь по-свойски пропотел к столу и водрузил на него бутылки.

— Торт оставь! — скомандовала Томка, сбрасывая пальто на пол. — Он тебе не по зубам, а мы враз скружаем.

— Да, да, извините, это лишнее, конечно, лишнее...

Руки Липатии тряслись, все в них прыгало и брякало, и этот звук полной растерянности, абсолютного бессилия и покорности одновременно пробудил Клаву. Она опомнилась вдруг, мгновенно и тут же вскочила.

— Вон.

Она сказала шепотом, но так, что все замолчали. И оправившая Томка, и приплясывающий, уже изрядно принявший слесарь, и дрожащая Липатия, и «Лунатик» у дверей. Все стихло разом. Клава хотела крикнуть, но крикнуть не удалось, потому что ей опять сдавило горло. Тогда она схватила бутылку за горлышко и метнула ее, как гранату, в распахнутую дверь. Бутылка со звоном разлетелась в мокрые дребезги, а Клава схватила вторую бутылку и швырнула ее туда же.

— Стерва-а! — завопила Тамара.

Сбила с ног, навалилась, визжала, царапалась и ругалась скверно и громко. Клава отбивалась, как могла, кто-то их растаскивал, кто-то поднимал ее с пола. Она успела заметить, что «Лунатик» в обхват держит плюющуюся Томку, и тут слесарь, по-мяснице хакнув, врезал Клаве твердым, как полено, кулачищем. Все завертелось, Клава начала оседать, опрокидываясь в бедну, и последнее, что она увидела, так это как Липатия с противостоящей частотой лупит слесаря кофейником и кофейная гуща растекается по красной слесаревой физиономии...

9.

На следующее утро Клава пришла на работу запутанной. Несмотря на то, что встала она на час раньше и весь этот час вместе с Липатией трудилась над гrimom, синяк просвечивал, как темное прошлое. Кое-как объяснив любознательным, что упала со стула, Клава забилась в свой угол и начала усердно трудиться, не зажигая света, хотя было темновато. Она наивно рассчитывала отсидеться тут, как в норе, но уже через час была востребована. Струхнув более обычного, Клава покорно направилась в кабинет, но, к великолюку ее удивлению, начальница была на редкость мила, добродушна и ласкова. Задала несколько вопросов по делу, сердечно поговорила о погоде и отпустила с миром. А отпустив, вызвала Венерику Прокофьевну.

— Синяк. Уточните, в каком дебоше. И давайте лекцию, пока доказательства на лице.

Людмила Павловна спешила, так как неизвестный благодетель с мужественным баритоном признался, что волынить с письмом более не в силах. То ли инспектирующие перешли в атаку, то ли просто набивал себе цену; как бы там ни было, а тучи сгущались. К этому времени Галина Сергеевна наконец-то душевно поговорила с Наташей Разведенной и выяснила, что в тоске она, хоть стреляйся, ибо нет у нее никакой возможности получить собственные квадратные метры. Это обстоятельство так заинтересовало Людмилу Павловну, что она рискнула обеспокоить самого Вилена Трофимыча, которого до сей поры бегала на самый крайний случай.

— Вилен Трофимыч, солнышко ты наше, выручай. Припари твою однокашницу, и спасти может только однокомнатная квартира...

Долго вздыхал Вилен Трофимыч, пугал ревизорами, ломался и маялся. И все же столкнулись, когда Людмила Павловна намекнула насчет МГИМО: у Трофимыча балбес в дипломаты рвался, но атtestат его тянул максимум на администратора в кинотеатре средней руки.

— Ты гарантируешь — я гарантирую. По-деловому, Трофимыч.

— Добро, Людочка, заметано. Звякни через неделю.

Через неделю однокомнатная квартира практически лежала на столе, и Людмила Павловна вызывала Наташу Разведенную. Поговорив о том, о сем, вздохнула сокрушенно:

— Интересная, молодая, огонь в крови, а что же на лице? Тоска и неустроенность, я угадала?

— Это мое личное дело, — накирилась Наталья.

— Неустроенность, — озабоченно повторила начальница, будто не расслышав. — Поразительная несправедливость: самый уважаемый и принципиальный работник не имеет собственного угла. Но есть возможность это исправить. Я пока ничего не обещаю, это будет от многое зависеть, но все же пиши заявление.

Свобода — осознанная необходимость, как утверждают классики. Правда, необходимость порой так берет за глотку, что нужно быть основательно подкованным в теории, дабы упрямо ощущать себя свободным. Галине Сергеевне это ощущение давалось за счет сокращения дней ее на этой земле, а Наташе Разведенной несравненно легче, ибо Наташа была злой. Злой и умной, и все поняла, и начала деятельно собирать необходимые бумаги.

Но все это было за полмесяца до описываемых событий. А если вернуться к ним, то на другой день после появления Клавы с синяком Вероника Прокофьевна доложила:

— Подрались с соседкой.

Она добыла сведения от перепуганной Липатии, поскольку Томки дома не оказалось. Липатия живописала побоище с дрожью, негодованием и жуткими подробностями, и Вероника Прокофьевна доложила слово в слово, только поменяла плюс на минус.

— Чудесно, — улыбнулась начальница. — Готовьте диспут «Береги честь смолоду». И непременно ту старушку из общественности пригласите, которая конспектировать любит. Есть прекрасная закономерность: женщины с возрастом делаются все нравственнее и нравственнее.

За всем этим стояло доброе имя Клавдии Сомовой, но сама Клава ни о чем не догадывалась. Она старательно лечила свои синяки и очень переживала из-за несчастной Липатии Аркадьевны. Теперь она летела домой и первым делом стучалась к соседке. Убедившись, что та покуда жива, принималась за ужин, на который под любым предлогом приглашала Липатию. То на пирог, то по поводу окончания трудовой недели, то просто так, без всякого предлога. Делала она это с упрямым постоянством, что вскоре привело ее на грань финансовой катастрофы. Но Клава колебалась недолго, решительно вычеркнув из расходов незнакомую бабку Марковну из неизвестного города Пронска. А тут еще Томка объявила войну и вредила: то газ под картошкой выключит, то заварку из чайника сольет, то три ложки соли в молоко всыплет. И Клава так была занята Липатией, финансовыми пересчетами и борьбой с бывшей дорогой подругой, что не успела подготовиться к диспуту.

Мероприятие проходило по линии повышения культурного уровня. Когда-то они всем отделом объявили себя коммунистической бригадой, три раза вместе сходили в кино да раз в Третьяковку, и больше уж никуда не ходили, отдельываясь тематическими собраниями, где один докладывал, двое поддерживали, и все радостно спешили по домам. А потом и это заглохло, заиленное новыми веяниями, изучениями, читками и собраниями, где опять-таки один выступал, а двое поддерживали. Дела шли очень славно — и вдруг этот диспут о чести, которую надо беречь смо-

лоду, а не с колыбели, как считала Клава. Она додумалась до этого в метро, потому что где-то в подсознании у нее гвоздем сидела мысль о Констанции и последующем Валерике. А додумавшись, твердо решила, что своих ребятишек будет воспитывать так, чтобы честь они берегли не потому, не с какого-то там времени, а с первого и до последнего вздоха. И еще решила: если ее вызовут, то она непременно скажет всем, что честь надо беречь не смолоду, а значительно раньше.

Основополагающий доклад делала сама начальница. Вдохновенно потрудившись четыре рабочих дня, Людмила Павловна исписала цитатами восемнадцать страниц и теперь внушительно читала притихшей аудитории афоризмы, дискутировать по поводу которых было не просто бессмысленно, но и небезопасно. Это избавляло скучавших слушательниц от необходимости что-то говорить, но больше всех была довольна старушка — божий одуванчик. Она торжественно кивала, слыша откровения, смело утверждавшие, что дважды два — четыре, и ничего не записывала, хотя держала наготове блокнот и ручку. Начальница читала, старушечка кивала, аудитория дремала — все шло, как обычно, привычно и прилично.

— Теория ценна своей связью с практикой, — изрекла Людмила Павловна, перевернув последний листочек. — И мы должны с принципиальной откровенностью осветить наш небольшой женский коллектив, честь которого всегда должна сиять, как маяк. Кто желает поделиться своими мыслями?

Делиться никто не рвался. Студентки Катя и Таня были отпущены на занятия, и даже отчаянная Лена сонно помякала. Но пауза затянулась не настолько, чтобы чугунно придавить аудиторию: Вероника Прокофьевна вовремя подняла руку.

И тут Клава сразу выключилась, занявшись собственными беспокойствами: о Констанции, Валерике и реальной Липатии Аркадьевне, мечтавшей продавать газеты в стеклянной будке, потому что из-за болезни не могла ворочать шпалы на железной дороге. Клава понятия не имела, где оформляют на работу продавцов газет, но, увидев Веронику Прокофьевну, вспомнила, что она профорг, и тут же решила пословствовать: ведь должен же профсоюз заботиться о людях? И начала старательно продумывать, как ей объяснять насчет невезучей этой Липатии, и опомнилась, только заметив, что все смотрят на нее, а древняя гостья строчит в блокноте.

— ...любовь — святыня для каждой женщины, и мы должны серьезно предупредить Клавдию Сомову, что не потерпим в своем коллективе...

В голове у Клавы вдруг завихрилось, завертелось, вроде бы даже загудело, будто в печной трубе. Она ничего не поняла и сначала поднялась, решив, что ее называют для положительного примера. Но Вероника Прокофьевна, уткнувшись в бумажку, уже лихо неслась дальше, и все — кто с недоверием, кто с любопытством — глядели сейчас на Клаву. Кроме Галины Сергеевны, которая, низко опустив голову и подозрительно часто утирая нос платочком, сосредоточенно разглядывала стол.

— Бред! — вдруг звонко выкрикнула Лена. — Бред сивой кобылы!

— Это я — сивая кобыла? — еле выговорила Вероника Прокофьевна запрыгавшими губами. — Людмила Павловна, вы слышали?..

— Обождите! — отмахнулась начальница: диспут сворачивал на иное направление. — Объясняйся человеческим языком, Елена.

— А человеческим, так Клавка и есть самая нравственная из всех нас, — столь же запальчиво продолжала Лена. — Кто никогда не опаздывал? Клавка. Кто ни разу не удрал из нашего кипучего безделья? Клавка. Кто никогда никому не соврал даже для смеха? Опять Клавка! И вы, фальшивки, ее порочить смеете?

— Замолчать! — крикнула Людмила Павловна, ударила ладонью по столу. — Кому бы говорить, да только не тебе, Елена. Ты — самая безнравственная, бесстыдно безнравственная во всем коллективе, ты осмеливаешься защищать Сомову? Рыбак рыбака видит из-

далека, так, что ли? А кто своих мальчиков, как ты выражаяешься, напоказ сюда водит и чуть ли не каждый месяц нового? Кто?

— Ах, завидно стало! — весело расхохоталась Лена.— Вот и отлично. Я водила мальчиков, не отрекаюсь. Весь класс с вами, дурами, перенакомила, чтоб вы от зависти полопались. А насчет нравственности, так я вам не тихоня Клавка, меня не вдруг-то проглотишь, еще и подавишься. Да я завтра же справку из поликлиники принесу, что дева я непорочная, что тогда скажете? Вот так и будете стоять, рот разинут, да? — Она опять торжествующе засмеялась.— Вы, бабушка, запишите, что тут Сомову топить вздумали. Зачем, не знаю, а только непременно запишите.

Выдавив поощрительную улыбку, Людмила Павловна соображала с такой быстротой, с какой соображать ей еще не приходилось. В четко продуманной операции ощущимо назревала трещина. Ленка-звонок, Ленка-болтушка, Ленка, для которой, как казалось, существовали одни мальчики, давала бой за никому не нужную Сомову. И, судя по задору, успокаиваться, выкричавшись, не собираясь. Она спорила сейчас принципиально с самой Людмилой Павловной, спорила с таким злым азартом, что оставалось одно спасение: срочно изменить курс. Но пока все гомонили, Наташа Маленькая шептала с Наташей Разведенной, мапа Оля — с Вероникой Прокофьевной, Лена продолжала что-то выкрикивать, Галина Сергеевна притихла, как мышь, а Клавдия пошла красно-белыми пятнами, будто мухомор,— следовало действовать поэтапно.

— Тишина, тишина, тишина! — громко сказала начальница, трижды ударив в ладоши.

И все смолкли, поскольку сработал условный рефлекс. И начальница уже набрала воздуху, чтобы взять разговор в свои руки, как вечно молчавшая, загадочная Ирочка сказала негромко:

— Что же это вы в меня не вцепились или в мапу Олю? У меня — любовник, у Оли — сынуля со стороны. Что же вы все — на самую безобидную? Права Ленка: боитесь вы Клавки Сомовой, потому что Клавка никогда не сорвет, хоть на костре ее поджарь. И ту записку, чтоб нашу шарашкину контуру прикрыли, она писала, потому что поверила, будто вам вправду экономия нужна не на одной старой кипке. Так, мапа Оля?

— Вообще-то конечно. Мы все Клаву хорошо знаем.

Если бы Ира не задала вопрос, Оля просидела бы весь этот шумный вечер молча, как всегда сидела на собраниях. И тогда не случилось бы того, что случилось, и дальнейшая жизнь текла бы спокойным незамутненным потоком по привычному руслу. Но Ира спросила, Оля некоторя ответила, и судьба со скрипом провернула свое ржавое колесо.

Наташа Разведенная прекрасно знала, сколько внесет ее слово. Не забывала она об этом и сегодня, когда волнения, давно колебавшие ее душу, достигли критической силы. И если на прошлом собрании, с которого и разгорелась эта война, к краю подвели Клаву Сомову, то теперь у края оказалась Наталья Разведенная.

Топи или утонешь сам. Нет, сам не утонешь — утонет твоя злая, вспоенная завистью мечта: отдельная квартира и Игорь Иванович. И важнее квартира — ведь в метры же он влюбился, не в солнную же Ольку! — важно предложить квартиру ему, а уж любовь как-нибудь завоюем. У нас и темперамент, и авторитет, и ноги длинные, и волосы погуще. Важно предложить не только себя — кто в наши-то дни без московских метров всерьез влюбится! — важны метры. Метры, метры, метры...

Все это пронеслось в Наташиной голове, все взвесилось, согласовалось с совестью, убедило ее помалкивать, и независимое герцогство встало во всем своем непрекаемом авторитете. В голове у Наташи стучало, и она все время внушала себе: «Успокойся, успокойся, ты делаешь правильно». И считала кончиком язычка зубы, как то предписывал аутотренинг. Клавка Сомова, наверное, и слова-то такого не слыхивала,

а Наташа занималась им регулярно дважды в день перед водными процедурами.

— Из моральных принципов я не пощадила своей любви,— посторонним голосом сказала она, суеверно подумав, что настоящую-то любовь она пощадит всегда, пусть Игорь Иванович совершенно не беспокоится на этот счет.— Я слушаю выступления, я наблюдаю за вами, и у меня болит сердце. Болит! Оно не выносит неправды, не выносит притворства, не выносит умолчания. Умолчания Сомовой, трусливого и безнравственного. Она решила отсидеться под защитой добровольных адвокатов, так я не дам ей этого сделать. Я сорву с нее маску и покажу всем ее настоящее лицо!

Такого ненавидящего пафоса не ожидала даже Людмила Павловна. Она с изумлением и теплой благодарностью впилась глазами в гневную и очень по-хорошевшую Наталью, не дав себе труда понять, что в этот момент Наташа лютой ненавистью ненавидит совсем не Клаву, а себя, обещанную однокомнатную квартиру и благодетельницу Людмилу Павловну.

— Мы были с тобой в кафе, Сомова?

— Были,— с поспешной готовностью подтвердила Клава.— На Горького, напротив Елисеевского.

— Сколько раз ты избавлялась, Клавдия? Молчишь? Призналась ты только в одном, сказав, что для тебя это как ангину, что детей ты боишься, ненавидишь и травишь их в зародышах, потому что пьешь с мужчинами!

Наташа сделала эффектную паузу, но пауза была испорчена так не вовремя вставшей вдруг Клавдией.

— Как же? — тихо и беспомощно спросила она.— О мечте говорили, я список составила, у них уж имена есть...

— Список убиенных тобою младенцев! — выкрикнула Наталья, чувствуя, что еще секунда — и не выдержит, заорет, забьется, может быть, даже в Людмилу Павловну вцепится.— Ты безнравственная лгунья, Клавдия!

Наташа Разведенная не села, а ружнула — даже стул застонал. Тишина стояла, как в склепе,— все переваривали, приводили в соответствие, отсевали правду от вымысла и негодование от истерики. Секунда-другая, и эта экзальтированная аудитория взорвется таким сумбуром, в котором и сам сатана ничего не разберет, а уж гости — тем более. Нет, нельзя было отдавать ни секунды, надо было бить и бить и закрыть собрание, когда все будут в абсолютном шоке. И Людмила Павловна начала трясти склонившуюся в комочек бывшую независимую, а ныне безоговорочно капитулировавшую державу. Галина Сергеевна дернулась, глянула затравленно и встала. К тому времени уже летал шепоток неким предвестником возможной бури, но сразу же превратился в штиль, начиненный ожиданием.

А Галина Сергеевна разинула рот и заплакала. Она плакала несмело, но горестно, слезы градом катились по ввалившимся щекам, и во всей ее жалкой, словно бы уже выброшенной фигуре тлело такое отчаяние, что чуткие девичьи сердца доверчиво и жалостливо распахнулись навстречу.

— Говорите,— сквозь улыбку беззвучно произнесла Людмила Павловна.— Говорите же наконец, тряпка!

— Я...— Галина Сергеевна беспомощно всхлипнула.— Она жестокая, бессердечная женщина. Никому покоя, никому! Она мужа моего преследует...

— Рукой покажите, рукой! — свирепым шепотом сказала начальница.

— Она...— Галина Сергеевна покорно подняла руку и ткнула в Клаву Сомову.— А у меня девочка большая, ей песочек нужен, ей каждый год солнышко у моря. А она... она... С мужем ссорит!

Выкрикнув последнюю фразу, заместительница закрыла лицо руками и разрыдалась в голос. К ней кинулись Вероника Прокофьевна и Наташа Маленькая, обняли, поддержали, нашептали, увили. И все опять молчали, и тут старушка вдруг бросила ручку и сказала:

— Я решительно запуталась. Решительно!

— Сейчас внесем ясность.— Теперь начальница бы-

ла спокойна.— Сомова, объясни нам, как дошла ты до жизни такой.

— Я?

Клава встала, медленно обвела всех взглядом и улыбнулась. Улыбка была застенчивой и детской, той, что сродни слезам, и многие опустили головы, чувствуя, что им почему-то не по себе.

— Ну, говори же, говори! — крикнула Людмила Павловна, поняв, что молчание Сомовой вкупе с безгрешной улыбкой сметут до основания всю выстроенную пирамиду.

— Говорить надо? — Клава вздохнула.— А зачем честь смолоду беречь? Смолоду поздно уже. Этую и беречь-то нечего. С детства беречь — да, это правильно. А сейчас — опоздали. Нет ее уже ни у кого. Нету. Вытравили.

Она говорила тихо и как-то незнакомо выстраданно. Будто много-много пережившая старушка. И все молчали, но молчали не так, молчали подавленно, стараясь не глядеть друг на друга.

— Правильно,— сказала Лена.— Молодец, Клавочка, спасибо тебе.

— Позвольте мне уйти,— еле слышно попросила Клава.— Пожалуйста, позвольте, а то не доеду я. До дому не доеду.

— Иди,— растерянно согласилась начальница.— Мы решение без тебя...

— И без меня! — выкрикнула Лена, вслед за Клавой бросаясь к дверям.

О чем говорила Лена долгой дорогой, Клава не слышала. В голове шумело, мысли метались, как мышки, а в ушах звенело, и глупая мелодия раскожего шлягера бесконечно звучала в душе. И чтобы избавиться от него, Клава стала петь про себя всю песенку, а песня как на грех оказалась длинной, кончила Клава ее перед самым домом, с облегчением ощутила, что мотивчик исчез, обняла Лену и сказала совсем уж невпопад:

— Я ее не Констанцией назову, я ее Леночкой назову. Можно?



Это была первая и последняя ночь, которую Клава не спала. До нее только в постели дошел весь чудовищный смысл обвинений, сон сразу пропал; она хотела заплакать, но боль в душе все росла и росла, а слезы куда-то пропали. И было так больно, что она трижды пожалела, что выбросила в унитаз собранные Липатией разноцветные таблетки. Вставала, ходила, пила кефир, хотела замерзнуть, чтобы простудиться и умереть, но согрелась под одеялом и опять начала маяться. К утру у нее страшно разболелась голова, но еще до этого она поняла, что больше никогда в жизни не придет в отдел. Даже под угрозой голодной смерти или выселения из Москвы. Валаялась до девяти, потом встала, хотя голова продолжала отчаянно болеть. Нечесаная и мятая, без толку бродила по комнате, натыкаясь на стулья. Один раз даже с грехом, но это было ничего, потому что Липатия тоже, наверное, встала, а Тамара, с которой велась жестокая война, уже должна была уйти в свою кассу. И только так подумала, как вошла вредная соседка Томка. Бывшая подруга.

— Привет. А я слышу, ты стулом грохочешь, значит, думаю, дома. Отгул взяла или заболела?

— Заболела, — очень неприветливо ответила Клава. — Уйди, пожалуйста.

— Некуда, в отгуле я. Я помириться хочу, если ты тоже хочешь.

Мириться Клава всегда была готова, потому что очень страдала от ссор и не любила их. Но здесь обидели не только ее одну, и она сердито помотала головой:

— Вместе с Липатией.

— Что вместе с Липатией?

— Мириться будем втроем, если все захотим.

— Да пошла она, твоя Липатия!

— Тогда и ты уходи, — строго сказала Клава. — Уходи, у меня голова болит.

Томка пофыркала, посопела, все еще стоя на пороге. Потом махнула рукой:

— Мириться так мириться!

Завтракали на кухне за большим Томкиным столом. Томка глядела на часы и рвась сбегать, но Клава и Липатия Аркадьевна твердо заявили, что ничего, кроме чая, пить не будут. Томка поворчала, погрекала сковородками и повеселела:

— Ну и правильно! А то косеем да плачемся, плачемся да косеем. Ты чего кривишься, подруга? Я тебя, если хочешь знать, с той поры, как ты водку грохнула, еще больше уважаю. Все гады, а мужики — гады со знаком качества.

— Это исключительно неправильное заявление, — сказала Липатия.

Она отложила вилку и набрала полную грудь, чтобы хватило воздуху на изложение позиции, но Клава все испортила. Заревела вдруг и рассказала, как ужасно ее прорабатывали, и даже Наташа Разведенная, и что только одна есть хорошая девочка, так это Леночка, и что Лена — очень прекрасное имя. И как будет страшно, когда об этом узнают в райкоме комсомола. Все это она рассказывала длинно, с массой непонятных — точнее, понятных только женщинам — отступлений и подробностей, плача и всхлипывая. Ее поили холодной водой, капали валерьянку и корвалол и запихивали мокрый платок в лифчик. Томка кричала: «Гады!», «Гадины!» и «Вот гадюка!» — а Липатия тихо всхлипывала за компанию.

— Я же говорю, что все сволочи, — сказала Тамара, когда Клава закончила свой горестный рассказ. — Значит, надо, как все.

— Неправильно вы говорите, — строго возразила Липатия. — Это все жизнь, уверяю вас. Люди исключительно лучше жизни.

— Дерьмо такая жизнь!

— Значит, надо ее чинить.

— Как же, починишь ее, колеру! — ворчала Томка.

— Я думаю, это оттого, что все не так, — сказала Липатия. — Мы должны быть «над», а оказались «под». А когда «под», то исключительно плохо, потому что все скверные слова начинаются на это «под».

Например, подхалим, подвох, подделка или поджигатель войны.

— Подонок! — радостно подхватила Тамара и засмеялась. — Подлюга, подлиза, подначка. Точно!

— Вот. — Липатия важно подняла палец. — Мы по, нравственностью, и нам предстоит расти до нее. Дотягиваться. А расти всегда очень трудно. И долго. Этот процесс, надо ждать.

— Чего?

— Пока дорастем, сравняемся и обгоним. И станем «над». И нравственность из крыши, под которой прячут некоренные дела, превратится в пол, на котором все будут стоять. И жизнь перевернется, как надо, и все тогда увидят, какие люди замечательные.

— Скоты они замечательные! — опять взорвалась Томка.

— Вы, Тамара, однажды произнесли хорошие слова, — проникновенно сказала Липатия. — Вы исключительно правильно заметили, что мы, женщины, есть последний шанс. Я запомнила и долго думала. И :



убеждена, что каждая женщина должна казаться выше. Выше мужчин, выше окружающих, выше телевизора, выше самой себя. Она должна тянуться вверх, как дерево. Что мы замечаем в лесу? Самое высокое дерево. Оно — пример. Вот и женщина тоже.

— Верно,— пригнувшись, вздохнула Томка.— Указывать перестали, цветы дарить перестали. Стакан водки вольют — и сразу под юбку. Даже слов никаких уже не говорят.

Клава сидела молча, горестно подперев щеку рукой. Она не участвовала в научном диспуте, хотя слышала каждое слово. Апатия, в которую впала она, была совсем не от равнодушия — нет, у Клавы имелась своя точка зрения, и она могла более или менее ясно сформулировать ее,— а от глубокой, до сей поры болезненно ощущавшейся обиды. И полного непонимания, почему именно она попала под пресс, почему именно ее душу жали, мяли, давили и топтали, как только могли. «За что? — горько спрашивала она себя.— За что же мне это, господи?..» И чем дольше и оживленнее спорили за столом, тем все сильнее, все тревожнее раскачивалась ее обида, и Клава поняла, что корень ее — унижение. И ворвалась вдруг совершенно невинопад:

— А я туда больше не пойду! Пусть хоть с милицией приходят, лягу на пол и не пойду!

Жалостливая Липатия тотчас же поддержала, а практичная Томка спросила:

— Ты вроде в отпуску еще не гуляла?

— Не гуляла.

— Сперва отгуляй, что по закону положено, а потом — с приветом. Пиши заявление. Так, мол, и так, категорически требую заслуженного отдыха. Число и подпись.

Томка принесла бумагу, и Клава написала заявление за кухонным столом. А написав, вздохнула:

— Ну и что? В Москве сидеть — весь день реветь.

— Поезжайте на юг, Клавочка. Море еще такое ласковое, исключительно такое...

— К бабке своей езжай,— решила вдруг Томка.— Зря, что ли, ты ей каждый месяц десятку шлешь?

Унижение жгло нестерпимо, будто разрезали грудь и положили на сердце натуральный раскаленный углек. Он горел, не затухая, и Клава плакала непрестанно, точно надеясь слезами загасить его пламя. Ей все время хотелось бежать — все равно куда, только отсюда, из города, где так больно умеют обижать, в глухомань, где никто ее не знает и куда никак не могут докатиться слухи, что она безнравственная женщина, убивающая собственных детей. И горе-то заключалось в том, что это было правдой — пусть крошечной, пусть давно прошедшей, но правдой в основе своей: еще при жизни мамы Клава тайком сделала аборт. И она мучилась и убивалась не только вчерашним, но и тем, прошлым стыдом, который, как оказалось, никуда не делся и тихонечко жил в ней до поры.

— Ну, что мне делать, что делать-то, подскажите? Что? Умереть?

— Да что вы, Клавочка! — пугалась Липатия.

— Ехать! — кричала Томка.— Рви когти, подруга. Там забудешься, а может, и романчик скрутишь.

И Клава согласилась. Тамара гарантировала билет, а Липатия Аркадьевна лично отнесла заявление об отпуске в отдел. Начальница с облегчением подписала бумагу — Клава сейчас была опасна — и даже позволила Липатии получить Клавину отпускную. Все сделалось быстро, и сияющая Липатия вернулась не только с оформленным отпуском, но и с отпускными деньгами.

— Я на нее так посмотрела, так посмотрела! — рассказывала она о своей встрече с Людмилой Павловной.— С таким исключительным презрением, что она содрогнулась.

Три дня, что собирали в дорогу, Клава бездельничала: лежала и плакала или слонялась по комнате и тоже плакала. Тамара принесла билет, а за покупками бегала Липатия Аркадьевна. Никто не знал, какая из себя бабка Марковна и сколько ей лет, и на всякий случай купили очень темный платок. И еще три батона полукопченой колбасы.

— Хороший подарок,— говорила Липатия, очень довольная, что раздобыла колбасу.— И еще непременно — московских конфет. Старушки любят сладкое.

Когда все было куплено и уложено, Липатия забрала у Клавы ее поясок с резинками и лично пришла к внутренней стороне кармашек с пуговкой.

— Сюда положите все деньги, кроме тех, что на расходы. И ни в коем случае не снимайте пояс. Ни в коем — вы поняли меня? Чулки можете снимать, но в пояссе вы будете спать весь отпуск. Когда кругом кошмарное воровство, то береженого бог бережет.

До города Пронска надо было ехать целых десять часов, а поезд отходил в двадцать пять три, как важно говорила Томка. Они провожали Клаву, Томка тащила чемодан, а Липатия — авоську и груду полезных советов, которые вдалбливалась в зареванную голову Клавдии. Приехали рано, Клавино место оказалось у окна, и она все время сердито махала подругам, чтобы уходили. Но они не уходили, пока не тронулся поезд, увозивший Клаву Сомову в первое в ее жизни путешествие.

11.

Поезд мчался по Подмосковью, с грохотом проносясь мимо пустых вечерних платформ. За окном уже ничего нельзя было разобрать, кроме огоньков, но Клава упорно глядела в него, прижавшись лбом к стеклу. За ее спиной проходили пассажиры, кто-то садился рядом, но она не оборачивалась. До тех пор, пока не заломило шею: тогда пришлось обернуться.

— Здравствуйте, попутчица,— улыбаясь, сказал седенький старичок в очках.

Клаве сразу полегчало, когда она увидела, что напротив сидит старичок, а не накальный молодой парень, который всю дорогу будет разглядывать ее в упор. Правда, молодой все же обнаружился, но не напротив, а возле прохода; он был в милицейской форме и казался интересным. А рядом сидела толстая бабища, отжимая Клаву рыжым боком к окошку. И еще была молодая женщина с несчастным лицом и при ней девочка лет десяти с сонными глазами. Все это Клава разглядела с чисто женской быстрой, одним взглядом, который тут же уперла в стол.

— Давайте знакомиться. Меня зовут Яковом Матвеевичем, а вас?

Клава хотела сказать, но сверкнула еще раз уголком глаза в интересного милиционера и сдавленно произнесла:

— Ада.

— Прекрасно,— продолжал Яков Матвеевич.— Рядом с вами — почтенная Полина Григорьевна, товарищ из милиции Сергеем представился, а это — Лидия Петровна с дочкой Оленькой.

— Ох, ей что Оленька, что Толенька,— горестно вздохнула мать.— Десять лет уж, а ни ума, ни разума, а мужа у меня нет, и когда помру — пропадет. Вот в Москву возила к профессорам, а они сказали, что безнадежно. Гены, что ли, не те.

— Все теперь генами объясняют,— сказал милиционер.— Мода такая.

— Не скажите,— вежливо не согласился старичок.— Ученые говорят о генетической усталости нации. Да это и понятно, коли вспомним, что на долю одного-двух поколений досталось. Тут и первая мировая, и гражданская, и голод с разрушкой, и коллективизация с индустриализацией, и культ личности, и Великая Отечественная. И все ведь — мы, этими вот руками, этой вот спиной, этим вот сердцем.

В проходе появился длинный худой старики с угрюмым лицом. Перед собою он нес большой чемодан.

— Здесь, что ли, тридцать седьмое место?

— Боковое,— сказал милиционер, посмотрев.

— Багон в кассе спутали,— сердито сказал старики.— Работают спустя рукава, а ты тащись через весь состав.

Ворчанье его никто не поддержал, а измученная женщина вздохнула горестно:

— Какие там гены, какие, когда пил он, проклятый, как верблюд, пока не помер. И меня пить за-

ставлял. Вот когда напьется, тогда и вспоминает, что я ему законная жена. Что же ты, говорю, ирод, меня только пьяным и замечашь, будто случайная я тебе женщина, говорю я ему. А он — пустой, говорит, я внутри, а выпью, так вроде интерес появляется.

— Брут они все, мужики то есть,— скрипуче ворвалась рыхлая баба.— Все, как есть, пьяницы, а брешут неизвестно чего, лишь бы им выпить поднесли.

— Да, с пьянством вопрос серьезный,— солидно сказал милиционер.— Так получается, что до восьмидесяти процентов преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Особенно на сексуальной почве.— Тут он покосился на Клаву, сказал «Гм!» и застенчиво примолк.

— Ну и что? — сердито спросил угрюмый старик.

— Как что? — растерялся милиционер.— Проблема.

— Проблемы надо решать. А чтобы решать, надо знать причины. И каковы же, по-вашему, эти причины?

— Причины? — Сергей помялся, опять искоса глянул на Клаву.— Разные причины.

— Богатые все стали! — опять с криком ворвалась Полина Григорьевна.— У всех денег — куры не клюют, потому-то водку и клащут.

— Странная метаморфоза в нашем сознании,— желчно усмехнулся старик.— В учебниках политграмоты, помнится, утверждалось, что в России пили от нищеты, а теперь одна из самых ходовых причин — хорошо стали жить. Ну да ладно, все же точка зрения. А вы что скажете?

Он спросил старишку в очках, того, что сидел напротив Клавы. Вопрос прозвучал резко, старишок вздрогнул, снял очки, долго протирал их, надел и только тогда ответил:

— Видимо, общее падение нравственности.

— Расплывчато. А падение чем объяснить? Вы кто по профессии?

— По профессии я пенсионер,— улыбнулся старишок.— А прежде был сельским учителем. Сорок три года безвылазно в одном селе.

— Коллеги, значит.

— Вы тоже учитель? — обрадовался Яков Матвеевич.

— Нет, тоже пенсионер,— усмехнулся желчный.— Продолжим игру во мнения? Вы какую причину пьянства усматриваете?

— Я? — Лидия Петровна обняла несчастного ребенка.— Вот мое мнение. Собрать бы всю водку да сдать на электростанцию — это ж сколько бы света она принесла!

— Прекрасно ответили,— помолчав, тихо сказал угрюмый старишок.— Вот, коллега, что значит крик души. Да. А вы что добавите?

Он обращался к Клаве, но Клава как раз в этот момент мыслями была далека. Так случалось с нею, когда разговор становился не очень понятным или малоинтересным. Она не рассыпалась, что к ней обращаются, и милиционер с готовностью подхватил:

— Ада, товарищ у вас спрашивает. Вы слышите, Ада?

— Что? Ах, у меня.... — Клава пожалела, что сгоряча назвалась Адой, но отступать было некуда.— А вот моя подруга так считает, что мы, женщины то есть, самый последний шанс. Что на нас все сейчас только и держится, и что если мы будем дружными и закотим, то мужчины тоже исправятся.

Довесок к словам пьяной Томки она досочинила тут же, потому что ей очень понравился молодой милиционер. И все засмеялись, но радостно, а потому и не обидно, и Клава засмеялась тоже впервые с того страшного вечера.

— Вот где истоки современной Лисистраты,— сказал угрюмый, переставший вдруг быть угрюмым.— Но мысль есть. Действительно, женщина — главное страдающее, а потому и главное действующее лицо.

Подошла проводница, спросила, будут ли пить чай. Все как-то примолкли, а милиционер Сергей вдруг вскочил и сказал, чтоб чай подавали всем и по два стакана. И добавил:

— Мы вам поможем. Правда, Ада?

И опять Клава завязла, не сразу сообразив, но, по

счастью, скоро очухалась. Милиционеру выдали поднос, кипяток тек маленькой струйкой, проводнице все время отвлекали, и они долго стояли перед титаном. Сергей рассказывал, что был в Москве награжден грамотой, а Клава ничего не рассказывала, но очень хорошо слушала, и тот раскаленный уголек, что жег ее сердце, постепенно подергивался теплом.

— А вы зачем в Пронск? — вдруг спросил он и смутился.— Я потому спрашиваю, что на кого-то вы похожи.

— А я из кино,— почему-то сказала Клава, а про себя подумала: «Ох, зачем же врешь-то, вредина такая?..» — Мы там кинофильм будем снимать на улице Кирова.

На улице Кирова жила бабка Марковна, а других улиц Клава не знала.

— Аристка, значит? — радостно заулыбался он.— Ну я же сразу сказал, что лицо знакомое!

Лицо у Клавы было, как у всех. И курточка — как у всех. И если модным считался красный цвет, то Клава металась в поисках красного, а если зеленый, то зеленого.

— Нет, что вы, я не аристка,— сказала она, покраснев и тут же почему-то вспомнив Липатию Аркадьевну.— Я ими заведую. Вот. Но, правда, иногда, знаете... Приходится подменять.

— Вот я и говорю! — обрадованно воскликнул он.— Конечно же, я вас в кино видел!

Тут пришла проводница и стала разливать чай. Потом Сергей понес нагруженный поднос, а Клава раздала стаканы и сахар. К этому времени общий разговор превратился в спор двух старишек, а остальные слушали, и народу в купе прибавилось. Какие-то две девицы пристроились на краешке полки, демобилизованный в мундире со значками стоял в проходе, остроносая старуха оказалась подле желчного старишки, солидный гражданин отставного вида примостился на Клавину полку, да так, что Клава едва втиснулась на свое законное место. А потом подошли еще какие-то любознательные, и даже проводница, разнесла чай по вагону, надолго застяла в их компании.

Скверно учим, из рук вон скверно, а точнее, так и вовсе не учим,— говорил старишок в очках, все более горячая и все более теряя благодущие.— Учитель стал непрестойной профессией, и где — на Руси! В народе, издревле жадно ищащем свет истины в темном царстве истории. А ныне приезжаю в Москву — дочь у меня преподаватель, правда, не в селе, как отец с матерью, но все же. И что узнаю? Муж ее, тоже педагог, бросил школу, ушел в комбинат бытового обслуживания и берет подряды на ремонт квартир и циклевку паркетов!

— Мало платят, потому и бегут,— сказал отставник.— Платите больше, и будет вам престиж.

— А за что платить-то, за что? — взвилась неизвестно чем обиженнная Полина Григорьевна.— Языком — ля-ля! ля-ля! А мальчишки все хулиганы. Тут штраф брать надо, а не платить.

— Вот считать мы учим,— подхватил старишок Яков Матвеевич.— И все больше, так сказать, вычитанию: того мало, этого мало, того нет, этого нет — только и слышишь. Вещи нас душат, вещный мир обернулся свинячьей харей и смеется над нами, как у Гоголя. И средства массовой информации вносят свою лепту: вспомните, с каким удовольствием весят нам, сколько мотоциклов и телевизоров в современной деревне, будто телевизорами и транзисторами можно заменить жажду знаний, потребность делать добро, трудолюбие, совесть, наконец.

— О совести — это вы вовремя,— усмехнулся желчный старишок.

— Да.— Старишок опять снял очки и очень старательно протирал их.— Вспоминал, говорим ли мы о совести, и не вспомнил. По-моему, совершенно не говорим. Стесняемся или разучились, отвыкли и уж не ведаем, как к этому чувству подойти.

— На танцплощадку так лучше и не ходи,— вдруг очень быстро сказала одна из девушек.— Такое безобразие творится, такое безобразие. И куда милиция смотрит?

— Так нельзя же к каждой девушке по милицио-

неру прикрепить.— Сергей улыбнулся, заглянув Клаве в глаза.

— А совести и не нужна никакая внешняя сила, потому что совесть — это и есть сила. Духовная сила человека, основанная на глубочайшей убежденности.— Желчный старик говорил непривычно медленно, неторопливо подбирая слова, но все молчали, слушая.— Вопрос о пределах совести, о борьбе ее с волеизъявлением личности очень занимал наших предков. Тут вам и Родион Романович с топором, и князь Неклюдов с метаниями, и Мерьер, и так далее, и так далее. И здесь важно, что совесть — это ваша, личная сила, она не принадлежит ни государству, ни обществу, ни семье — только вам. Не по этой ли причине борения личной совести исчезли из нашего сегодняшнего искусства? Мы толкуем о выполнениях и перевыполнениях, о трудах и сомнениях руководителей всех степеней, но совесть-то у них, как правило, помалкивает. Главное — вовремя выполнить приказание: ведь план — это тоже приказание. И его выполняют во что бы то ни стало, ибо за выполнение дают премии и прочие реальные блага. Ну, а там, где господствует «во что бы то ни стало», там уже не до совести. Там она из госпожи человеческой превратилась в служанку, в «чего изволите» превратилась. И незаметно, тихо, без терзаний Достоевского и размышлений Толстого понятие совести заместилось понятием «цель оправдывает средства». А закон достижения цели во что бы то ни стало — очень страшный закон. Страшный своей торжествующей и окончательной безнравственностью: высокой целью и любые жертвы оправданы — от десятков миллионов загубленных жизней до детской слезы. И спать буду спокойно, ибо совесть направлена ныне вовне человека, на общество в целом, а не на спасение одной единственной души, что уже тысячелетия является альбомом и омегой общечеловеческой культуры.

Он замолчал, хлебнул остывшего чаю. Все молчали тоже, и многие хмурились, с трудом усваивая сказанное. Только рыхлой Клавиной соседке все было ясно:

— Верно говоришь, верно, бога забыли!

— Бог здесь, гражданичка, ни при чем,— усмехнулся желчный пассажир.— Я атеист и по форме и по сути и совесть с богом никак не связываю.

— Безобразия много стало,— сердито и очень обиженно сказала проводница.— В поездах пьют, дерутся, девчонок обзывают.

— Женщины тоже, знаете, стыд потеряли,— ханумилась Лидия Петровна.— И курят, и пьют, и штаны носят; сзади не разберешь, девчонка это или парень.

— Сейчас сила все решает,— вздохнул демобилизованный.— Кто силен, тот и прав.

— Без знакомых ребят в кино уж давно не ходим,— сказала вторая девушка.— А вечерами так страшно, так страшно!

— Вот оно, главное-то слово, вот оно! — в непонятном восторге закричал отставник и даже с удовольствием потер ладонью о ладонь.— Бесстрашно стали жить, вот вам и нарушения, вот вам и проступки. И ничем вы человека от проступков не удержите, если боязни у него нет. Думаете, он суда боится? А чего ему суда бояться, когда он точно знает, что его все равно через год, много — два, условно освобожденным объявит и пошлют работать в народное хозяйство, «на химию», как они выражаются. Нет, вы настоящий страх вселите, чтоб пот прошибал, чтоб поджилки затрясились!

— А как? — спросил старичок в очках.— Как вы себе это представляете?

— А как в старину,— тотчас отозвался собеседник, для которого ответ был, видимо, давно продуманным.— Око за око, зуб за зуб. Убил, скажем, ножом, и его — ножом да публично, на площади. Избил, скажем, и его тем же макаром.

— Украд — руку по локоть на лобном месте,— подхватил желчный.— Задержались вы с рождением, вам бы в тринацатом веке родиться.

— Я, когда надо, тогда и родился, и вы мне не указ,— обиделся отставник.— А что демократии много, это точно, молодежь совсем от рук отбилась.

— Душу спасать надо, душу,— вздохнула старуха.— Раньше, говорят, по святым местам бродили, душу спасая, а теперь — за колбасой.

— Душу спасать — тоже рецепт,— сказал худой старик.— У каждого свое лекарство, а это значит, что нравственность наша больна серьезно. Она ведь не просто рушится — она не может рушиться, безнравственных обществ не бывает,— она откатывается, что куда опаснее. Она отступает в историю, предавая то, что трудом, горем, страшным напряжением всех сил было когда-то завоевано. Вы, коллега, правильно обратили внимание на торжествующую вещь нашей повседневности и, мало того,— нашу радость по этому поводу. Эта победа материального начала, этот приоритет вещной цивилизации над духовной культурой и есть первопричина отступления нашей морали во времена абсолютизма, в послепетровские десятилетия, если хотите.

— А от вас мы рецепта не слышали,— сказал старичок в очках.— Исповедуете что или только причины разъясняете?

— Исповедую,— серьезно подтвердил суровый пассажир.— Я верую в личную свободу. Не в свободу личности — она гарантирована государством,— а в личную духовную свободу, которой каждый может и должен достичь. За всю нашу историю пока трем революционным группам удалось подняться — каждой своим путем — до этой свободы: декабристам, народовольцам и большевикам. Они презрели все блага цивилизации, всю вещность мира, всю сословную, религиозную, национальную и имущественную ограниченность, всю несвободу и пришли к свободе.

В конце вагона тренькула гитара, послышались веселые молодые голоса. И тотчас же кто-то невидимый строго предупредил:

— Тихо! Здесь люди разговаривают!

— Когда ж это было,— завистливо вздохнул демобилизованный.

— Это еще будет. Было для подвижников, для избранных — будет для всех. А для этого нужно выдавать из себя раба. Раба вещей, квартир, высоких окладов, личных машин, престижа, тщеславия, честолюбия и начальников всех рангов. Выдавим этот гной холуйский из себя и из общества — значит, опять людьми станем, теми, кто считал себя хозяином земного шара, у кого была собственная гордость. Вот тогда и нравственность вернется. На новом витке, на новой ступени...

— Утопия...

— Бога вы еще вспомните! Ох, вспомните!

— Женщину уж и за человека не считают...

— Демократию развели. Сажать, сажать, сажать, как когда-то!

Шумели в вагоне, спорили, отстаивали свое, потому что вопрос коснулся больного, язвы, что свербела у каждого, и каждый возопил. Каждый — кроме Клавы Сомовой. Она давно уже утеряла нить разговора и слушала не пассажиров, а себя, думая, какая же она счастливица, что села именно в этот поезд, именно в этот вагон, именно на это место. Она то и дело украдкой поглядывала на милиционера Сергея, ловила его взгляд, тихо улыбалась, и вместо обжигающее уголька в ней светилось сейчас счастье. И ожидание прекрасного завтра, навстречу которому с грохотом летел их поезд.

12.

В Пронске поезд стоял одну минуту, и из их вагона сошли только Клава да Сергей, чьему Клаве очень обрадовалась. Городок начал когда-то расти возле вокзала и за ним был почти сплошь деревянным: кирпичные здания появлялись только на окраинах, возле механического завода и ткацкой фабрики, да в центре стояло несколько каменных домов, принадлежавших некогда местному купечеству. Все это Клава узнала от словоохотливого милиционера, который тащил ее чемодан. Им, как выяснилось, было по пути, так как милиция и гостиница размещались рядом.

— Это теперь — гостиница, а прежде был Дом колхозника. А вообще все общественные здания у нас в центре, кроме телеграфа. Его на отшибе выстроили, возле парка: хотели там центр закладывать, но потом решили все по-старому оставить.

Расстались они у маленькой одноэтажной гостиницы: напротив и вправду была милиция. Сергей сказал, что весь день будет там («на службе», как он выразился), и важно оставил номер телефона:

— Если помочь понадобится. И вообще... Может, увидимся?

— Я позову, — туманно сказала Клава, порозовев от удовольствия.

А в гостинице мест не оказалось. То есть свободных номеров было куда больше, чем желающих переночевать, но цены не соответствовали Клавиной зарплате, а коечку в общей комнате администратор не давала, утверждая, что все они сплошь забронированы. И, едва выяснив это, Клава очень обрадовалась, заулыбалась и попросила разрешения позвонить по телефону.

— Засекайте время, через двадцать минут буду! — бодро ответил Сергей.

Клава засекла, а он пришел через пятнадцать, и койка сразу нашлась. Даже с суровыми администраторами Сергей разговаривал так легко, что и они повеселились. И Клава нисколечко это не была неприятным, а наоборот, она очень гордилась, что Сергея все знают и все хорошо к нему относятся. Мама всегда говорила, что хороший человек заметнее плохого, и теперь Клава могла убедиться, как мама была права.

— Как рана-то твоя? — участливо спросила старшая, которая с Клавой даже не пожелала разговаривать.

— Да какая там рана. Так, царапина.

— Это ножом-то царапина? Значит, он тебя резал, а ты его держал?

— Ну, не совсем. — Сергей смущался, говорил, набычиваясь, а Клава обмирала от гордости за него. — Он только раз ударил, а потом я прием применил.

— А сколько ему дадут?

— Это суд решит. Наше дело — обезвредить.

Разговор этот возник, когда Клава оформлялась. Потом Сергей отнес в номер ее чемодан, и она кое-что выложила на тумбочку возле кровати, чтобы было видно, что занята. Клава очень боялась, как бы администраторши не спросили ее имя, но они глядели на милиционера.

— Отчаянны ты парень, — сказала старшая на прощание. — Только вы, девушка, все же вечером одна не ходите.

Они вышли из гостиницы и остановились на крыльце. Выглянуло солнышко, ветер сник, и стало совсем тихо. Клава блаженно жмурилась и никуда не хотела идти, а милиционер Сергей маялся, поскольку должен был вернуться «на службу». К тому времени они как-то незаметно перешли на «ты». Клава совершенно освоялась и даже начала немного кокетничать.

— Кирова недалеко, — в который раз объяснял Сергей. — Три квартиры прямо, а потом налево, к реке.

— А ты боялсяся, когда бандита хватал?

— Так я же на службе, — некогда пояснил он.

— А бандит очень страшный?

— Обыкновенный. Второй, пожалуй, пострашнее.

— Какой второй?

— Который еще не пойман. Понимаешь, завелись тут у нас крупные акулы, кулиганье местное начали подпинать, к рукам прибирать. Ну, одного мы взяли — за него и грамота, — знаем, что есть еще один, а где?

— А та, старшая администраторша, правду сказала, что по вечерам у вас опасно?

— Ну, как тебе сказать? — Сергей нахмурился. — Конечно, граждане, а гражданки особенно, всегда преувеличивают. Но главного мы еще не взяли, и кто он — неизвестно, потому что ни фотографом, ни сло-весным портретом мы не располагаем.

Он замолчал и вздохнул, переложив в другую руку Клавину авоську с подарками бабке Марковне. Клава видела его насквозь и прекрасно знала, какой он

скромный и замечательный парень, и как она, растила Клавка Сомова, нравится ему. И млада от счастья.

— А что у тебя там, на Кирова-то? Может, я знаю, подскажу.

— Так, для кино. — Клаве не хотелось рассказывать о Марковне, о ежемесячных десяти рублях: этоказалось такой мелочью сейчас. — Так что же, мне лучше не ходить по вечерам?

— А куда тебе ходить? В кино, например, или в Дом культуры — так со мной можно. Если, конечно, ты не против.

— Я не против, — улыбнулась Клава. — А когда?

— Либо сегодня, либо послезавтра, потому что завтра я дежурю.

— Лучше сегодня, но я не знаю, что будет у меня на Кирова. Ты можешь позвонить в гостиницу, и там скажут, пришла я или неизвестно где.

Этой договоренностью о встрече как бы исчерпалась тема их беседы. Надо было отдавать Клаве сумку и спешить на службу, но милиционер медлил. Уж очень ему не хотелось расставаться, уж очень нравилась ему эта застенчивая попутчица, уж очень важной казалась их случайная встреча.

— А ты в вагоне молчала, — сказал он, пытаясь вновь завязать разговор. — Знаешь, я тоже молчал, потому что тот старик — умный, а с такими надо спорить, хорошо подковавшись. Но я с ним в принципе не согласен. В принципе. Ты помнишь, что он предлагал? Какую-то личную свободу в себе воспитывать, будто у нас свобод мало.

— Помню, — кивнула Клава, думая, что зря она до сих пор не сознавалась, что никакая она не Ада. А может, не зря??

— Это опять же о себе беспокойство, так выходит? А вся наша беда как раз в том, что у нас — каждый о себе и мало кто за всех. Ну, конечно, я преувеличиваю, заостряя вопрос, ты же понимаешь, но эгоизма стало невозможно сколько. А нравственность можно поднять на новый уровень только одним способом: если каждый смело и до конца включится в борьбу с отрицательными явлениями нашей жизни лично, если сам начнет воевать везде и всегда, если дружно, как в Великую Отечественную...

Он вдруг замолчал, и широкие, добродушно разбросанные брови его строго поехали к переносу. Глядел он теперь куда-то мимо, за Клавино плечо; Клава обернулась и увидела двух парней — плотного здоровяка в низко надвинутой на глаза шляпе и высокого белобрового с мягким, безвольным лицом.

— В буфет наладился, Виктор?

— А что? — с вызовом спросил белобрысый. — Нельзя, что ли?

— Можно, только зря: алкогольные напитки проходят с одиннадцати. А если Вера тебе по знакомству стаканчик под прилавком нальет, я ее привлеку, так и передай. Кто это с тобой?

Вопрос был задан в упор, и плотный в шляпе хмуро ответил:

— Приезжий.

И пошел мимо, не оглядываясь. Белобрысый Виктор потоптался, промямлил что-то и бросился догонять.

— Наследство получил, — с презрением сказал Сергей, глядя приятелям вслед. — Деньги ему бабушка оставила, он все до копейки пропил, а теперь собутыльников ищет. Откуда же приезжий-то этот, а? — Он озабоченно поглядел на Клаву, протянул авоську. — Мне на службу. Договорились, Ада?

Клава легко отыскала дом бабки Марковны, будто и не в первый раз была в нем. Неказистый домишко в три окна с маленьким палисадничком, в котором доцветали прихваченные первым морозцем поздние астры. Из-за дверей шум какой-то слышался, голоса. Клава потопталась на крыльце, послушала, а потом поступала. Не сильно, но дверь сразу же открыли, будто стояли тут же, за нею. На пороге оказалась полная женщина в мамином возрасте. И спросила, как, бывало, мама подружек спрашивала:

— Ты чья?

— Я? — Клава растерялась. — Я из Москвы. Мне к бабушке Марковне.

— К Марковне? — Женщина посторонилась. — Ну, входи. А чья же будешь-то?

— Я? Сомова я. Клавдия...

— Обожди, обожди. А Маня Сомова?

— Это моя мама. Она умерла, а мне велела каждый месяц бабушке Марковне высыпать десять рублей. А сейчас у меня отпуск, и я хотела познакомиться...

— Эй, народ! — закричала вдруг полная женщина. — Леня, Люба, Дуся, Шура, Коля! Манечкина дочка приехала!

Мигом высыпали немолодые, седые, полные женщины и мужчины, и тесные сенцы набились до отката, и все шумели, вертели Клаву, целовали, обнимали, всплакивали, трясли за плечи.

«Ну, выпитая Манечка!.. Померла?.. Ах ты, господи!.. Ну, молодец, что приехал... Как зовут-то тебя? Клавдия?.. Клавочкой ее зовут. Клавочкой, слышите?..» А потом, когда все чуть притихли, мужчина — седоватый брюнет, ужасно интересный, Томка близко влюбилась до беспамятства — сказал тихо:

— Марковна наша умерла, Клавочка. Ровно сорок дней назад умерла, сегодня отметить собрались.

Потом повязанная фартуком Клава чистила на кухне овощи, но слезы капали совсем не от лука. Открывшая ей дверь полная женщина, которую звали тетей Раей — Клава и не знала, что у нее столько родственников: тетя Рая, тетя Дуся, тетя Шура, тетя Люба да два дяди — дядя Леня (седой и интересный) и дядя Коля. Да четверо еще живут в других городах и не смогли приехать на поминки.

— Одиннадцать нас у нее было, — рассказывала тетя Рая: она постоянно жила с Марковной и была хозяйкой дома. — И всех она на вокзале подобрала либо сами мы к ней доползли, как твоя мама.

— Да, шумное у нас детство было, голодное да холодное, а все равно самое лучшее. Правда, девочки?

— Правда твоя, Шура.

— Кто только за столом не сидел, кто только в общий чугун своей ложкой не лазил! Мы с Шурой из Белоруссии прибежали, Манечка — из Смоленщины, Коля — из Ленинграда, Люба да Дуся — с Новгородчины, а Леня вообще из тabora пришел и громоте не знал, только плясать и умел. Мы с твоей мамой старшие были, а остальные — мелкота.

— Мама Рая и мама Маня, — грустно улыбнулась тетя Люба.

— А как же я-то ничего не знала! — всхлипнула Клава. — Почему же мне мама ничего не рассказывала?

— Почему?

Переглянулись женщины.

— Обидели ее, — тихо сказала тетя Шура. — Сильно обидели. Голодно было очень, а мы росли, как на дрожжах, и одеть-то нас не во что: в школу в матерчатых тапочках всю зиму бегали. Вот наши старшие — мама Рая да мама Маня — и пошли работать. А где работать-то? Это сейчас тут и ткацкая фабрика, и механический завод, а тогда только и было работы, что вагоны на станции разгружать.

— И как это она родить-то тебя смогла, девочка, — вздохнула тетя Рая. — После тех-то мешков...

Все притихли, беззвучно вытирая слезы. Клава обеждала немного и спросила:

— А с мамой что случилось?

— Обидели ее, — строго повторила тетя Шура: она вообще выглядела построже остальных. — В ночь пошла — ночью больше плакали, — а Раю занемогла, и она одна пошла. А вернулась вся в синяках. Месяц болела, а потом сказала, что уйдет. Что не жить ей тут, что не может позора снести и уедет отсюда. И уехала. И не писала ни разу, только что деньги регулярно.

— Гордая она была и самостоятельная, — вздохнула тетя Дуся. — Даже деньги без обратного адреса посыпала.

— Мы не могли больше, — давясь от слез, сказала Клава. — Вы простите нас.

— А мы присланных денег не тратили, — сказала

тетя Рая. — Все нам высыпали, не только ты с мамой, а нас тут трое оставалось: я, Дуся да Шура. И Марковна все переводы клала на книжку. А перед смертью волю свою сказала, чтоб все эти деньги отдать внукам, то есть сыновьям и дочерям приемных детей ее. На ученье, сказала. Мол, виновата, не смогла детям образование дать, так чтоб хоть внуки учились. А таких внуков у нее шестеро с тобою вместе: мы ведь знали, что у Мани — девочка. Леня у нас один с образованием, юридический заочно прошел, так он тебе объяснит, как деньги эти получить...

— Нет! — вдруг крикнула Клава и затряслась головой, разбрзгивая слезы. — Нет, нет, нет, ни за что! Это... Это все — на памятник. Бабушке на памятник. Чтоб всех выше, чтоб как пример...

Ее затрясло, забило, новоявленные тетки со всех сторон бросились, обласкали, наложили лекарством, уложили в тихой комнате. Она пригрелась, успокоилась и уснула, потому что в поезде совсем не спала, а только дремала немного. А здесь, в комнате, в которой, может быть, когда-то спала мама, замечательно выспалась, и тетя Рая разбудила ее к столу.

— Вставай, доченька. — И поцеловала, как мама. — Уж все готово, уж собрались, даже этот оборот пришел, Дусин сын. Не иначе, чтоб напиться на дармовщинку. Ох, безголовый, ох, хлебнула с ним Дуся!..

В большой комнате, где когда-то спали вповалку «дети» бабки Марковны, за накрытым столом сидели пришедшие и приехавшие. Старших Клава знала, а с молодыми — сыном тети Дуси и дочерью дяди Коли — виделась впервые. Впрочем, не впервые: когда белесый парень лениво бормотнул: «Виктор», она вспомнила крыльце гостиницы, двоих, что рвались поклониться, и озабоченность Сергея. Виктор оказался сыном названой сестры ее матери, а значит, родственником и ей, Клаве, и это ощущалось неприятно, хотя она очень жалела тетю Дусю и всячески старалась быть приветливой с ее беспутным сыночком.

А поминки совсем оказались не похожи на поминки, как их представляла Клавдия. Она ожидала некой вздыхательной скорби и потому накинула темный платок, который везла в подарок бабке Марковне. Но сидевшие за столом, торжественно и строго помянув свою Марковну, начали вспоминать веселое и озорное в их голодном, разумом и раздевтом военном детстве. И радостно смеялись и кричали через стол: «Ленька, ты помнишь?.. Любя, а ты знаешь?..», и всем было легко и весело, кроме, может быть, белобрысого Виктора, который молча и жадно пил, тяжело и глупо пьянея. Он сидел наискось, через угол стола, пиялся на Клаву, но как-то странно, словно без интереса, и Клаве это было вдвойне неприятно. Особенно, когда он спросил:

— А ты чего с этим мильтоном на крыльце стояла? Знакомый он тебе, что ли?

— Знакомый, — с вызовом сказала Клава. — Жених он, вот кто, понятно?

И тут же шепотом суеверно призналась сидевшей рядом Светке, что никакой он, конечно, не жених, но пусть этот противный Витька отвяжется. И Светка все поняла, а потом их послали за капустой и огурцами, и Клава рассказала, как они с Сергеем познакомились. Света вообще ей сразу понравилась, и она очень обрадовалась, что у нее такая живая, веселая и смелая — Света работала медсестрой в травматологии — сестренка.

Поминки затянулись; расходились разом, по-своим подсобив все перемыть, убрать, расставить по местам. Клава старательно помогала, где могла, не дожидаясь, пока попросят, думала о Сергееве, но сегодня свидание никак не могло состояться. И она, покрутившись, отложила это свидание почти на две суток: до послезавтра, когда он будет свободен. А сама осталась в доме бабки Марковны.

— У нас, Клавочка, девушки по вечерам не ходят.

Приезжие ночевали в родном гнезде, и Клаве пришло спать с тетей Раей в той комнате, куда уложили ее перед обедом. И тут как-то так само собой получилось, что она все-все рассказала — и про утреннюю сводку, и про умницу Леночку, и про предательницу Наташу, и про несчастную Липатию Ар-

кадьевну, и про саму Людмилу Павловну, и даже про то, какая она подлая, что от ребеночка избавилась,— ну, про все, все решительно, кроме, конечно, слесаря. Вот про него она даже тете Рае не могла рассказать, хоть режьте ее на куски. Это было такстыдно, так противно, что ей делалось жарко внутри.

— А зачем тебе Москва эта? — спросила тетя Рая.— Во всем доме я одна теперь. Мужа приведешь, и ему места хватит.

— Ой, тетя Рая.

— Что — ой? Замуж выдадим, на свадьбу всех со-зовем — опять весело. А работа не вопрос. Мы с Шурой не последние ткачики на фабрике.

— А Липатия? — робко спросила Клава.

— А тетя Дуся на что? Дуся у нас почтой заведует, неужто не поможет? Звони в Москву, пусть собирается. Ты чего не раздеваешься? Спать пора, доченька, завтра спозаранку — за труды.

Клава стояла полураздетая, не зная, как поступить со строгим наказом Липатии Аркадьевны. Но все так изменилось, что никакие наказы уже действовать не могли; Клава стащила с себя поясок, вынула из по-тайного карманчика отпускные деньги и положила на тумбочку:

— Вот, тетя Рая. На расходы.

13.

Клава проснулась среди ночи от счастья. Счастье не было сосредоточено в какой-то определенности — это было счастье вообще, им заполнилась вся комната, весь сияющий дом покойной бабушки Марковны и весь огромный мир за его пределами. Это было одновременно и ощущение счастья и предчувствие его, потому что сама ее жизнь — жизнь Клавы Сомовой — и была этим счастьем. Рядом с нею, изредка вздыхая и жужа сухими губами, спала тетя Рая, за дощатой перегородкой слышался мощный храп дяди Коли, а Клава улыбалась в темноту и не вытирала слез, которые ласково ползли по щекам. «Отчего же это? — думала она.— Будто мама рядом и будто никто еще не обижал. Все, все позади, в другом мире, на другой планете. А я — здесь, у меня есть тети и дяди, и может быть, я буду называть тетю Раю мамой Раей, если она позволит. А еще в этом мире окажется счастливая Липатия и начнет продавать газеты в стеклянном киоске, а в газетах напечатаны одни только радости, и все говорят: «Спасибо вам, Липатия...» Нет, тут не может быть Липатии Аркадьевны, а есть Евлампия Авдеевна, и люди скажут: «Спасибо вам, Евлампия Авдеевна, за прекрасные но-вости...» А рядом — Сергей в красивой форме регулирует движение и порядок. И больше не будет пьяных, и будут рождаться здоровые дети, и все женщины станут удивительно красивыми. Дети. Девочки и мальчики, только девочки обязательно должны рождаются первыми, чтобы помочь маме. Вы думаете, просто вырастите ребенка? Ого-го, еще как непросто, потому-то и рожают еле-еле одного. А у меня будет...»

До этого мгновения Клава думала сквозь нежную теплую дрему, в которой все улыбалось и все счастливо путалось. Но зацепившись за детей, закружилась, завертелась, хотела что-то поймать, что-то додумать и окончательно прогнала тихо подкравшийся сон. И вместо него пришла мысль, такая ясная, что Клава стала еще счастливее, чем была мгновение назад. В самом деле, если первой непременно должна родиться девочка и уже есть тетя Рая и еще не- сколько теть, то зачем искушать судьбу? Во-первых, мальчик может обогнать девочку и явиться на свет раньше, а, во-вторых, когда еще Сережа сделает ей предложение? Куда как проще пойти в детский дом и выбрать себе девочку — только непременно Леночку! — а когда она подрастет, рожать, сколько можно прокормить. Валерика, потом девочку... Ирочку, конечно же — Ирочку! И еще одного — Дениску. И будет у них четверка: Леночка, Валерик, Ирочка и Дениска. И надо успеть их поставить на ноги, пока они с Сережей еще молоды, а тети не совсем уже старенькие. И еще... Еще завтра же об этом рассказать тете Рае — она поможет выбрать Леночку! — и Сереже. Надо, чтобы всегда была одна мечта, то-

гда семья — навсегда. И поэтому ничего не надо скрывать, особенно — детишкам. А он поймет, потому что веселый. И они вместе пойдут в детский дом. Нет, только не завтра: завтра он дежурит. После завтра. Послезавтра, послезавтра, после...

И тут Клава опять уснула да так крепко, что разбудили ее к завтраку. Тетя Рая уже ушла на работу, а ей велела перетащить свои вещи из гостиницы. Так начался день, и выдался он таким солнечным, ласковым и теплым, какие редко случаются поздней осенью в нашей неласковой стороне.

И все же, как ни хотелось Клаве поскорее перебраться к тете Рае и тем самым начать отсчет своей новой жизни, она не понеслась за вещами сломя голову. Она нагрела воды и неторопливо выскребла весь дом от порожка до последнего сучка в последней стене. Правда, ей помогала Светка, но при этом так боялась за свои пальчики, что Клава держала ее для легких работ — поднести да отнести — и еще для рассказов. Светка послушно таскала ведра и болтала. И только когда все было отдраено, Клава занялась личными делами.

По дороге в гостиницу Клава зашла на почту, где командовала тетя Дуся. Тетя была очень занята и чем-то озабочена, но тем не менее твердо обещала стеклянную мечту для Липатии.

— Пусть едет, без работы не оставим.

Клава с детства была приучена дотягивать до полочки на копейках, а потому по дороге в гостиницу обдумывала, как ей быть. Вчера она заплатила за сутки, но поскольку в гостинице не ночевала и постелью не пользовалась, то и попросила старшую администраторшу вернуть ей деньги. Администраторша с утра была не в духе, начала говорить обидные слова в повышенном тоне, но Клава тихо и спокойно доказывала, зачем же ей платить, если она ночевала совсем в другом месте. Потеряв на этом добрый час и ничего не добившись, она высказала свою точку зрения на справедливость, забрала чемодан и поволокла его на улицу Кирова в отныне свой дом. Ей очень хотелось сообщить все ослепительные новости Сергею (а также насчет поисков в детском доме девочки Леночки), и она некоторое время постояла на крыльце гостиницы — там, где вчера стояла с Сергеем, раздумывая, не зайти ли ей в милицию, но потом решила, что это уж слишком, что нечего самой бегать и суетиться и что Томка абсолютно права, когда говорит, что их надо томить. И решив так, потащилась на улицу Кирова.

Там опять варили да парили, потому что сегодня все иногородние уезжали вечерним поездом. Клава бросила чемодан, подвязала фартук и включилась. Настроение у нее было певучим, и все, что касалось ее рук, пело и улыбалось.

— Умница, доченька, — похвалила тетя Рая, забыв попрощаться.— Вот вам молодая хозяйка, а нас с Шурой простите. Митинг на ткацкой, знамя вручают, а я — в президиуме.

И Клава осталась за хозяйством. Не за ту, о которой вспоминают, починив кран: «Эй, хозяйка, погляди работу!», и даже не хозяйку вечера, принимающую Томку с Липатией,— нет, она осталась полноправной владычицей и дома, и семьи, и дорогих гостей, и традиций, и памяти. Всего, что вмещает в это слово женщина, что чудо как преображает ее, наделяя радушием и властностью, добротой и расчетливостью, достоинством и терпением.

— Тетя Любя, дайте я заменю вам тарелку. Дядя Леня, кажется, вы забыли налить вино. Света, положи отцу капусты, она ведь нравится вам, правда, дядя Коля? Тетя Зоя, вот огурчики. Чудные огурчики, верно?.. Что с вами, тетя Дуся? — Села рядом, обняла за плечи.— И не ели ничего.

— Не пришел он, видишь, — шепотом, глотая слезы, сказала тетя Дуся.— Ах ты, господи, вот наказанье-то. Думала, хоть сюда придет, на вино польстится.

— Ну и наплевать! — сердито сказала Клава.— Подумаешь, цаца какая, Витька этот. Не маленький, не пропадет.

— Пропадет... — заплакала мать.— Клавочка, милая, он же... Он получку мою украл. Всю, до копееч-

ки, потому и не пришел, пьет где-то. А водка до добра не доведет.

— Украд? Всю получку? Ну, попадись он мне только! Ну, я за него возьмусь! Тетя Дусенька, не горюйте, мы с Сережей...

— Ты милицию не впутывай,— решительно перебила тетя Дуся.— Мы уж сами, по-родственному.

— А я про что? И я — по-родственному,— сказала Клава и помчалась на кухню за вторым.

Потом дружно мыли посуду, а прибравшись, пошли на вокзал, не дождавшись ткачиков. Но и без них все прошло замечательно, все распрощались, расцеловались, помахали руками; поезд ушел, и на перроне остались тетя Дуся и Клава.

— И зачем тебе телефоны эти? — недовольно вздохнула тетя.— Только зря деньги тратить. Лучше письмо написать.

— Очень уж похвастаться хочется.— смущенно улыбнулась Клава.— Ну, кто я была такая? Так,

бездонная растяпа. А теперь у меня родственников — все обзавидуются! — И она поцеловала новую тетку.

— Ладно уж, лисонька.— Тетка была очень довольна.— Только уговор: своих в милицию не впутывай. Ему до армии полгодочки осталось, зачем же биографию портить?

— Но он ведь украд...

— Не в первый раз,— скорбно поджалла губы тетя Дуся.— А дело это семейное.

— Потакаете вы ему, а воспитывать надо строго.

— Отца у него нет, и полгодочка осталось,— умоляюще повторила тетя Дуся.— А в армии исправят. Дисциплина.

— Ладно уж,— вздохнула Клава.— Но дома я ему всыплю. По-семейному!

И побежала на телеграф. Тот самый, от которого намеревались перестраивать город, как от центра, а потом пожалели денег. И современное здание оказалось среди глухих заборов и однотажных домишек за городским парком, уже закрытым на осенне-зимний период.

— Москва после двадцати двух,— сказала телефонистка.

— Так поздно?

— И в течение часа.— Телефонистка не отрывалась от книги, которую читала со вниманием.— Будем оформлять? Телефон в Москве?

Клава собиралась уходить, но требовательное: «Телефон в Москве?» заставило ее без задержки пробормотать телефон Леночки — один лишь домашний телефон, который она знала.

— Три минуты. Сколько с меня?

Расплатившись, Клава оглянулась. Небольшой зальчик был пуст, только на единственной скамье сидела худенькая востроносая девчонка с распущенными светлыми волосами в куцем, каком-то подростковом пальтишке. Было в ней что-то трогательно перепуганное, и Клава сразу уселись рядом.

— Звонить?

— Жду.

Голос у девчонки был под стать цыплячьему виду: тонкий и дрожащий. Клава ободряюще улыбнулась:

— Ну, что съежилась? Куда звонить собралась?

— Маме.

— Это я сообразила. А куда маме?

— В Москву. Я на практике тут. Третий день.

— Учишься где?

— Страшно,— сказала девчонка и доверчиво взяла Клаву за руку.— Вы меня, пожалуйста, не бросайте. Я раньше не думала, что может быть так страшно.

— Ну-ка, выкинь все из головы,— строго сказала Клава.— Что такое «страшно»? Это только ощущение. Ощущение, и все, как холод или жара. Ты же можешь в тонких колготках в мороз на танцы пойти? На мужчин и смотреть-то потешно, как укутались, а ты идешь себе, каблучками постукиваешь, и хоть бы что. Как будто на улице июль. Скажешь, и неправду говорю?

— Хочешь быть красивой — терпи.

— Молодец. Как тебя зовут?

— Лена.

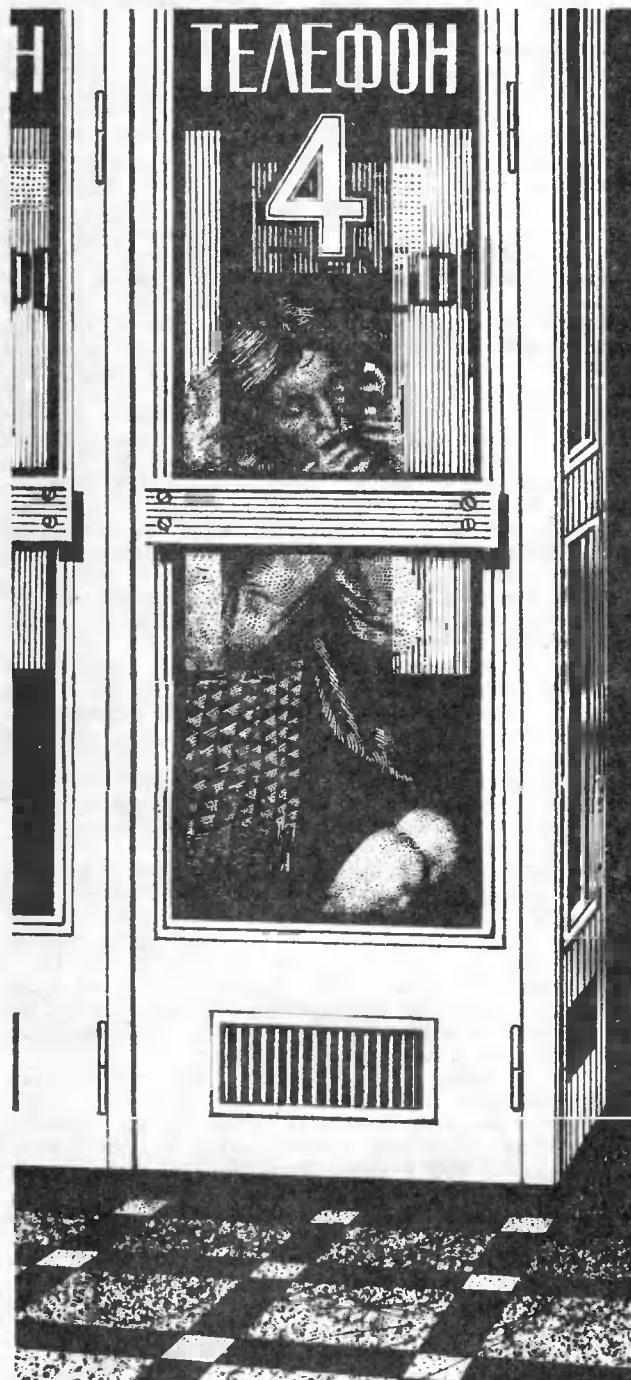
— Как? — Это показалось нарочным, как ложь; Клава решила, что услышала.

— Елена. Я в библиотечном учусь, думала, что Пронск — это рядом, всего ночь ехать, а тут ужас какой-то.

— Опять? — совсем как когда-то мама, спросила Клава и подумала, что спросила так потому, что — надо же! — такое совпадение имен.— Я тебе зря, что ли, про мороз рассказывала? И ты верно отреагировала: хочешь быть человеком — терпи.

— Красивой,— поправила некрасивая практикантика.

— Человеком важнее. А еще важнее — глушить в себе всякие ненужные ощущения. Холода, а ты — в чулочках, и нос кверх. Страшно, а ты — вперед. Вот у меня... — она запнулась, — жених, так он орденом награжден, потому что без всякого оружия задержал бандита. Я — ну, прямо, как ты сейчас! — страшно, говорю? А он: им, говорит, в тысячу раз страшнее, потому что кругом-то люди. Люди кругом,



понимаешь, глупышка? Они одни среди людей, и им — жутко страшно, вот и все. Ты пойми это и сразу перестанешь трусить. Ты в библиотечном, говоришь? Интересно? Я жутко книги люблю, и у меня есть, только мало, я на макулатуру выменяла. Ты мне лучше про книжки расскажи, а не про страх.

— А что рассказывать? У нас сейчас — учет и комплектация технической литературы. Уголок рационализатора или там новая техника. Ну, периода, всякие справочники... Кто это веет так, а?

— Да не трясишь ты, вот смешная. Ну, ветер. Ветер поднялся, понимаешь?

— Девушка! — крикнула телефонистка.— Мама у телефона! Четвертая кабина.

Библиотечная практиканта ринулась в кабину. Сквозь тонкие стенки было слышно, как долго она кричит: «Алло! Мама! Мама! Мама!..» А потом, видно, маму подключили, потому что девчонка сразу ударила в рев. И Клава очень рассердилаась.

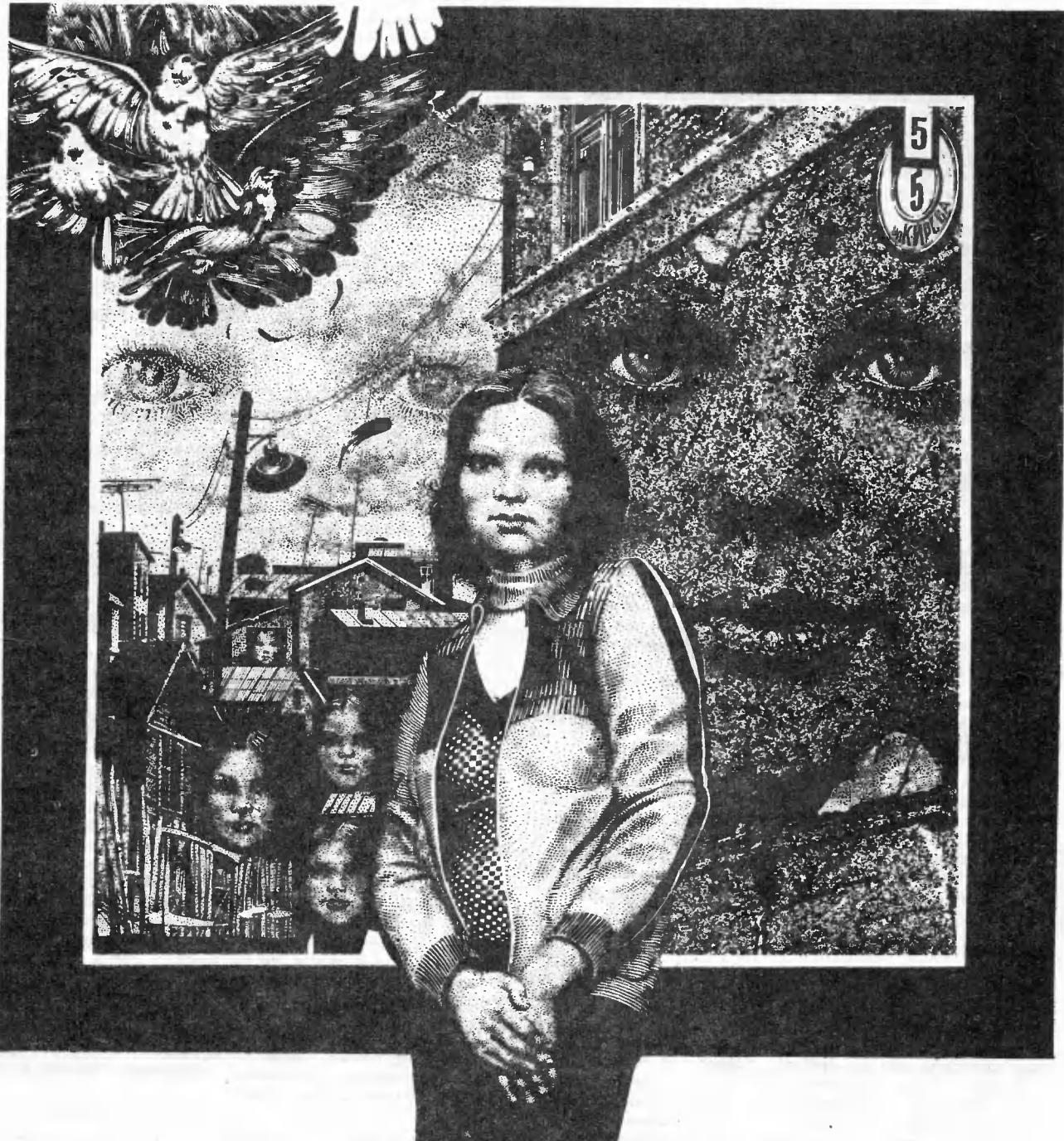
— Не реви! — строго крикнула она, подойдя к стеклянным дверям.— Зачем маму пугаешь?

Девочка отчаянно глянула отсутствующими глазами, но реветь перестала. Клава удовлетворенно вернулась на место, а из кабины неслось:

— Сходи в деканат, упроси, чтоб перевели. Упроси, слышьши! Не могу я тут, не могу! Тут страшно, мама. Тут ужас, как страшно, тут в общежитие ломятся!..

Клава огорченно подумала, что девчонка — паникерша и дуреха и что придется забрать ее с собой, чтобы пока жила у них. А потом найти Сергея, и пусть-ка он поинтересуется, что это за общежитие и кто в него ломится. Решив так, она встала, намереваясь сказать трусишке, чтобы подождала ее непременно, но тут телефонистка окликнула ее:

— Эй, Москва! В третью кабину иди, там лучше слышно.



Слышно и вправду было отлично, но Клава все равно кричала, потому что три минуты казались совсем уж ничтожным временем и нужно было заглушить Леночкины вопросы и успеть все сказать. И про то, сколько у нее теперь родных, и про то, что она сюда переезжает, и про милиционера Сергея, и про тетю Раю, и про бабушку Марковну, и про то («Господи, самое главное чуть не забыла!»), чтобы Липатия Аркадьевна немедленно собиралась к ней.

— Ты сходи завтра же! — орала она в трубку. — Скажи, что вместе будем жить и что на работу ее берут! При почте у тети Дуси! Пусть поскорее выезжает, я встречу!

Она выпалила все новости с пулеметной быстротой, а время еще оставалось. Клава растерянно передохнула,lixoradочно соображая, что бы такое еще пропорать, но Лена спросила весело:

— Кончила вопить? Теперь послушай, а я в поликлинику ходила.

— Зачем?

— А на обследование, поняла? Теперь эти жабы заткнутся!

— Леночка, милая, как же ты могла? — зашептала в трубку Клава. — Это... это же совестно, Леночка.

— Ну, чего тут совестного, ну, чего? Обыкновенная медицина. Да. А я за правду от Белорусского до Манежа в одних колготках пройду, поняла?

— А я не пройду. Я скорее умру.

— Да я же из принципа!

— И я из принципа. — Клава хотела объяснить, почему ее принцип важнее Леночкиного, но тут телефонистка строго сказала: «Заканчивайте», — и она опять заорала про Липатию, а потом в трубке щелкнуло и связь оборвась.

— Спасибо, — сказала Клава, подойдя к телефонистке. — Я ничего не должна?

— Уложилась, только орала очень. Зачем? Я же сказала: третья кабина.

— С непривычки. — Клава смущенно улыбнулась и завертела головой. — А где та девочка? Ну, что с мамой...

— Ушла. Ты — в кабину, а она — в дверь.

— Пока! — крикнула Клава.

Она выскочила на улицу и остановилась, оглядываясь. Дул порывистый ветер, шуршал облетевшими листьями, морщил воду в лужах, раскачивал редкие фонари. Они со скрипом мотались на столбах, разбрасывая свет, и в этом разбросанном свете Клава разглядела людей. Далеко, у парка, где уже начались дома и начинались глухие заборы, вроде бы мелькнули светлые волосы, и она, не раздумывая, со всех ног бросилась туда.

Двое парней молча тащили за руки девчонку к пролому в заборе, в глухую черноту парка, а двоешли сзади, изредка подталкивая ее в худенькую, дугой выгнутую спину. Пальтишко было рассстегнуто, косынка сбилась; девчонка изо всех сил упиралась, но не кричала, а, всхлипывая, бормотала:

— Только не убивайте. Только не убивайте. Только не убивайте.

— Перестань! — задыхаясь, выкрикнула Клава. — Не сметь! Сейчас же!..

Она кого-то с разбегу оттолкнула, парни выпустили девчонку, и та мышонком юркнула за Клавину спину. А парни не побежали, не шевельнулись даже, и Клава поняла, что бежать ей и девчонке нельзя: догонят. Что надо кричать, шуметь, говорить, надо не давать им опомниться, пока они сами не уйдут или кто-нибудь не появится возле телеграфа.

— Что, справились, да? Четверо на одного, да? —lixoradочно и бессвязно выкрикивала она. — Молодец, Леночка, ничего не бойся. Это они пусть боятся, а ты ори, что есть силы. Пусть у них поджилки трясутся, только стой сзади, чтоб не подкрались. И ори, ори, Ленка, есть же люди, их много, а мы с тобой — Молодая гвардия, а вы, вы знаете кто? Вы сегодняшние фашисты, вот вы кто...

Сердце Клавы стучало так громко, что его, казалось, могли бы услышать даже в домах, даже за на-глухо закрытыми дверьми и окнами, да слишком уж много развелось телевизоров, и они сладко урчали в

каждой квартире, заглушая яростный клекот Клавиного сердца. Но она об этом не знала, как не знала и о том, что перепуганная пигалица с именем ее будущей приемной дочери давно уже что есть духу мчится по пустынным улицам, вереща и потея.

— Не бойся, родная, вдвоем мы — силища! — в не-понятном торжествующем восторге кричала Клава. — Знаешь, у меня дочку Ленкой зовут, она тоже смеяла, как мы с тобой...

А парни не уходили, в настороженном молчании стоя перед нею, и ей уже казалось, что стыд парализовал их, она уже предвкушала победу, потому что во всех фильмах, которые она смотрела, и в тех книжках, которые ей удалось прочитать, зло всегда терпело сокрушительное поражение и несчастливых концов просто не могло быть. Ветер раскачивал фонарь, лучи света всполошили метались по черной осенне земле, изредка мазком касаясь затаенных лиц. И Клава вдруг перестала кричать.

— Смотри, Ленка, — удивленно сказала она, по-прежнему не оглядываясь, чтобы держать в поле зрения всю четверку. — Смотри, это же Витька, сын тети Дуси, мой двоюродный братец. Он сегодня деньги у матери украл, всю получку, это же такая подлость! Ты, Витенька, забыл, что у меня жених милиционер? Ну, мы за тебя возьмемся. У меня свидание с ним, он дежурит сегодня и сейчас сюда на машине приедет. Вот тогда вы запляшете! Тогда ты, Витенька, сразу скажешь, кто тот второй, которого они ищут. Не тот ли, кто с тобой вчера в гостиницу заявился? В шляпе на носу?

Скрипел, метался на ветру подвесной уличный фонарь. То вспыхивало вдруг освещенные им лица, то исчезали, то возникали фигуры, то проваливались в темноту, и Клаве вдруг ясно представилось, что фигур уже не четыре, а три, что кто-то исчез, растворившись в неверном сумраке.

— Ах, вас уже трое осталось, уже бежите! — победно рассмеялась она. — Ничего, далеко не убежите, никуда не денетесь, я всех вас запомнила. Всех! Так что...

Она ни разу не оглянулась, она твердо верила, что за спиной стоит друг и что спина надежно прикрыта. И именно оттуда, со спины, сзади пришелся удар, коротким грохотом и яркой вспышкой отдавшийся в голове. И наступил мрак.

Клаву нашли рано утром: милиционер Сергей не успел еще сдать дежурство. Он прибыл вместе с бригадой, и пока фотографировали тело, пока писали протокол осмотра места происшествия да искали следы, молча стоял поодаль. А когда принесли носилки, сказал следователю:

— Я знаю ее, вместе из Москвы ехали. Она из кино, Адой ее зовут.

Вот и вся история короткой жизни Клавы Сомовой. Мелькнула она, как искорка на ветру, а все же что-то выветрила в наших днях. И горькую Липатию Аркадьевну, каждое утро с великой надеждой ожидающую возвращения своей Клавочки, чтобы с ней вместе уехать в город Пронск и продавать газеты в стеклянном киоске. И могучую Людмилу Павловну, при которой все же есть свои озорные Ленки, готовые за правду в одних колготках пройти от Белорусского до Манежа. И скромного милиционера Сергея, так никогда и не узнавшего, что встретился он в поезде со своей любовью. И девочку Леночку в одном из детских домов, ждущую, когда же придет за нею ее мама. И еще одну Леночку, которая, вероятно, уже окончила институт и сеет сейчас разумное, доброе, вечное. И даже так и не увидевших света Валерика, Ирочки и Дениску.

А мы живем. Для нас-то ведь солнышко не померкло.

Только это так кажется, что оно не померкло. Это оптический обман. Мрак усиливается, когда гаснет даже крохотная, скромная, мало ком замеченная искорка. Усиливается, поняли?..

1982 г.

Поэзия

Константин ВАНШЕНКИН

Земля

Земля внизу, в сплетенье трасс,
Под скошенными плоскостями,
Уменьшена в десятки раз
Грохочущими скоростями.

Но всякий раз, когда опять
Сверкнет над нею белый лайнер,—
Для тех, кому по ней шагать,
Она в тот миг еще бескрайней.



После длительной войны,
В тесном кузове трехтонки,
Ощущенья были тонки
И не каждому видны.

Нас роняло как с волны,
Нас на гребень поднимало.
Нам такого было мало
После длительной войны.

Ведь из фляжки фронтовой
Был глоток последний допит,
Но остался кровный опыт,
Как тропинка под травой.

Жизнь поняв — как за века,
Мы свое прошли на совесть,
Ощущая невесомость
В кузове грузовика.

Запоздалая ода

Высокая ода
Санбату военной страды.
Зеленки и йода,
И крови остывшей следы
На рваной простынке,
На прежде стерильном бинте,
В простенке, на синьке
Рассвета, на ближнем кусте.
И запахи гноя,
И отзвуки передовой,
И пуля, что, ноя,
Над самой прошла головой
Хирурга, чей скальпель
Решает солдата судьбу...
И точечки капель
Еще у обоих на лбу.



Ф. С.

В институт зашел бочком
Без отличий и увечий,
Стиснут тесным пиджачком,—
Оттого и узкоплечий.

Все же он из тех калик
Перехожих, что долиной
Вдаль бредут и слышат клик
Над собою журавлиный.

Что солдатикам своим,
В снег упавшим сиротливо,
Он кричал сквозь горький дым
После каждого разрыва?



Вот, бывает, взгляд подымем...
И я тоже поднял взгляд:
Костерок с неясным дымом
Был тотчас же зренiem взят.
Как всегда, природа в целом
В этот час была права.
Было небо светло-серым
И зеленою трава.

Как всегда, обяты ленью
По лугам стада брели.
И стояли в отдаленье
• Елок темные кремли.

Пиджак

Удовольствие в зрачках,
А всего по той причине,
Что пиджак его в значках,
В разноцветной их пучине.

А ведь дожил до седин,
И такой концерт затеян!..
Орден истинный один
В пестроте сплошной затерян.

Гребень

Через жестокий гребень лет,
Из тех долин, где все так мило,
Как облако через хребет,
Жизнь явственно перевалила.

Не удержалось, нам назло,
То облако на перевале,
А вниз неспешно поползло
Как мы не раз подозревали.

...Вы недостаточно мудры,
Что все ж простительно поэту:
Вы — по ту сторону горы,
А мы теперь уже по эту.

Сборная

На важном футбольном сборе
Поистине вновь и вновь
При каждом контрольном сбое
Сомнение входит в кровь.

Устойчивая привычка
Проигрывать всякий раз!..
А сборной нужна прививка
От этого. То есть класс.

Непостоянство

Такое же, как прежде, тело,
Глаз тот же свет.
И только сердце улетело
За кем-то вслед.

Ах, с вами это так нередко,
И жизнь проста:
В который раз грудная клетка
У вас пуста.

Юрий КЛЕБАНОВ

БЕЗ СЦЕНАРИЯ

Я режиссер-постановщик выставки. Вы удивлены? Зачем на выставке режиссер? Режиссировать разведение картин? Творчески расставлять скульптуры? Дело в том, что выставка, на которой мне довелось работать, была задумана не совсем обычно, а точнее, совсем необычно.

Осенью прошлого года в Центральном выставочном зале Москвы (бывший Манеж) в течение полутора месяцев действовала выставка «Мастера культуры за мир» с международным участием, которая... если и не «открыла Америку», то по крайней мере пытаясь это сделать. Устроители пригласили к участию в ней все творческие союзы страны и, мало того, создали режиссерско-постановочную группу, в которую вошел и я.

Признанные хозяева выставок — художники и скульпторы — на этот раз потеснились, и в считанные дни по проекту эstonского художника Андо Кесккюлы была развернута необычная экспозиция с двумя кинозреками, видеопроекцией, телевизионной стенкой из 32 телевизоров, городской площадью (архитекторы), уголком дизайна, голографией, уютными уголками отдыха, «электронным кафе», связавшим телемостом Москву и Сан-Франциско, и, наконец, главной сценической площадкой. Зачем? Почему? Да потому, что в понятие «стремление к миру» входит любовь к жизни, умение понять друг друга, узнать друг друга, общаться друг с другом.

Стоп. Вот и произнесено главное слово: общаться.

Общаться не только с застывшим в бронзе или на холсте прекрасным, но и с людьми, с теми, кто нам интересен, кому мы хотим задать вопрос и получить ответ.

Самый первый день проводил Союз кинематографистов. Задумано было грандиозное шоу: проведение показательных съемок, показ отрывков из самого-самого, встреча зрителей с ведущими мастерами экрана. Но оказалось, что по-настоящему расщепил зал лишь Элем Клинов, когда рассказал о работе конфликтной комиссии, возвращающей зрителю прекрасные фильмы, которые до последнего времени от него утаивались. И на каждый вопрос следовал честный и обстоятельный ответ нового руководителя Союза кинематографистов.

Так был задан тон атмосфере взаимного доверия, которая с каждым днем все более утверждалась на выставке. Что говорить, не все были готовы к подлинному общению — сразу этому не научились. И тут от нас, режиссеров, зависело многое.

Архитекторы предложили встречу с руководителями творческого союза, ГлавАПУ, дирекцией НИИ Генплана Москвы. Очень хорошо! А мы к ним присоединили постановочную группу фильма «О Москве с надеждой и тревогой», который еще не вышел на экраны и где пофамильно называются виновники печальных перемен в облике нашего города. В результате получилась остройшая двухчасовая дискуссия, которую невозможно было предопределить никаким сценарием.

А вот Союз композиторов не удосужился поискать контакта с посетителями выставки. И нам пришлось

рискнуть. Мы предоставили сценическую площадку и тем музыкантам, чей статус еще далек от профессионального, но которые рады любой встрече со своим и чужим слушателем, для которых и хула и хвала равнозначны, потому что их главная цель — заявить о своем существовании. Так появились в нашей программе группы «Метро», «Мистер-Твистер», «Аквариум», а с ними и картины так называемых альтернативных художников. То, что они показывали, не бесспорно. Но неминуемо возникает вопрос: готов ли каждый из нас понять то, что не совпадает с его эстетическими нормами? Что делать? Защищать, запрещать или пересматривать нормы? Запрещать, конечно, проще, но еще проще делать вид, что ничего такого не существует вообще. Только поможет ли это?

В один из дней приехала группа стажеров института им. Мориса Тореза из Англии и США. Руководитель спрашивает:

— Где сценарий?

— Сценария нет, — отвечают, — пусть говорят, что хотят, и отвечают на вопросы.

И встреча прошла как надо. В завершение молодые американцы и англичане даже пели вместе с залом.

Только не думайте, что вся культурная жизнь выставки сосредоточивалась на главной сценической площадке. Нам хотелось, чтобы каждый посетитель мог выбрать занятие или зрелище по своему вкусу. На выставке много рисовали и дети, и взрослые. Дети — все подряд, свои фантазии, а взрослые, то есть молодые художники, норовили, выхватив гостя поименовать, затащить его в свою студию, чтобы рисовать или лепить без помех. Я сам видел три головы и портрет Дмитрия Покровского.

Несколько слов о Покровском и его ансамбле народной музыки. Выступали однажды, они настолько прониклись замыслом и идеей выставки, что стали ее «действительными и постоянными членами». Апофеоз их выступлений стала русская ярмарка в День народного творчества. В одном месте водили хороводы со зрителями, пели частушки, народные песни, играли на гармошке. В другом — давал представление старинный кукольный театр «Вертеп». По залу Манежа сновали разносчики пирогов, сухариков, лимонной воды. Пели под шарманку «Разлуку», гадали на счастье, а почти у выхода устроилось прямо на полу необычное трио: гармонь, пила и свирель. Прягали через скакалку, бегали с завязанными глазами, танцевали и веселились чопорные японцы, оказавшиеся в этот день на выставке.

Наши поиски новых решений завершились вечером «В гостях у Андрея Вознесенского». Что это было? Вечер поэзии? Нет. Концерт? Нет. Дивертисим знаменитостей? Тоже нет, хотя их было предостаточно. Возник остроконфликтный разговор — спор о том, что можно и что нельзя, о твоей гражданской позиции.

Атмосфера радужия и гостеприимства иностранцы, побывавшие на выставке, ощущали сразу. Они быстро становились полноправными участниками выставки. Так, группа из США «К миру через игру» под руководством Рона Кауфмана, организатора уличных представлений, учила зрителей играть в американские игры. Надо ли говорить, как быстро возник контакт, а тем более с детьми?

Такова была наша попытка живого контакта, живого общения. Попытка показать и предложить новые формы полезного проведения свободного времени. И, безусловно, в чем-то она удалась, а в чем-то нет. Но одно то, что многие проводили в Манеже по три — пять часов, а «рекордсмены» и все девять (с открытия и до закрытия), говорит о том, что мы работали, очевидно, не зря. Что это кому-то интересно, кому-то нужно. А коли так — будем продолжать.



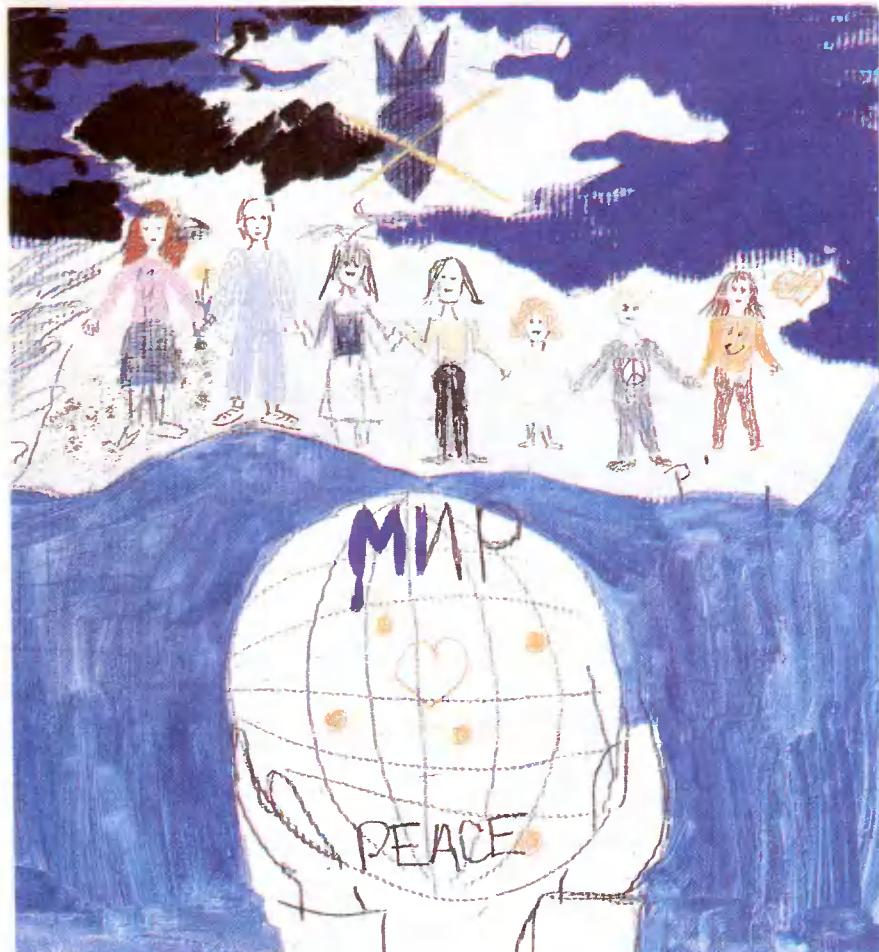
В. БАЛАБАНОВ.

Полет в XXI веке.

ПО ЗАЛАМ ВЫСТАВКИ
«МАСТЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЗА МИР»

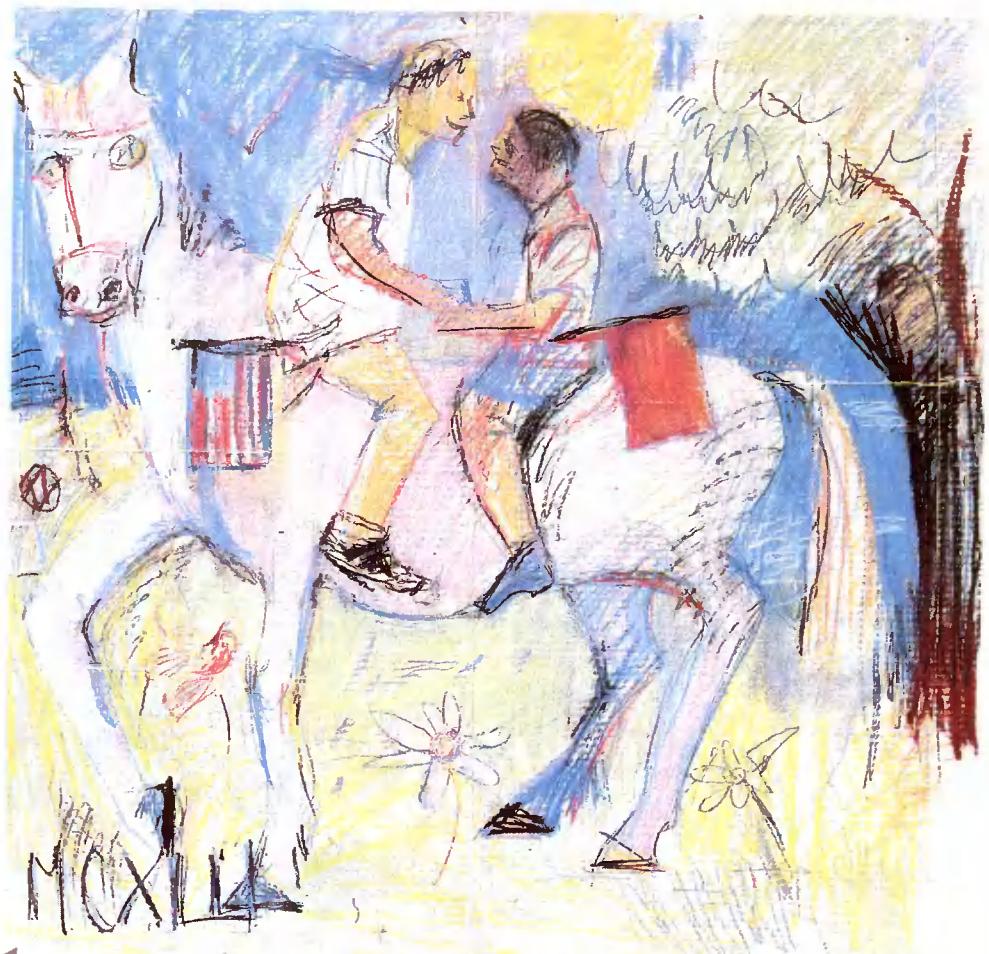


В день открытия
выставки 26 сентября 1986 г.
в Москву прибыл
Факел Мира,
зажженный
у стен штаб-квартиры ООН.



Был день,
когда на выставке
встретились ребята
из Московской
художественной школы
и американские школьники,
которые участвуют
в движении
«Дети — учителя мира»,
руководимом
Джерри Ямпольски.
Как запечатлеть
эту встречу?
Среди
американских ребят
тоже оказались художники.
И на больших
листах картона
началось совместное
творчество...
Три коллективные работы
мы помещаем
на наших страницах,
и в каждой из них —
надежда
на новую встречу.

Фоторепортаж
Л. Шимановича





Выступают
гости выставки —
артисты с Аляски.





Михаил КУРКОВ **РЕСТАВРАЦИЯ — ОБРАЗ ЖИЗНИ**

Мой день начался, позади пережитое, впереди Москва — три церкви, два дворца, палаты, особняки.

Я — Курков Михаил Семенович, тридцати двух лет от роду, старший прораб, начальник реставрационного участка. Работаю начальником участка уже восемь лет — пять на Соловках, последние три года в Москве. Работаю с памятниками и людьми. Иногда мне начинает казаться, что я и родился прорабом. Были удачи и провалы, взрывы и пожары, были минуты, которыми я горжусь, и часы, вспоминать о которых избегаю. То ли еще будет в моей беспокойной и прекрасной жизни, которую я сам для себя выбрал.

Каждый человек своим образом жизни так или иначе утверждает идеалы, заложенные в нем воспитанием, окружением. В наше время реставрация памятников архитектуры — это как металл для фронта сорок с лишним лет назад. Моя работа дает мне жить в согласии с самим собой. Я, коммунист, считаю, что спасение и реставрация национальных культурных ценностей — единственная форма воспитания нового человека.

Мне нравится моя работа, я готов рассказывать о ней бескокечно, она дает массу сюжетов и духовную пищу — мне, моим товарищам. Важно, видимо, еще то, что реставрация — совершенно открытое общество, прийти к нам работать просто, сложнее, наверное, решиться. На холод и физический труд за достаточно среднюю зарплату и эфемерную, предполагаемую духовную гармонию. Но люди идут. Только прорабов приличных что-то не прибавляется. А жаль, прорабыто как раз и нужны. У нас шутят: «Реставрация — спорт сильных и смелых». Особенно на прорабских должностях. Но риск окупается удовлетворением, когда видишь плоды своего труда. А какие плоды? Как-то мои дети рассуждали между собой, кем работает их папа: «Папа — прораб, ну, рабочие церкви реставрируют, а он ходит и смотрит — у кого как получается, советует и с начальниками по телефону ругается».

*Девушка в
«Юности»*

На снимке: Михаил Курков (в центре) и его товарищи: Евгений Корчагин, Алексей Гусев, Андрей Федоров, Андрей Гирич, Юрий Маслов, В. А. Демьяненко.

Фото А. Задикяна

Да так оно и есть.

Очень многое зависит лично от человека, причастного к нашему делу. Реставрация — это большей частью произвол. Произвол во вред или на пользу. Както на Соловках у нас состоялся разговор со столичным журналистом. Он подбросил нам такую задачку: в Новгородской области в одной из разрушенных фашистами церквей провели все необходимые реставрационные работы, в том числе восстановили — из кусочков собрали — живопись. Для соблюдения необходимого температурно-влажностного режима здание в течение полутора-двух лет нельзя было эксплуатировать — водить туристские экскурсии, иначе росписи в конце концов могли осыпаться. Но некие высокие инстанции настояли, и объект сдали досрочно. Кто прав и кто виноват? У меня ответ был однозначным:

— Виноват прораб.

— ?

— Прораб вполне мог бы, ну, скажем, яму у входа выкопать, полы разобрать, наконец, ключи от входа потерять. Начальство побегало бы, покричало, посуетилось недели полторы, а потом все забылось бы и успокоилось. Ну, разве что прогрессивки бы лишили.

Работа реставратора требует личной ответственности за происходящее, гражданского мужества. Это сейчас все безудержно пишут о наболевших проблемах спасения наших национальных ценностей, все кому не лень. Но представьте себе: не было бы волны общественных протестов — и повернули бы северные реки вспять. Начали бы поворачивать. И тут же подключился бы комсомол, всесоюзная ударная стройка... по уничтожению Русского Севера.

А я хорошо помню историю четырехлетней давности, когда наш товарищ, архитектор Саша Попов, опубликовал в центральной газете статью о катастрофическом состоянии памятников деревянного зодчества в Архангельской области. Каких нервов ему стоили все последующие объяснения с Управлением культуры облисполкома, Росреставрацией, где он работал, с Министерством культуры. Саша, молодой, сильный человек, все это перенес достойно. А соавтор статьи — крупнейший специалист в области деревянного зодчества — выстоять не смог, написал покаянное письмо-опровержение, в котором отказывался от того безусловно верного, что было в статье. Я это покаяние видел на столе у одного чиновника от реставрации. А само дело прикрыли. Я давно не видел архитектора Александра Попова, но, кажется, он, как и раньше, с топором в руках, с помощью трех плотников спасает свой памятник в заснеженной глубинке Архангельской области. Зарплата? Обычная, ставка старшего архитектора. То, что зарабатывает своими руками — в приработок плотникам, работающим с ним, ведь система оплаты труда в реставрации целенаправлена против производства высококвалифицированных работ. Награда? А есть ли награда выше, чем самовнушение?

Работа на памятниках постоянно выводит на «белевые точки» развития нашего общества, заставляет думать, как формируются наши идеалы. Видимо, к этому обязывает душа, вложенная предками — такими же рабочими и подрядчиками, артельными мужиками — в эти старые стены.

Вам не кажется, что у нас стало слишком много красивых машин во дворах, вторых телевизоров на кухнях, стекла и бетона в жилых старых кварталах? На какой манер идет удовлетворение возрастающих личных потребностей? Чего стоит соревнование молодежных бригад, устроенное «Комсомольской правдой», на приз — новый автомобиль «Москвич». Уж не знаю, все ли члены бригады-победителя получат по «Москвичу» или один достанется на всех, я не вчитывался, только, по-моему, это не тот стимул.

Мы провозглашаем: «Реставрация не форма производства, а образ жизни». Люди, так или иначе связанные со спасением старых зданий — на общественных ли началах, профессиональных или полупрофессиональных, — не станут всерьез преклоняться ни перед материальными благами, ни перед Западом. Да, мне периодически нужны новые ботинки, лучше импортные; денег, как и всем людям, слегка не хватает,

потому что потребности всегда немного опережают возможности, но я не буду менять свой образ жизни ради большей зарплаты, ибо жизнь моя тогда потеряет смысл.

У меня такое чувство, что именно сейчас, сегодня, завтра реализуются мои мечты. В системе моих юношеских ценностей понятие «старший производитель работ» не фигурировало. Но это было лет пятнадцать назад, когда все дороги... (Кстати, всегда веселись, засыпав наигранно-взвышенный голос по радио: «В эфире «РРР-романтики», передача для старшеклассников», потом музыкальная пауза и — «...Дороги, которые мы выбираем»... А ведь так называется рассказ о гангстерах у О'Генри.) Но оказалось, что прораб — работа творческая. У нас на участке работают сорок семь человек. Иногда я устраиваю участковые собрания, без особой цели, просто чтобы люди друг на друга посмотрели — объектов много, разбросаны по всей Москве. Впечатляющее зрелище — наш первый реставрационный участок: что-то вроде гренадерской полуроты — красивая, косая сажень в плечах, с интеллигентными лицами молодежь (сочетание хорошего образования, духовных запросов и физического труда); седые ветераны от реставрации — деды, по трудовым книжкам которых можно изучать историю ее развития в стране; в расцвете сил специалисты экстра-класса — каменщики, кровельщики, лепщики. Все мне дороги, особенно старики, все перевидавшие за свой век.

Видимо, дождались мы наконец лучших времен: к нашей работе неравнодушны пресса и телевидение, фамилии наши — в статьях, лица — в московских телепередачах. Тут бы не сорваться, не превратиться в записных «спасителей», участок должен расти профессионально. Впрочем, деды вовремя дадут подзатыльник — заставят разобрать «загнанные» ряды кирпичной кладки, перетесать бревно. И Соловьев вернулся в реставрацию, кузнец со своим знаменитым клеймом «СН»: каменотесы берегут инструмент с этим клеймом десятилетиями. Когда Соловьев, возрастом за шестьдесят, пришел к нам и сказал: «Меня интересуют ваши перспективы», я был несколько ошарашен. А Николай Иванович разжег угли в горне — и через два дня нам уже казалось, что кузница у нас на Сретенке была всегда.

Наш участок на Сретенке, в церкви Троицы в Листах, начинался два года назад. Тогда нас было трое: я — вновь прибывший прораб в шляпе и галстуке, и два каменщика — Корчагин и Кураленко. На этом объекте они работали вдвоем уже много лет. Как это часто бывает, объект был заброшенным в силу ряда «объективных причин», а попросту нежелания им серьезно заниматься. Занимались Троицей только эти двое, знаяшие: пока работы ведутся, здание не снесут. Постоянно сменявшиеся начальство пытались перебросить Корчагина и Кураленко на другие объекты — они не переезжали; им платили по семьдесят рублей в месяц — они стояли на своем: пока они здесь — памятник окончательно не погибнет. Кураленко Владимир Иванович вообще парень в реставрации исключительно талантливый, есть у него природный дар, который он развил в себе и стал непогрешимым авторитетом в области каменных памятников. Этот умный, тонко чувствующий, справедливый человек реализовал себя в каменщике. Мне бы очень хотелось достичь такого же профессионализма и независимости в своей работе.

Восемь лет я работаю прорабом. Штук шестьсот процентов, четыре с половиной тысячи нарядов, бесконечные разговоры о поздней сдаче отчетности, перерасходе фонда зарплаты. Сдал вовремя — моло-дец, задержался — бяка. Меняются директора, начальники отделов — так было везде и всегда. Новое начальство надлежит изучать, под его привычки и стиль работы подстраиваться свою деятельность. Но с возрастом, что ли, у меня стало вырабатываться иное отношение к начальству. Пошла эволюция от школьного «пхвалят-поругают» к независимой позиции, когда важнее всего собственные оценки происходящего. Этому меня научили наши рабочие.

Меня выводит из равновесия раскожая фраза: «Нас могут неправильно понять». Там, наверху, в тресте, скажем. Объясняешь честно и толково: то-то невыполнимо или бессмысленно, а тебе в ответ: «Все верно, но нас могут неправильно понять». Я тщетно пытаюсь постичь смысл этой «мудрой» формулировки. Однажды, еще в студенческие годы (а тогда в общественной жизни я участвовал больше, чем учился), один комсомольский функционер с досады дал мне такую характеристику, которой я до сих пор горжусь: «А с Курковым разговаривать бесполезно, пока его ругают, он делает испуганное лицо, а потом продолжает все по-своему». Что ж, «испуганное лицо» с годами проходит, а желание делать по-своему укрепляется.

И тут встает вопрос о критериях оптимизации моей прорабской работы. Получается так, что показатели выбираешь себе сам. Ну как считать показателем план в тысячах, который спускают нам сверху? И стоит ли ставить во главу угла повышение зарплаты? Реставрация не кормушка, а если ею и становится, это немедленно отражается как на поименном составе участка, так и на взаимоотношениях внутри него. Нужно просто спокойно, не суетясь, работать и создавать людям комфортные условия труда, психологически комфортные. Чтобы человек был уверен в целесообразности того, что он делает, в том, что он уважаемый и нужный работник. Утром прихожу на объект и громко говорю: «Здравствуйте, товарищи реставраторы!» Это обязательно, как любимой женщине каждый день надо говорить, что она очень красивая.

Обеденный перерыв. В раздевалке рабочие пьют чай, приглашают и меня. На столе большой торт. По какому поводу гуляем? У Трусова вышла статья в «Археологии СССР», обмываем. Трусов — каменщик четвертого разряда, серьезный археолог, активно кощающий неолитические стоянки. Есть же такие люди, сочетающие штатную работу каменщика с профессиональной научной работой.

На нашем участке «экзотик» хватает: чуть ли не каждый второй с университетским или просто высшим техническим образованием; бороды на любой манер; вместо традиционных касок (привычных на первых полосах газет) все больше старые фетровые шляпы и панамы; книги по архитектуре, истории искусства покупаются в таком количестве, чтобы всем хватило на участке — это все внешняя сторона. Главное, что из людей, по разным причинам не нашедших себя со своими дипломами там, куда их распределили, формируется рабочий коллектив. Людям, которые в коридорах НИИ коротали перерывы между овощными базами и авральными работами на той или иной сиюминутной стройке, — этим людям у нас дана возможность после смены вымыться, выпить чаю из жестянной кружки и с хорошей усталостью подумать о том, что успел сегодня, что будет делать завтра на своей работе. Как и что делать — практически решает сама бригада. Мое дело активно стоять в стороне. К этому люди не сразу привыкают, безволие на прежней — «чистой» — работе долго дает себя знать.

Людям нужно уступать в мелочах, не распуская дисциплину, не копить, не срывать зла, не кричать на подчиненных — это и была бы распущенность. Вот поскандалить с начальством или с заказчиком за интересы участка — в этом удовольствии я себе отказать не могу. Тоже форма самоутверждения. На Соловках был жуткий бич — почти поголовное пьянство, здесь же за два года как-то само собой это сошло на нет.

У нас формируется некое общественное образование — реставрационный участок — со своими внутренними ценностями, взаимоотношениями, идеалами и целями. Как-то в газете «Архитектура» была опубликована статья о постмодернизме. Мне запомнилось ее название, взятое в кавычки, — автор где-то его по-заимствовал: «И все мы будем счастливы на долгие годы...» Без наград и регалий. Просто счастливы. Прошлым летом у меня состоялся разговор с тестом одного из моих товарищей, рабочего нашего участка. Он подвозил меня на «Жигулях» в экспортном исполнении. Играла музыка в стереосистеме не нашего про-

изводства — тест «выездной», торгует, кажется, запчастями где-то в Новой Зеландии. Этот уверенный в себе, уже состоявшийся человек спросил меня: какие у него зятя перспективы? Вопрос поставил меня в тупик. Какие перспективы... Я начал долго и нудно объяснять: сейчас он имеет третий разряд — значит, получает рублей двести, года через три-четыре доберется до четвертого — значит, двести тридцать — двести сорок... И тут я прекратил бесполезные перечисления. Ну как объяснить человеку, нацеленному совершенно на другие жизненные ценности, что у всех нас одна перспектива — долго и счастливо заниматься любимым делом?

Нас сцепляет чувство единения с окружающим миром, природой, предками. А какое может быть единение, когда старый дом — часть жизни тех людей, которые его строили — собираются сносить? Тут не до компромиссов. Рассказывают, что Петр Дмитриевич Барановский — великий современный реставратор и гражданин — в те дни, когда обсуждался вопрос о сносе Покровского собора на Красной площади (храма Василия Блаженного), публично заявил, что если это произойдет, он тут же у этих руин повесится.

Сейчас иные времена, но реконструкторский суд все же нуждается в ограничении. На мой взгляд, дело вот в чем. Дерево, камень, кирпич как строительные материалы используются тысячелетия. За это время выкристаллизовались приемы зодчества; все совершенство лучших построек заложено в пропорциях исходного материала — вытесанного квадра пензенского мрамора для Парфенона, обожженного кирпича Дома Пашкова, в размерах бревен для северных изб. На это, повторяю, ушли тысячелетия. В 1868 году садовник Монье применил сетку в качестве каркаса для бетонных цветочных горшков — так появился Его Величество Железобетон. Естественно, новый материал требует нового архитектурного строя, нужны новый язык, эксперименты, время. Но, во-первых, экспериментировать лучше на чистом поле — вон, строят на Юго-Западе нечто фантастическое, и ради бога, иначе просто не научишься. А во-вторых, колossalные возможности современной строительной индустрии таят в себе грозную разрушительную силу: все нам по плечу, все сравняем и перестроим, имена свои увековечим. И желательно на старых обжитых местах — тем престижнее.

Отношение архитектора и производителя работ к авторству разное. Архитектор готов до последнего вздоха отстаивать свое авторство. Прораб много бы отдал за то, чтобы его авторство не фигурировало под нарядами, процентовками, материальными отчетами. Как вы думаете, для чего на заборах стройплощадок пишут фамилии прорабов и начальников участков? Чтобы районная административная инспекция знала, кого штрафовать по тому или иному поводу. А вот архитектор — профессия творческая... Но, между прочим, еще Екатерина Вторая не позволила Баженову перестраивать Кремль, не дала срыть часть кремлевской стены, и правильно сделала.

У меня как у профессионального реставратора да и как у рядового гражданина нашего общества много претензий к архитекторам. Как-то зимой забрели к нам на Троицу два студента: «Здравствуйте, мы из МАРХИ, нам нужен чертеж, общий вид вашей церкви, для курсового проекта». Дал я им чертеж, а потом поинтересовался их курсовым проектом. Оказалось, задали им спроектировать на месте Сретенки и ее горбатых переулков новый квартал и от всего, что есть, оставить только нашу церковь. Так сказать, «дань уважения». Руки бы оторвать таким составителям курсовых заданий. Кого же они воспитывают?

Людей этой профессии нужно будить, доказывать им их значимость на рабочем месте. Есть у нас архитектор, и оклад, и должность у него приличные, но ходит в адъютантах у ГАПа (главного архитектора проекта). Тот, апостол от реставрации — по крайней мере так кажется со стороны, — дает ценные указания, этот же архитектор при сем присутствует. Бывает, архитектор — назовем его Игорем — с какими-нибудь мелким поручением приходит на объект один,

и я пытаюсь выявить в нем присутствие профессионального честолюбия: «Игорь, как вы считаете, откосы будем обмазывать или штукатурить? Как скажете, так и будет, вы же автор проекта, мое дело подчиняться, только решите сами». Он уходит от ответа до разговора с ГАПом. Игорю тридцать девять лет, а мнения и своей позиции нет. Многие в таких игорях ходят. Кстати, у нас на участке в ходу полные обращения: Евгений Акимович, Андрей Борисович, Владимир Иванович... Меня самого лет с двадцати называют по имени-отчеству, и это дисциплинирует. А тут все Игорь да Игорь. Летом ГАП ушел в отпуск, волей-неволей Игорю пришлось его замещать. Я же намеренно берег к этому моменту острые вопросы, чтобы поставить его перед необходимостью самостоятельного выбора. И стал давить, как это умеет любой порядочный прораб: «Документации нет, план срывается по вине автора!» И Игорь заработал! Еще месяца три-четыре — и он бы стал развиваться в хорошего практика. Когда ГАП вернулся, я просил его оставить Игоря в покое и дать мне возможность работать лично с ним. ГАП бородой покивал и перебросил Игоря на другой объект.

Для меня реставрация начиналась в студенческом строительном отряде. Это было удивительное лето на Соловках, нам на полтора месяца был дан во владение целый город — бывший Соловецкий монастырь. Мы чуть не неделями из его стен не выходили. Отряд Московского государственного университета, физического факультета. После рабочего дня мой напарник и приятель Сережа Никонюк брал гитару и говорил: «Пошли, Семеныч, на крыши!». На крышах мы провожали день, говорили о жизни, с нами рядом были красивые девушки. Это было, пожалуй, самое счастливое время в моей жизни.

Предполагать, что молодые ученые массовым порядком будут переходить в реставраторы, было бы наивно. Из всех моих знакомых только Сережа, оставив университет, уже много лет работает в объединении «Союзреставрация». Он стал высококвалифицированным каменщиком, я — прорабом. Первый кирпич мы положили вместе — на Соловках.

А как же я, спросите, стал реставратором? Родители по договору работали на Севере, в Москве стояла забронированная квартира, год семьдесят второй, я окончил школу там, на Севере, в Москву приехал с грандиозными планами. Эпопею с поступлением в институт начал с МАРХИ, в тот же сезон сдавал экзамены в авиационный институт, слава богу, не приняли. Был уже конец августа, отец сказал: «Сынок, отступать дальше некуда, иди в МАДИ. Получи диплом инженера, а потом делай, что хочешь. Тебе никто мешать не будет». В автодорожном институте учился весь наш подъезд, благо, недалеко. Институт дал общую техническую культуру, за это я ему благодарен. Прошло пять лет, предвиделась наезженная колея, многократно в литературе описанная. К тому времени я уже был женат. Особого интереса к автоматике, которую я изучал в институте, не испытывал. Но нужно было «отрабатывать» высшее образование (порочная, кстати, практика; можно подумать, от человека, который из-под палки за грости отсиживает в учреждении два-три года, есть какая-нибудь польза). Но наши неосуществленные желания живут, пожирая нас. Нужно было вырываться.

Двумя годами позже — это был май семидесят девятого года — на аэродроме «Внуково» мне была условлена встреча с ранее незнакомым человеком. У того в руках должен был быть «дипломат» с «молнией». Это был директор Архангельской научно-реставрационной мастерской; через десять минут после нашего знакомства начиналась посадка на его рейс «Москва — Архангельск». Разговор был краток:

— Вы хотите работать начальником Соловецкого хозрасчетного реставрационного участка?

— Да.

«Молния» на «дипломате» открылась, и в руках у меня оказался договор на работу в районах Крайнего Севера и на островах Белого моря и Северного Ледо-

вального океана. Еще через месяц с восемнадцатью тюками мы плыли на теплоходе «Соловки» к островам. Ехали вместе с очередным студенческим реставрационным отрядом «Соловки-79».

Есть, хранится на складе соловецкого участка такая толстая торцевая деревянная плаха, она предназначена для разделки мяса, но по прямому назначению никогда не использовалась, а каждый год вывешивается у входа в студенческий корпус, на доске написано: «Здесь работает студенческий отряд Московского государственного университета СОЛОВЕКИ-79», а дальше ежегодно исправляются цифры: 76... 79... 85...

На островах мы жили хорошо, детей у меня стало трое, и, сам того не ожидая, я собственными руками сделал всю домашнюю мебель — столы, лавки, двухэтажную кровать для детей, шкафы и научился класть печи. Борьба с холодом при отсутствии центрального отопления была делом весьма актуальным. Сколько раз потом, в Москве, ловил себя на том, что нет-нет да и подойду к радиатору отопления и потрогаю — теплый ли?

На работе я довольно быстро усвоил два правила: главное — выполнять государственный план любыми средствами, все остальное валить на проектировщиков, благо они принадлежат к другому ведомству. По молодости это очень лихо у меня получалось — лес не привезли, извести нет, катер утопили, пилорама сгорела — кто виноват? Конечно, авторы проекта, плохая проектно-сметная документация. Мои оппоненты тоже в долгую не оставались, в министерства шли бумаги, дескать, на Соловках «царит хаос и произвол начальника участка Куркова». По бумагам, естественно, принимались меры, мне присыпали очередной письменный выговор, а по телефону — привет от шефа из Москвы: «Молодец. Так держать!» От моих канцелярских успехов материалов не прибавлялось, шли годы, Белое море замерзало, потом льды уходили на Север, проходил еще один сезон, когда известна — основной наш материал — привозили на туристских теплоходах в пяти сорокалитровых флягах, и опять наступала осень. Обстановка накалялась, горечь щетных усилий обращалась в головную боль. Единственное, что могу поставить себе в заслугу, — это то, что в нашу бытность удалось перекрыть практически все крыши Соловецкого монастыря, тысяч восемнадцать квадратных метров. Конечно, отъезд с Соловков в восемидесят четвертом был капитуляцией.

В то лето я вернулся в Москву опустошенный, с твердым желанием никогда больше не работать прорабом, а может быть, и вовсе уйти из реставрации. Мне психологически трудно давить на людей, командовать ими. Какой из меня прораб? Сколько раз меня брали на вполне приличные должности, оставалось только отдать трудовую книжку. Но я останавливался перед обитыми дерматином черными дверьми, так ни разу и не открыл их. В конце концов я виовь пошел... в прорабы.

Был мглистый октябрьский день, служебный автобус вез меня и главного инженера Экспериментальной научно-реставрационной мастерской по Сухаревским переулкам и остановился, не доехав Сретенки. Мотор заглушили, на улице было противно, и выходить не хотелось. Мимо автобуса прошествовал бородатый малый в несколько щегольском рабочем комбинезоне, в каждой руке по бутылке итальянского вермута.

— Вот это твой «кадр», идем следом, — сказал главный инженер.

В раздевалке — запущенном полуподвальчике — мой «кадр», будущий соратник Женя Корчагин, сразу перешел в контратаку:

— Где пакля? Чем окна утеплять? Почему все лето без кирпича? Зачем...

Я спросил главного инженера, где второй обещанный рабочий; оказалось, в отпуске. Втроем пошли на объект. Церковь Троицы в Листах стояла за перекошенным забором, вокруг мусор, разбитые механизмы, бурые кирпичи и белая окаменевшая известь — плоть

и кровь памятника. Внутри плохое освещение, мостки, брошенные через открытый подвал, до краев заполненный водой,— только уток запускай. В трапезной, справа у окна на груде кирпича телефон и вполне приличное кресло рядом, каменщики тешут кирпич и звонят подругам, сидя в этом кресле. Придется им менять привычки, здесь будет мой кабинет. Бородатый малый заявил, что день рабочий заканчивается, главный инженер укатил в контору, мне же надо было дождаться на месте автора проекта — архитектора Журина. От этой встречи для меня на Троице зависело все.

В реставрации, если не сложился любовный треугольник «автор — подрядчик — заказчик», то это может обречь памятник на долгие годы прозябания, и денежки будут потихоньку осваиваться, и пойдут бесконечные, бесплодные споры о наличии и отсутствии документации, а здания, старые стены будут разрушаться. Как на Соловках.

За те несколько дней, что я провел в экспериментальной мастерской, об Олеге Игоревиче Журине я услышал много мнений, большей частью негативных — придирчив и неуживчив, на компромиссы не идет, работает с ним трудно. Но до какой степени можно было доверять этим малознакомым мне людям? Журин пришел в сопровождении одного из своих помощников, сам высокого роста, седой, вида апостольского, в то же время достаточно молод и красив.

— Ну как, вы не испугались? — спросил он меня. Я накально ответил, что нет. За истекшие два года известность этого человека существенно выросла в связи с его борьбой за памятники в наиболее критических ситуациях. Есть более заслуженные архитекторы-реставраторы, более активные общественники на ниве охраны памятников, но я больше не знаю в Москве профессионалов, способных, как он, прислониться спиной к старой стене и молча посмотреть в лицо разрушителям, за которыми — могучая техника, а в руках — бумаги на снос, всеми, кем надо, уже утвержденные. Журин говорит: «Все зло на свете от мелких мужчин»...

Начались привычные прорабские будни; Троица казалась мне маленьkim кусочком Соловков, перенесенным в центр Москвы. Но что же делать с катастрофическим количеством хлама в церкви и вокруг? Помог Журин, привел общественников, первые ударные силы, со своими рукавицами и стаканами — чай пить, поскольку в этом на неизвестного прораба не рассчитывали.

С той осени 84-го много выпито чая, были споры и ссоры и громадное количество черной работы, выполненной на этих субботниках, которые превратились в четверги, пошел процесс перехода из любителей в профессионалы, и сейчас мы набираем молодежь практически только из активистов общества охраны памятников. До завершения работ на Троице еще далеко, но я прекрасно понимаю, что без этой неугомонной и разнохарактерной компании — активистов ВООПИК — у нас ничего бы не вышло.

И все же с реставрацией надо что-то делать, ее нынешние производственные рамки несоизмеримы с тем общественным резонансом и значением, которое она обрела сегодня. Пафос защиты национальных сокровищ должен быть реализован в новых действиях и формах.

Как-то в один из традиционных четвергов сидели мы на Троице, разговаривали вроде бы о мелочах, тут были и штатные уже реставраторы, и общественные работники на нашей ниве. Круг проблем всем был достаточно ясен. И как-то само собой возникло предложение: давайте подведем под наши интересы, взаимоотношения, действия еще и формальную основу.

И мы создали Московское молодежное реставрационное объединение. Мы? Нет, время. Помимо существующих чиновых форм связи между людьми, причастными к судьбе памятников, складываются отношения, которые оказывают непосредственное влияние на состояние этих старых зданий. И, поверьте, куда как чаще в нашем деле творят полезного «в свобод-

ное от работы время» и не за зарплату. Кто из реставраторов откажется в консультации по памятнику, сославшись на нехватку времени? Кто бросит свой объект, потому что заказчик перестал платить деньги? Есть, конечно, и такие, но это не настоящие реставраторы.

Чиновники почему-то считают, что судьба здания — вопрос их компетенции, и тут сталкиваются с интересами других людей, общественников и профессионалов. Существует несколько принципов, из которых формируется чувство памятника. Все остальное вторично, эрудиция, повышение профессионального уровня — дело наживное. А люди объединяются на чувство памятника. У них появляются личные цели. У Андрея Гирича личная цель — отвоевать у завода «Динамо» церковь Рождества Богородицы, где похоронены герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя. В какой форме будет существовать этот памятник? Пока никому не ясно, идет изнурительная борьба, переписка. Таких людей у нас называют полуслуги, но уважительно «народными мстителями».

Общественное движение не должно замыкаться только на разгребании мусора в реставрируемых зданиях. Каждый человек, забредший к нам «на огонек», приходит не из безвоздушного пространства, его предыдущую жизнь, его возможности надо максимально использовать. Наш традиционный вопрос новичкам: чем занимается в свободное от реставрации время? Все больше техническая интеллигенция, ответственных работников Главснабов почему-то не попадается, а жаль: их «служебное положение» можно было бы использовать «в личных целях»...

Как могут реализовываться наши возможности? Пример: весьма известные в Москве палаты Щербакова на Бакунинской улице. Среди пустыни, устроенной варварами от реконструкции столицы весной и летом 86-го года, палаты устояли исключительно стараниями «народных мстителей». Все было — иочные пикеты, и выведенный из строя школьниками экскаватор, когда до сноса оставалось минут пятнадцать — двадцать. И палаты стоят. Без крыши — ее успели смахнуть, своды разъезжаются. Безо всяких включений в план проектных работ в свободное время инженеры Спецпроектреставрации Наташа Филиппова и Нина Лебедева сделали рабочие чертежи на временную крышу и укрепление конструкций, активист Владимир Березин собрал бригаду из таких же, как он, умелых парней — и крыша уже строится. Но для этого мне, начальнику участка, нужно было использовать свое служебное положение и добиться разрешения использовать на эту крышу казенные материалы, а заместителю председателя городского общества охраны памятников истории и культуры Сергею Королеву использовать свое служебное положение и организовать расчеты с реставрационной мастерской. Причем по этой системе, предложенной и внедряемой нами, почти все деньги за вычетом стоимости материалов возвращаются обратно в фонд общества охраны памятников, а план мастерской не страдает. Расчет идет по нарядам коммунистического субботника — с красной полосой.

Что тут особенного? А то, что чисто официальным порядком здание погибло бы, пока шло согласование. Вот для таких случаев и нужно наше Московское молодежное реставрационное объединение.

Пришли к нам молодые художники, совсем юные — студенты училища имени 1905 года, хотят копать, таскать, разгребать. Это, конечно, дело хорошее, но мы предложили им... порисовать. Старые уголки Москвы, дворики, балкончики, липы во дворах. А потом устроить выставку. Да, забыл сказать — рисовать те кварталы, которые по реконструкции подлежат сносу. Может быть, кто-нибудь там, наверху, задумается? А молодые художники мечтают о своей мастерской, о собственном угле. Могу я как должностное лицо в одном из зданий-памятников, которые мы реставрируем чуть не десятилетия, отвести им на свою ответственность помещение? И в этом тоже работа нашего объединения. Дело тут не в добром или недобром «яде», просто я убежден в необходимости максимального использования меры ответственности, отпу-

щенной мне в силу моего достаточно скромного, но вполне определенного служебного положения.

В институте я учился на факультете систем управления — автоматика, телемеханика, вычислительная техника. С тех пор этими вопросами не занимаясь, но усвоил понятия: «модель реального процесса» и «критерии оптимизации процесса». Наше Московское молодежное реставрационное объединение только встает на ноги, это наша модель реставрационного производства, модель отношений на производстве и в обществе. В той критической ситуации, которая сложилась со старыми зданиями (а критичность ее состоит не в том, что кто-то целенаправленно сносит здания, а в том, что предоставленные самим себе, они доживают последние годы), необходимо построить работу на иных принципах, сочетать жар и самоотвер-

женность «народных мстителей» с холодным расчетом теоретиков-профессионалов, с железной хваткой терпких прорабов, с кастовой гордостью рабочих-реставраторов, с возможностями чиновников от культуры, которым тоже хочется памятники спасать, только они не знают, как это делать. Занимаясь реставрацией, мы решаем не только свои проблемы, в определенном смысле она является собой модель того созидательного процесса, который идет сейчас в обществе.

Старые здания обладают исключительной устойчивостью — много лет как снесена крыша, свод пробит, про окна-двери нет и речи, а здание стоит! Что это? Избыточная прочность, расточительство предков? А может, предвидение того времени, когда здания будут стоять без крыш?

Так начнем с того, что примемся чинить крыши.

ВЛАДИМИР ТУМАЕВ: «НАЙТИ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ»



Кинорежиссеру Владимиру Тумаеву тридцать три года. Прошлой осенью, на пятом фестивале молодых кинематографистов Москвы, его короткометражный художественный фильм «Поездка к сыну» был удостоен Главного приза.

Женщина приезжает к сыну, который служит в армии, чтобы признаться ему, что не выдержала одиночества, что встретила хорошего человека, и находят, и счастью, понимание... Вот такая камерная, казалось бы, история лежит в основе фильма.

— Это фильм о совместности, об искренности,— говорит Владимир Тумаев.— В каждой сцене я стремился достичь предельной психологической обнаженности.

— Кто ваш учитель?

— Марлен Мартынович Хуциев. Он учил нас — собственным примером! — честно относиться к профессии, сторониться всяческих компромиссов. Проучившись, словом, пять лет у Хуциева, я твердо усвоил, что кинорежиссура и конформизм, кинорежиссура и неискренность несовместимы.

— Согласитесь, что мало кто из выпускников ВГИКа последнего времени скажет такие слова о своем мастере. А сейчас студенты, находясь поддержку у нового руководства Союза кинематографистов, как вы знаете, требуют, чтобы с конформизмом нанонец было покончено и ВГИК сделался бы подлинно творческим вузом.

— Да, другие студенты, напоминавшие брошенных детей, завидовали той атмосфере, которую создавал наш мастер. Хуциев действительно по-настоящему занимался с каждым из нас. На третьем курсе он предложил нам обратиться к классике и сделать работу на тему «Молодой человек XIX века». Администрация института эта тема не пришла по душе — дескать, во имя чего тратить деньги на воссоздание былой эпохи, — но наш мастер своего добился. Я выбрал «Идиота» Достоевского, ведь князю Мышкину было двадцать семь лет. На главную роль Хуциев предложил мне Бо-

риса Плотникова — помните, у Ларисы Шепитько в «Восхождении» он играл Сотникова? Я поначалу побаивался: известный же артист, «потянет одеяло» на себя. Но этого не произошло. Плотников создал впечатляющий образ князя Мышкина. И времени не жалел, хотя съемки затянулись, — к неудовольствию вгиковского начальства, но при поддержке своего мастера я снял не одну, как положено, часть, а целых три.

— Как вы сейчас оцениваете эту свою студенческую работу?

— Как поиски собственного киноязыка. Тяжелово, как вижу теперь, получилось.

— Рискнете сформулировать: что для вас кино?

— Емкий зрительный образ. А если этого нет, то окажешься иллюстратором. Делая ставку лишь на сюжет и характеры и не взывая к ассоциативной памяти зрителя, настоящий фильм не создашь.

— А возвращаясь к «Поездке к сыну»...

— Мне удалось несколько кадров, и я счел это моментом истины... Нет, извините, говорить об этом не следует.

— Хорошо. Может быть, расскажете, что теперь снимать собираетесь?

— Полнометражный художественный фильм.

— А чуть подробнее?

— Предпочитаю пока помолчать. Зачем сотрясать воздух? Надо сначала сделать. Скажу лишь, что это будет фильм о молодом человеке, о нашем времени его глазами. Буду работать со своим единомышленником оператором Анатолием Васильевым, который на нашем фестивале получил за «Поездку к сыну» приз как лучший оператор.

Остается добавить, что на закрытии фестиваля Владимиру Тумаеву был вручен приз, учрежденный нашим журналом.

Ю. Леонидов

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Читатель, здравствуй! Нам хочется узнать — какой ты? Нашей «Юности» 31 год, но нам хочется, чтобы она оставалась именно «Юностью». И поэтому мы надеемся, что ты поможешь нам. Чтобы писать точнее и остree, чтобы наши повести, рассказы и стихи тревожили тебя, чтобы нам удавалось говорить с тобой о том, что ты считаешь главным для себя, нам важно знать, сколько тебе лет, где ты живешь, твои интересы. Если у тебя найдется несколько минут, то ты сможешь помочь нам сделать журнал лучше. Ответь на анкету и вышли ее в адрес «Юности». Социологи изучат твои ответы, а потом мы расскажем, что в результате получилось. Итак, ждем! Очень!

1. Как давно выписываете наш журнал? Обведи номер подходящего ответа кружком.

1. Первый год.
2. Два-три года.
3. Четыре-пять лет.
4. Более пяти лет.
5. Не выписываю.

2. Часто ли читаешь журнал?

1. Регулярно все номера.
2. Большую часть номеров.
3. Читаю редко.
4. Читаю отдельные материалы.

3. Твое отношение к журналу?

1. Это мой любимый журнал.
2. Журнал интересный, но есть журналы, которые мне нравятся больше.
3. Журнал не хуже и не лучше всякого другого.
4. В журнале интересны отдельные материалы.
5. Журнал мне не интересен.

4. Какие материалы журнала читаешь или не читаешь совсем? Отметь крестиком в соответствующей графе.

Читаю. Не читаю.

- Проза
Поэзия
Публицистика
Культура и искусство
Наука и техника
Критика
Зеленый портфель
Почта «Юности»

5. Каких материалов в журнале больше — интересных или неинтересных?

1. Почти все материалы интересны.
2. Интересных материалов больше, чем неинтересных.
3. Примерно поровну.
4. Ненисторесных материалов больше, чем интересных.
5. Трудно ответить определенно.

6. Оцени художественное оформление журнала. Что не устраивает?

1. Обложка.
2. Цветная вкладка.
3. Иллюстрации.
4. Шрифт.

Конкретно в чем?

7. Какой материал этого номера понравился больше всего?

1.
 2.
 3.
8. Какой не понравился?
1.
 2.
 3.

9. Являешься ли ты читателем какой-либо библиотеки?

1. Да.
2. Нет.

10. Занимаешься ли ты литературным творчеством?

1. Да.
2. Нет.

11. Что хотел бы прочесть в журнале? Обведи номер подходящего ответа.

1. О проблемах твоего трудоустройства, выбора профессии, о роли комсомола в твоей жизни.
2. О проблемах молодежного общения (клубы по интересам, самодеятельные объединения и т. д.).
3. О современной музыке, танце, кинофильмах, спектаклях, телевизионных передачах для молодежи.
4. О проблемах любви, брака, семьи.
5. О жизни молодежи за рубежом.
6. О чем еще? Напиши. _____

Расскажи, пожалуйста, немного о себе.

12. Пол.

1. Муж.
2. Жен.

13. Возраст?

1. до 16.
2. 17—21.
3. 22—28.
4. 29—35.
5. 36—45.
6. 46—55.
7. 56 и старше.

14. Род основных занятий?

1. Учащийся, студент.
2. Рабочий.
3. Сельский труженик.
4. Служащий.
5. Инженерно-технический работник.
6. Учитель, врач, научный работник.
7. Пенсионер, домохозяйка.
8. Другое занятие. Какое? _____

15. Если ты учишься (в том числе без отрыва от работы), то где?

1. В средней школе.
2. В училище, СПТУ.
3. В техникуме.
4. В вузе.

16. Какое образование получил?

1. Техническое.
2. Гуманитарное.

3. Естественнонаучное.

4. Иное. Какое именно? _____

17. Где живешь?

1. В большом городе.
2. В пригороде.
3. В маленьком городе.
4. В поселке.
5. В селе.

В какой республике, регионе? _____

Благодарим за помощь!

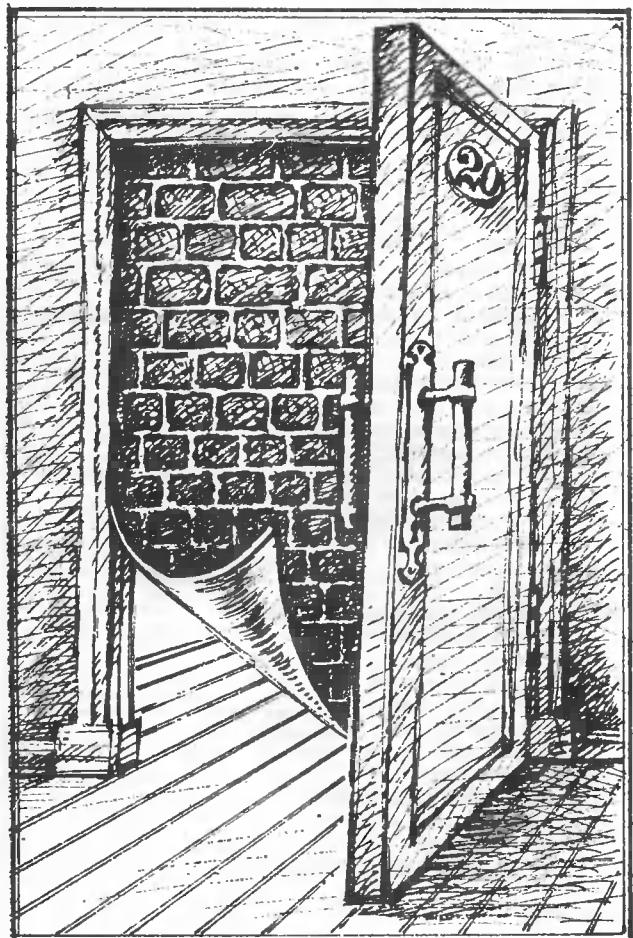
«ЮНОСТЬ»

20-я КОМНАТА

**Тревожные
проблемы
с точки зрения
молодежи**

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

Рисунки М. Златковского



Вначале было письмо:

«Здравствуйте, уважаемая «Юность»!

Сразу извиняюсь, что мое письмо будет «непричесанным». Меня взволновал девятый номер журнала, где Вы напечатали письмо молодого москвича Александра Вихрева «Кто за?».

Правильно: «без тесного контакта средств массовой информации с молодежью перестройка в обществе невозможна». Например, кто такие «панки, хиппи, металлисты» и т. п.? Мы узнаем об этом сами, друг от друга, а газеты говорят лишь то, что там, на Западе, это очень вредные, глубоко чуждые нам течения; на этом вся информация заканчивается. Но почему у нас все-таки появляются эти самые панки и металлисты и даже — уму непостижимо! — в так сильно пострадавшей от фашизма стране появляются и такие типы среди молодежи, которые называли себя фашистами? Мы с друзьями в школьные годы одевались «под панков» — только потому, что нам нравился их внешний вид, потому что люди других возрастов так не одевались. Об их мировоззрении мы не знали ничего...

То же самое и с музыкой. Лет десять назад, например, группу «Битлз» ругали везде на чем свет стоит, а поклонников было отнюдь не меньше, чем сейчас — миллионы. Мало того, исключая из программы радио и ТВ западную музыку, мы тем самым создаем ее культ, а вовсе не отучаем от нее, ибо запретный плод всегда сладок. Представьте, что изменилось бы, если хотя бы раз в неделю передавали записи таких групп, как «Пинк Флайд», «Лед Зеппелин», «Дип Пэппл»? А перемены были бы такие: исчез бы ажиотаж и спекуляция вокруг пластинок и записей, и в спокойной атмосфере человек скорее разбрался бы, подходит это ему или нет.

Прав Александр, пришла пора предоставить молодежи больше самостоятельности, дать самим разобраться, что хорошо, а что плохо. И еще: молодежи надо дать возможность открыто высказываться. Я согласен с ним, что молодые люди не доверяют порой средствам массовой информации. И не будут доверять, пока их самих не пустят на страницы журналов и газет, с их собственными проблемами!..

Взял карандаш и подчеркнул в письме Вихрева то, с чем я согласен, что близко и волнует. Получилось — все письмо. Итак, я — «за»!

С уважением, Фроленко Виктор, 19 лет, фотограф.
г. Магнитогорск».

Мы в редакции тоже решили, что мы «за», и привлекли Сашу Вихрева к себе в «Юность», попросив привести с собой друзей, которые так же, как и он, чувствуют потребность высказаться. И вот в назначенный час они, такие разные — тихие, замкнутые и бурно общительные, с рисунками и папками под мышкой, заросшие и аккуратно подстриженные, — явились к нам, на второй этаж старого дома в центре Москвы, где живет «Юность», в отдел публицистики — комнату № 20, что в самом конце длинного, богатого углами и поворотами редакционного коридора.

Мы долго и, надо признать, горячо говорили о нашем журнале и современной музыке, о необходимости сохранения культурного наследия, о различных взглядах на жизнь и ее проблемы, и главным образом говорили о них самих, спорили, и в конце концов, поскольку разговор так и не закончился, возникла идея создать в 20-й комнате клуб, в котором бы обсуждались сегодняшние проблемы молодежной жизни. Все сказали «да» — и возник наш клуб, который так и назвали — «20-я комната».

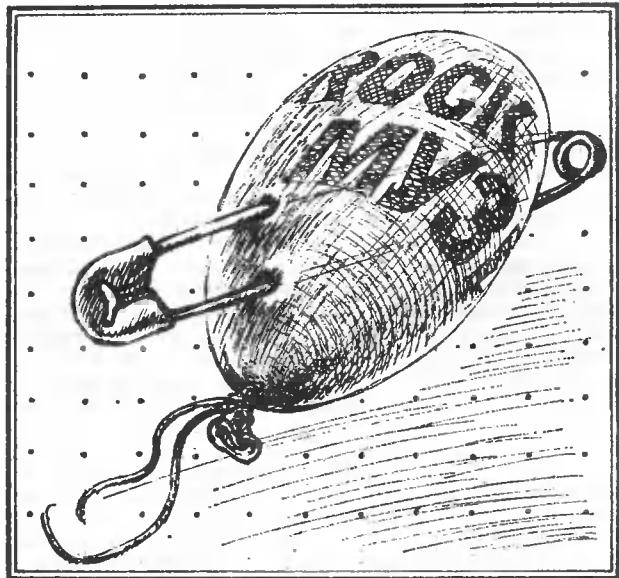
Сегодня мы обсуждаем:

«УРОК РОК-МУЗЫКИ».

«ЧТО ДЕЛАТЬ С ФАРИЦОВЩИКОМ?»

«МОНОЛОГИ ОДИНОЧЕСТВА: ОН И ОНА».

УРОК РОК-МУЗЫКИ



Представьте себе: утро, в унылый урбанистический район Москвы один за другим прибывают трамваи, до отказа набитые весьма экзотическими молодыми людьми с жуткими прическами и горящими глазами. Постепенно перед входом в Дом культуры МИИТа собирается пестрая и шумная толпа. Что происходит? Рок-фестиваль, организованный экспериментальной лабораторией рок-музыки.

Но лишь немногим счастливцам удается ценой немыслимых усилий прорваться в зал. Эта ситуация типична для любого рок-концерта. Иногда отчаявшиеся «рок-фаны» пролезают в слуховые окна, разбирают крышу, подбирают ключ к черному ходу, прорываются сквозь цепь дружинников, наконец, рисуют фальшивые билеты — короче, готовы на все, лишь бы пробиться на заветный «сейшн»...

Всегда поражало, что «Юность» — судя по названию, журнал молодежный — совсем не уделяет внимания самому популярному среди молодежи жанру искусства — рок-музыке. Но в 7-м номере журнала мы прочли статью Натальи Зимяниной «Ау!» и воспрянули духом в надежде, что начавшийся разговор будет продолжен. Надоело молчать...

Вряд ли имеет смысл излагать сейчас историю нашего рока, это тема для диссертации. Важно то, что сегодня он существует как совершенно самобытное явление: «Аквариум», «Алиса», «Зоопарк», «Выход» (Ленинград), «Последний шанс», ДК, «Вежливый отказ», «Звуки Му», «Веселые картинки» (Москва), «Наутилус», «Урфин Джюс» (Свердловск), «Облачный край» (Архангельск), ДДТ (Уфа), «Цемент», «Зга», «Атональный синдром» (Рига), «Монте-Кристо» (Одесса) и др. Все это давным-давно не копия с западного рока. В творческом же отношении такая «самодеятельность» на голову выше множества «профессиональных» ВИА, но оригинальному коллективу на профессиональную сцену стало практически невозможно пробиться — туда проникает самое банальное, серое и беззубое. А потом, глядя на такие ансамбли, композиторы и поэты пишут статьи о «художественной беспомощности» всего жанра.

В последнее время, однако, что-то меняется. Слово «рок» начинает произноситься и даже печататься. И просто удивительно порой наблюдать, как, например, теперь рекламируют Ю. Лозу — с таким же бездоказательным пафосом, с каким недавно втаптывали в грязь. Впрочем, трудно назвать и то, и другое «музыкальной критикой». Таких рекламных публикаций хватает. У них есть одна довольно неприятная общая черта: рок они трактуют как вид эстрады.

Но ведь на самом деле рок — вовсе не «ритмичная музыка для танцев», а совершенно самостоятельный жанр искусства, появившийся в середине XX века в результате творческого и технического прогресса так же, как в начале века появилось кино. У рока своя эстетика, свой ритуал, своя история, свой взгляд на мир. Распространено заблуждение, что он порожден буржуазной «массовой культурой» и разрушает нашу национальную культурную традицию: но в том-то и дело, что разрушают и подрывают ее так называемые ВИА, которые отпугивают даже школьников абсолютной пустотой своих текстов якобы про любовь типа «Скажи мне «да» и безнадежно устаревшей музыкой. В этих песнях наш современник предстает в виде пошлого и сентиментального болвана. Вот здесь-то и можно говорить о сознательном опорочивании образа советского человека.

Что касается рока, то такие группы, как ДДТ, «Облачный край», «Звуки Му», продолжают традицию отечественной культуры: Владимира Высоцкого, бардовского движения, советской поэзии 60-х годов. На наших глазах появился новый, перспективный жанр, вовравший многое из музыкального наследия, в том числе и русскую «карнавальную культуру» — скоморошество; и музыкальный фольклор, негритянский, а в последнее время и отечественный, и социальную остроту бардовской песни. Настало время обсудить проблемы этого жанра. Но не на уровне того, на ком какие кроссовки и кто куда перешел, а по-серьезному. Нужно собрать «круглый стол» из тех, кто своими руками создал советский рок: С. Рыженко («Последний шанс», «Футбол»), Ю. Шевчук (ДДТ), С. Жариков («Веселые картинки»), Б. Гребенщиков («Аквариум»), М. Науменко («Зоопарк»), П. Мамонов («Звуки Му»), А. Яхимович («Цемент» — кстати, он же, Яхимович, президент рижского рок-клуба). Поговорить есть о чем: поклонников рок-музыки миллионы — школьники, молодые рабочие, студенты.

Получается так: открыли двери для рок-музыки, но захлопнули их перед носом у слушателей. Кто постарше, вспоминают: в начале 70-х они совершенно свободно ходили на «сейши», и даже выбирали, кого интереснее послушать: «Машину», «Високосников» или «Скоморохов». Сегодня везде рекламируется ленинградский рок-клуб и московская рок-лаборатория, но чтобы попасть на их «мероприятия», нужно выложить четвертной и еще заискивающе улыбаться. Все вполне естественно — концертов мало.

Михаил Сергеевич Горбачев сказал на XXVII съезде партии: культурно-воспитательная работа должна идти навстречу интересам людей, — и мы с этим полностью согласны. К сожалению, работники культуры стремятся уйти от решения этих проблем, цепляются за ветхие инструкции, создают искусственные препятствия при организации групп и устройстве концертов. Обо всем этом тоже нужно говорить и писать, поскольку это та почва, из которой вырастает всякое рок-творчество: самые знаменитые группы и у нас, и за рубежом начинали с того, что играли в маленьких кафе и клубах для ребят со своей улицы. Мы надеемся, что «Юность» поразмыслит над всем этим и, быть может, опубликует наше письмо.

И. АВАРИЯ, музыкант, Илья СМИРНОВ, историк, Сергей ГУРЬЕВ, искусствовед.

А почему бы и нет? — решили участники клуба. Более того, если действительно у читателя есть такое желание, то можно «Урок рок-музыки» проводить в «20-й комнате» регулярно. Пригласить, например, самого популярного рок-музыканта, и пусть он... Здесь шум на нашем заседании достиг апогея. Но к общему мнению так и не пришли, и решили предоставить читателю назвать:

1. ИМЯ ПЕРВОГО РОК-СОБЕСЕДНИКА.
2. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАДАТЬ.

Кто же он — звезда рока?

Чтобы мы быстрей высчитали большинство голосов, на конверте помечайте: «20-я комната» — «Урок рок-музыки».

ВСЕ НА ПРОДАЖУ?

Мне восемнадцать лет, я — студент. Живу с родителями. Как ни пытался прожить на сорокарублевую стипендию — не получалось. Подрабатывал фотографом. «Шмотки» в моей жизни играют свою, хотя и не первую, роль. В идеале хотелось бы самому выбрать себе стиль одежды. На практике — приходится одеваться в то, что достану сам или купят родители. Ведь для меня, как и для большинства моих сверстников, стремление быть современно одетым может быть материализовано не иначе как с помощью «фарцы». Мне это, увы, не по карману, и поэтому знакомиться с «утягами» по поручению «20-й комнаты» я отпирался с чистым сердцем.

Бот уже двадцать лет, как «фарцовщики» благополучно существуют, несмотря на множество разговоров вокруг них. Правда, последние несколько лет они предпочитают именовать себя «утягами». Кроме этого, в основном ничего не изменилось. За эти годы они довольно беспрепятственно выработали свой взгляд на мир. Успели уже воспитать детей, передать им свою «идеологию». Дети тоже успели подрасти и вошли в самостоятельную жизнь, стараясь не отступать от родительских принципов жизни. Если у родителей и было какое-то понимание своей неправоты, то у их детей эдакого «стыда» уже нет — более того, считают «фарцовку» не только выгодным, но и полезным для окружающих, добрым, благородным делом...

Первая встреча произошла около метро «Парк культуры», что мне показалось весьма символичным. Разговор наладился быстро: все-таки ровесники, многое понятое с полуслова. Они сразу начисто отвергли обвинения в том, что для них самое главное в жизни — вещи сугубо материальные. «Для нас это не так. Мы любим книги, музыку. Если подвернется под руку, сдадим шмотки, нет — и ладно». Короче, разговор о духовной жизни у нас совершенно не получился...

— Зачем же вы «фарциуете»? — начал тогда я прямо в лоб.

— Хотим самостоятельности. Нужны свои деньги, чтобы прилично, красиво выглядеть. Неужели нам могут это запретить? А где найти вещи по вкусу? Уж не в магазине ли? Оглянись хотя бы на тех, кто стоит рядом с тобой, скажем, в метро. Особенно кислая картина зимой. На всех пожожие, приевшиеся взгляду пальто странных, неприятных цветов: черные, серые, темно-синие, коричневые. Да у людей и настроение возникает под стать. Что бы ты ни говорил, а мы действительно делаем добро — одеваем красиво людей, приносим им радость. Кто еще, кроме нас, это сделает? Никто.

— Ведь вы не ради людей стараетесь, а ради денег. Сколько вам нужно в месяц для полного счастья?

— Рублей двести, но мы не закомплексованы на наварах. Просто делаем деньги, у мамки не просим — самостоятельные.

— А родители, как они относятся к такой самостоятельности? Неужели не замечают, что вы «утяжи»?

— Догадываются... Но внимания предпочитают не обращать. Так ведь проще и нам, и им. Дома мы не так уж часто бываем. Иногда забегаешь только на ночь.

— А я вот, — из общего хора ответов выделился девчонский голос, — живу одна. Когда жила с мамой, как только обменивалась с кем-нибудь шмотками — дома сразу скандал. Теперь живу одна. А с мамой теперь мы лучшие подруги, хотя и разъехались. Вот что значит видеться реже...

— Что же все-таки для вас «фарцовка»? Образ жизни?

— Нет, это не жизненный принцип. Просто времменное, скорее даже возрастное занятие. Скоро перестанем этим заниматься. Сейчас пока можно, но для взрослого человека... мелко. Наверное, вообще

отойдем от этих дел. То, что крупнее: валюта или наркотики, — это слишком серьезные дела, не каждый возьмется, не для нас это.

— Значит, переходный возраст, издержки, вроде ломки голоса? На том и сблизились?

— Сближает только «дело». Есть ребята, кому двадцать лет, есть и те, которым за тридцать. «Дело» объединяет, но, честно говоря, друзей среди таких знакомых мало, хотя со многими видимся каждый день.

Наш разговор длился довольно долго, ребята подходили, отходили, снова возвращались, шепотом переговаривались, в их руках постоянно мелькали деньги. Разговор разговором, а дело делом.

— Меня зовут Саша, — назвался один из вновь пошедших ребят. — Несколько лет занимаюсь «фарцовкой». Правда, последнее время совсем немного. Начинаю чувствовать, что появляется какая-то опустошенность. Ребята постарше, которые лет десять «утюжат», говорят, что уже не могут, — все разговоры, буквально все, сводятся к деньгам. «Утюжить», конечно, хорошо, но до какого-то предела, должна же быть и цель в жизни.

— У тебя она есть?

— Конечно. Я учусь в Московском стоматологическом институте, хочу хорошо закончить, лечить людей. Слушай, — спросил вдруг Саша, — а тебе самому за эту статью про нас деньги дадут? Ну вот видишь, и тебе мы помогаем заработать... А вообще-то я согласен выступить даже открыто, по телевизору, например.

Эта фраза, правда, сорвалась у Саши в «пылу разговора». Все стоящие рядом моментально отреагировали: «Что?! Ну уж нет, мы тебе не дадим!»

— Все-таки, — ответил я Саше, — я получу деньги за работу, а ты, как ни верти, за спекуляцию... А это не что иное, как воровство, либо из кармана людей, либо из кармана государства. Если бы вам предложили, скажем, сдельную работу, часа четыре в день, и получали бы вы примерно те же деньги, вы бы согласились?

— Сдельную? Нет, нам и так хорошо.

Этот вопрос попал в незаконченное место. В головах появились ногти раздражения. Реплики стали носить незаконченный характер. Впрочем, вторая половина недоговоренных реплик была написана на лицах: «Что мы, дураки, что ли, вкалывать? Не дураки!» Наконец был найден достойный ответ:

— А кто вам сказал, что «фарцовка» — это просто? Ты не представляешь, какой это труд. Вполне деловое занятие, не проще многих.

— Каким путем вы достаете товар?

— Работаем в основном в центре, ходим бомбить фирму. Ну, обходняк там, туда-сюда. Шмотки поднимаем обычно у стейтсов, финнов, французов, бундесов. Сейчас самое ходкое — это шуз: «Рибак», «Этоник», «Нью-Бэлэнс», «Конверс», «Брукс» и майки еще «Диор», «Каппа»...

Тут наш разговор достиг пика оживленности. Все наперебой стали рассказывать о своем любимом занятии. Появилось обилие сленговых слов, которые невозможно понять с ходу. Зажегся огонек в глазах. Но говорили в принципе все они одно и то же. Схема была одна, но свою «изюминку» каждый берег — «секрет фирмы». «Юные бизнесмены» увлеченно хвастались своими успехами, рассказывали о том, как добывают вещи у иностранцев. Это и называется, кстати, «бомбить фирму». Они говорили даже о том, какие вещи будут в ходу через два-три года. Они не собирались исчезать, как негативное явление. Они смело смотрели вперед.

Встретился я и с «фарцовщиком» другого круга. 17 лет. Тоже москвич, но живет в Бескудниково. Ездить в центр далековато. Нашел место поближе — у мотелей.

— Сколько «фарцовую»? Да около года. Сперва просто хотел красиво одеться. А потом, знаешь, когда деньги сами в руки идут... Рестораны и так далее — ну, сам понимаешь. На деньги менял мало, в основном на водку и икру. Брать удобней всего было часы и кроссовки. А сдавал просто в комиссионные магази-

ны, потому что друзьям как-то неудобно было: дорого запросишь — обидятся, а дешево самому отдавать не хотелось. Несколько раз приезжали ребята из Свердловска и Челябинска. Они брали партиями.

— Значит, «работаешь» в основном один?

— Ну, в общем, да. Тут у мотеля три группировки: человек по шесть. Я уплатил неустойку и получил право на работу рядом.

— Неужели ни разу в милицию не забирали?!

— Да нет, почему же, брали... Прямо с вещами...

— Ну, а потом? Изъятие, протокол, письмо в школу, комсомольское собрание...

— Ты что?! — Он посмотрел, не смеясь ли я над ним.— Когда так отпустят, а иногда договоришься — и свободен. Как будто и не был.

Чувствую, что читатель постарше уже точит перо, чтобы написать замечательную фразу: «На борьбу с этим явлением надо выступать всем вместе — школе, родителям и прежде всего — комсомольским организациям». Бросьте, уважаемый читатель, у этих ребят вполне сложившиеся взгляды, они кончат или уже окончили школу. Поздновато воспитывать. Конечно, есть люди, которых и под угрозами не заставишь фарцевать. Быть может, в этом только и состоит задача — воспитать такого человека. Но, может, лучше взяться с другой стороны, приняв за постулат аксиому: бытие определяет сознание, и так связать промышленность с рынком сбыта, чтобы не оставалось никакого зазора для образования нравственно-экономической плесени — пресловутой «фарцы»?

Сергей ЧАПНИН,
студент факультета журналистики МГУ.

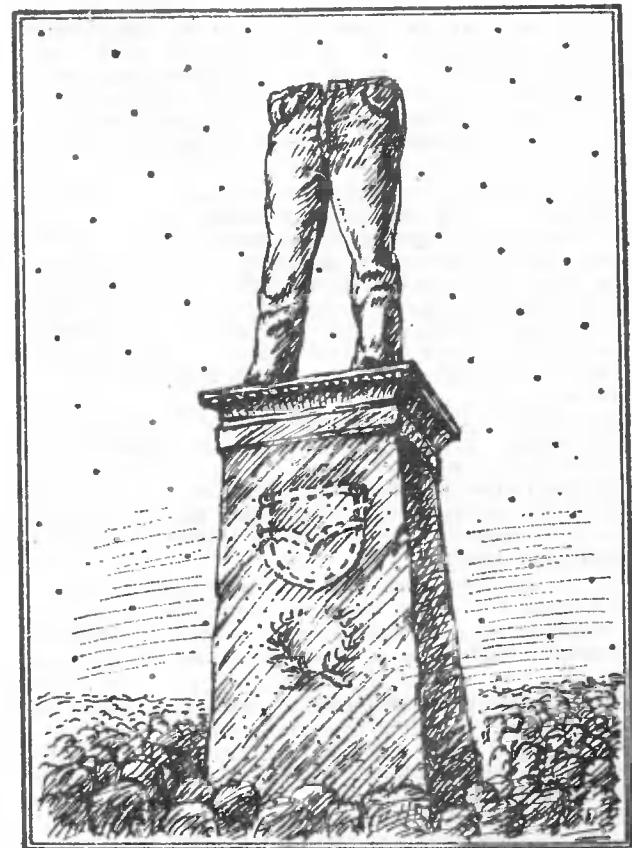
КОММЕНТАРИЙ «20-Й КОМНАТЫ»:

Некогда злосчастные джинсы успели пообстрепаться в диспутах, дебатах и на газетных страницах не меньше, чем при самой беспощадной носке, и с некоторых пор стали в спорах «о веществе» просто символом, некой фирменной одеждой, которую так не купишь, а надо непременно «доставать». Но прошло время, и Москва дожила до того часа, когда джинсы из Италии, Франции, Индии, Западной Германии можно свободно купить в магазине. Правда, взамен пришел куда более разномастный дефицит: «варёнка», «бананы», «тапочки» и т. д. и т. п. И опять при деле услужливые руки спекулянта, «фарцовщика», «утюга».

Если появился новый уровень потребностей, значит, должны быть новая система торговли, новая система обслуживания. Они должны поспевать за нашими потребностями, а они, десятилетиями не меняясь, не поспевают. Как отмечалось в Политическом докладе: «Призываю и разговоров на этот счет было немало, а дела практически стояли на месте...» Простые штаны, то бишь, извините, джинсы, выросли в проблему, которую за двадцать лет так и не смогли решить самостоятельно. Представляете, сколько за это время с ее помощью «воспитали» «фарцовщиков»? Сколько «джинсовых» конфликтов посеяли в семьях?

Бороться против спекулянтов и «фарцовщиков» надо не голословно, а предметно. Можно говорить что угодно о воспитании патриотизма, но давайте наконец убеждать не словом, а фактом: дайте молодому человеку советскую отлично сделанную модную вещь, так чтобы он носил и гордился, что ее сделала страна, в которой он живет.

Но зайдите в магазин, хотя бы в «Молодежный», столичный универмаг, специально открытый, чтобы свезенные сюда со всей страны товары соответствовали названию универмага и доказывали, что Министерство легкой промышленности и Министерство торговли радуют о молодежи. Стоит увидеть висящие плотными рядами представительного вида пальто и безумного пошива куртки, те же, что и тридцатилетие назад, брюки и рубашки, прочно, но варварски пошитую обувь, все это — существующее словно вне времени и возраста... Поневоле придут такие же мысли, что и семнадцатилетней Кате Кипкало из Саратова



ва: «Об одном думаю, когда смотрю на наши отечественные «калоши»: зачем и кому нужно переводить, точнее, беспощадно тратить сырье на безвкусную, немодную обувь? Давно прошло время, когда от обуви требовались лишь два условия: «чтоб не промокало и чтоб не жало». Ну, а в наши дни зачем щить такую обувь? Объяснил бы хоть кто-нибудь мне доходчиво: зачем переводить добро на утиль?»

Количество пар обуви и штук костюмов на каждую душу населения пошито с лихвой. Магазин, в изобилии заваленный товаром,—это конечный итог самоутверженных усилий швейников, обувщиков, всех, кто нас одевает и обувает. Это они напряженно трудятся, принимая обязательства и встречные планы, перевыполняя обещания и переполняя складские помещения товаром, экономя минуты и материал, получая премии и переходящие знамена, это они с завидным трудолюбием шьют, шьют и шьют — их не остановишь...

Хотя, может быть, и надо на одну ту сэкономленную минуту остановиться, оценить совершенное, взглянуть из-под руки на бесконечные ряды туфель, пальто и брюк, уходящие вдаль, и прислушаться среди замолкших на мгновение станков к слабому, но приятному голосу моды, стоящей за их натруженными спинами и мечтающей, чтобы хоть на часок подпустили к конвейеру... Но Минлегпром был суров и неуступчив: лелеемая дочь — Цифра, а называвшая и вредная падчерица — Мода. Один ей был ответ: «Изыди, сгинь, не мешай! У нас план, план, план!» И опять, не щадя себя, за станки, напрягаясь и откликаясь, высчитывая «количество затрат на одно изделие в штук-часах» с секундомером в руках, соревнуясь, кто скорее,— шьют, шьют и шьют...

Хочется обнять их всех, расцеловать за такую сма佐венную работу и сказать: «Товарищи дорогие! Огромное спасибо вам за те тыщи швейно-обувного ассортимента изделий, созданных вашими спорными руками! Теперь мы все обуты и одеты. Огромное за то спасибо! Но сейчас мы вас очень просим, потратьте, пожалуйста, на эту рубашку десять лишних минут и, втыкая в нее иголку, не думайте о ваших

«штук-часах», а подумайте о нас, мы приедем завтра за ней в магазин, не экономьте пуговиц и ниток, мы за все заплатим, но сделайте ее такой, чтобы она выглядела не хуже, чем у заморских империалистов, пошейте ее так, чтобы эти самые империалисты за-видовали этой рубашке и перерисовывали там в своих небоскребах фасон наших брюк и рисунок на май-ке».

Воевать против моды абсолютно нелепо. Какой она несуразной на первый взгляд ни представляла бы перед нами, как бы против нее ни всколыхивалось «общественное осуждение» (вспомните хотя бы газетную антиджинсовую кампанию: все статьи, густо усеянные восклицательными знаками, утверждали, что джинсы носить вредно: а) по идеологическим соображениям; б) по физиологическим, в) по этическим). Мода все равно рано или поздно одерживала верх, и даже тот, кто ее нещадно бранил, в конце концов облачался согласно ее требованиям и был готов с новыми силами сурово и безапелляционно осудить следующую волну моды... Однако стоит ли ломать копья?! Не проще ли принимать эти волны спокойно и разумно, а государству постараться извлечь выгоду от этой ветреницы, заставить и ее крутить шестерни нашей экономики?

Нужно ли быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что именно благодаря моде, вот этой заморованной на худсоветах, затюканной технологами, капризной падчерице, можно и выполнить и перевыполнить план.

Сказать, что во всех швейных и обувных объединениях работают люди с хорошо развитым вкусом,— это ничего не сказать. На каждом предприятии есть художники, специально получающие зарплату за то, чтобы предприятия выпускали модные товары, т. е., как это говорится, пользующиеся спросом у населения. Но голос художника — это все тот же пока тихий и ничего не решающий голос моды... Если же наконец художнику удастся протолкнуть «нововведение»: ну, предположим, дискотечные пумпы, то покупатель дождется этих «пумп» в магазине через два-три года, то есть точно в тот день и час, когда сей наряд бесповоротно выйдет из моды.

Если уж так велики сроки от идеи до воплощения, начать, например, готовиться к очередному крику моды за три года, глядишь, и поспеет ложка к обеду. Но чаще бывает так: обед закончился, а ложку мастера еще куют. Себе в ущерб, а не в выгоду обращаем моду.

Приведем несколько строк поэта: «Рубли завелись у рабочей дочки... Пошла в Мосторг. В продающем восторге ей жуткие туфли вручили в Мосторге... В руки моды — вожжи! Не по одежке протягивай ножки, а шей одежи по молодежи». Это Маяковский написал шестьдесят лет назад. «Продающий восторг» с тех пор не угас, как и не иссякла за давностью лет «одежно-молодежная» тема. И не иссякнет, конечно, пока не будут вручены моде если не вожжи, то экономические рычаги. А тем временем острые нехватка модных товаров будет восполняться иным путем... Если два поколения, одевших джинсы с помощью «фарцовщиков», соберут по рублю, то на эти деньги, думаю, можно отлив из бронзы пятидесятиметровые джинсы и установить их на проспекте Калинина у входа в Минлэгпром как памятник редчайшей неповоротливости и неуклюжести министерства в вопросах моды.

Впрочем, что нам бронза!.. Давайте прикинем. Предположим, что каждый пятый человек носит или носил джинсы. Если учесть, что джинсов хватает примерно на два года, а «джинсовая проблема» существовала два десятилетия и за это время стоимость их возрасла от 70 до 250, то за джинсы на-ми было заплачено ни много ни мало 75—80 миллиардов рублей. Поскольку своих джинсов мы так и не умудрились скроить, то половина этой одиннадцатизначной суммы пошла в карман зарубежных фирм, а другая половина — в карман советскому спекулянту. Так что тот назидательный памятник для Минлэгпрома можно отлив из металла и подороже.

Поэтому «20-я комната», обсудив встречу Сергея

Чапнина с «фарцовщиками», пришла к выводу о необходимости:

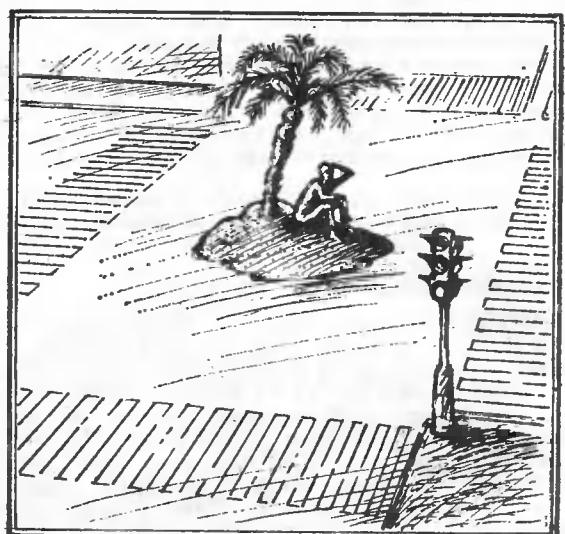
во-первых, не ставить точку;

во-вторых, продолжить обсуждение с нашими читателями;

в-третьих, попросить всех читателей, кого волнует эта проблема, ответить на два вопроса — где он покупает модные вещи и можно ли молодому человеку современному одеться в ближайшем магазине;

и, в-четвертых, направить наших корреспондентов в Министерство легкой промышленности, на фабрики, в магазины молодежной моды, чтобы увидеть, как идет перестройка в этой сфере.

МОНОЛОГИ ОДИНОЧЕСТВА



Еще не отгорели страсти Больших проблем, вдруг выяснилось, что мы в нашем шумном разговоре забыли самое главное — выслушать в «час приема по вечным вопросам» очень личные монологи. Мы притушили свет и налили крепкий чай. В «20-й комнате» наступила тишина. Слушаем. Тс-с...

Она...

Ночью лучше, чем днем. Нет этой вечной суетолоки...

Горят не светофоры, а далекие звезды. Тихо и пусто.

В мире ничего не случится, если меня не станет. В нем ничего не изменится, если буду продолжать жить и просуществовать до девяноста лет. Одиночные люди — потерявшиеся. Их потеряли. И они потеряли. Если бы я встретила человека, который понял меня! Или хотя бы попытался...

Словно стою перед плотно закрытой стеклянной дверью — сквозь нее вижу, как пульсирует жизнь, там мои друзья и интересные дела, там я всем нужна... Откройте дверь! У меня не хватает сил, прошу вас, откроите... Но люди идут мимо друг друга, не задевая. Каждый будто боится лишиться чего-то своего. Порою мне кажется, что те, кого вижу вокруг, так же одиночки, как и я, но только не хотят этого показывать, они притворяются, что им весело и хорошо, но чувствую, что в каждой квартире моего большого дома проходит такая же пустая и тоскливая жизнь.

Все время спрашиваю себя: зачем я живу? Ответа нет... Знаю, что его не существует...

...Я выпускала газету у себя в подъезде и вывешивала ее на первом этаже у лифта. После первых

двух номеров ко мне явилось все руководство жэка и сказало, что «низя», потому что не положено. Я рисовала, жэк сдирал. Наконец, у меня кончились ватманские листы и силы для бесплодной борьбы.

Примерно в это же время появился Игорь. Спустя месяц он сказал: «Ты извини, но с тобой очень сложно...» И ушел. Искать, с кем попроще.

После этого была попытка организовать детский театральный дворовый клуб, клуб «Дискуссия» при районной библиотеке, встреча с Володей, переезд в новый район...

Что происходит с нами? Почему есть одиночество? Как мы, люди, допустили, чтобы оно появилось? Почему мы не придумали лекарства от этой болезни?..

Хожу на работу, чтобы получать деньги и отправлять их маме, хоть как-то помогая ей. Я потеряла связь с временем, оно остановилось для меня.

Это не жизнь, а...осколки.

Я не хочу быть одинокой! Не могу так дальше! Но никто не слышит меня.

Вика МОСКВИНА

... И он

Класса примерно до пятого я был, как все. И, наверное, ничего в моей жизни существенно не изменилось бы, если бы я не так часто болел и, оставаясь дома, очень много читал.

Где-то с этих пор я подсознательно стал сравнивать окружающую обстановку, людей с образами классической литературы, искать между ними общее. Очень хотел найти человека нестандартного, разностороннего, яркого, с которым можно было бы на равных поговорить, кто понял бы меня и кого бы я понял, кто оценил бы мои слова и мысли.

За два года передружил почти со всеми моими одноклассниками. С некоторыми удавалось поддерживать разговор, находить нужную форму речи, интонации, так чтобы со мной было интересно, но когда пробовал заговорить об искусстве, то встречал обычно тупое недоумение или в лучшем случае — скучающее поддакивание. Уже с девятого класса меня начали считать задавакой, чужим и загадочным человеком, платили мне презрением и нелюбовью.

Отчаявшись найти среди школьной серости достойного человека, я записался на подготовительные курсы гуманитарного института. Первое время мне казалось, что мои проблемы на том кончились — сколько интересных, оригинальных ребят я сразу увидел. У них, правда, очень быстро наметилась своя компания, а я робел, боялся подойти первым — с неизвестными людьми мне всегда сначала очень трудно, кажется, что мои слова понимают не так, как надо.

Наконец представился случай познакомиться. Мы вместе дошли до метро. Разговаривали о Цветаевой, Гумилеве, но меня крайне удивило, когда кто-то из них поинтересовался, на каком отделении у меня блат.

Их интересы, мысли казались мне искренними, но разве может человек, искренне утверждающий, что «Мастер и Маргарита» — его любимая книга, заикаться о блате? К тому же все они были хорошо одеты.

Это давало им повод смотреть на меня свысока, друзьями мы не стали. Тогда я ушел с курсов.

Для меня это была пора тяжелейших переживаний — мне теперь казалось, что никогда не удастся встретить настоящих друзей.

Быть может, и я кому-то точно так же необходим. Но, видно, мы идем по жизни на параллельных курсах и никогда не узнаем друг о друге.

Вот он — парадокс: формально я не одинок — у меня есть родители, знакомые из числа тех людей, с которыми у меня появляется иллюзия контакта. С ними, наученный горьким опытом, я осторожен, скрываю свой интерес к классической литературе, к искусству, к поиску справедливых форм жизни в современных условиях. С неокотой подхожу к телефону и разговариваю с ними о том, что на самом деле крайне мало интересует меня, — о записях, о том, кто как устроился и работает и что можно нынче

купить, но я заставляю себя, так как знаю, что без этих контактов останусь совсем один.

Может быть, конечно, причина моих бед — слабоволие или, наоборот, упрямство, нежелание изменяться так, чтобы почувствовать себя другим — таким, как все. Некоторые называли меня эгоистом — дескать, хочу, чтобы было только по-моему. Если бы знали они, что настоящему другу я готов отдать все, поделиться с ним всем до самого dna души! Сейчас я должен поступать в институт, но не могу найти в себе сил приняться за занятия, потому что мешает одна мысль: зачем эти усилия, зачем пробовать и устраивать себе дальнейшую жизнь, если в этой самой жизни до конца будут преследовать две невыносимые вещи: тоска и одиночество.

Быть может, единственный выход для меня — жениться. Но где найти такую девушку, которая не была бы заражена ядом высокомерия и в то же время не была беспространно неразвита и, к тому же, согласилась бы быть со мной? Боюсь, что это очередная несбыточная мечта.

Возможно ли вообще в нашей слишком сложной и запутанной жизни преодолеть эту беду — одиночество, не разрушая собственные идеалы?

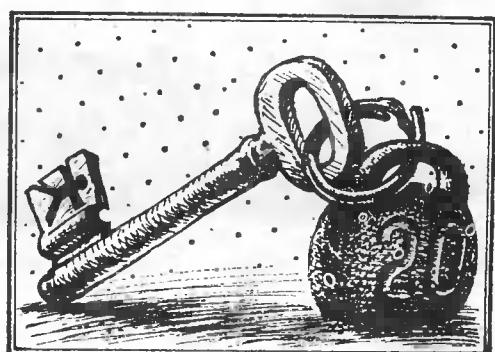
Марат МАРЬЯНОВ

Марат и Вика живут в одном городе. И, судя по адресам на конвертах, ходят по одной и той же Театральной улице в Казани. И, может быть, встречаются каждый день в булочной, покупая батоны, и даже бросили эти письма в один и тот же почтовый ящик. Мы не рискнули, хотя и хотелось пригласить Марата и Вику в нашу «20-ю комнату» одновременно, — вдруг ко всем их разочарованиям добавим еще одно. Поэтому, посовещавшись, мы решили поступить проще: передать им письма тех, кто протянет им руку и поможет отыскать выход из лабиринтов одиночества.

Это — во-первых. А во-вторых: вполне оправданно, например, существование клубов «Кому за тридцать» и т. д. Но не начинает ли общество подготавливать кандидатов для этих клубов загодя, еще в том возрасте, в каком находятся авторы этих писем: не позабывши о том, как научить человека общаться в кругу семьи и в гостях, быть интересным собеседником, легко отыскивать равного по духу и уровню интересов, не разрушать любовь сварливым характером, жить насыщенно и увлеченно. Разве можно чем другим восполнить дефицит общения? Разве можно заменить науку общения телеглядением, например? А где общаться, кстати? «Тусовки» — новоявленные молодежные посиделки — разве единственный выход из положения. Что же предпринять?

И мы решили вручить каждому читателю ключ от «20-й комнаты». Держи его, дорогой друг.

Этот ключ отпирает не только двери. Быть может, он поможет и тебе, и нам открыть друг друга — ведь стены между людьми вовсе не так уж непреодолимы. Стоит только захотеть... Пиши, приходи, звони! Наш телефон: 251-02-30.



Михаил ХРОМАКОВ
**ПИСЬМА
ИЗ РАЙКОМА**

ЛИПА № 1

Письмо, в котором автор начинает поиски «определенной работы»

Письма эти будут без сюжета. Сюжет скорее всего сузил бы тему разговора — пришлось бы идти на поводу частного случая и многое из наболевшего могло остаться в стороне. А хотелось поговорить как раз не о частностях.

Однако чтобы долго не думать, с чего начинать наш разговор, начнем, как водится, от печки. Я подошел к ней, отворил взвизгнувшую чугунную дверцу и выгреб на пол вместе с золой несколько... комсомольских билетов.

Судя по росписям в книге, что хранилась в секторе учета райкома, эти билеты полгода назад были выданы принятым в комсомол Гулаеву, Краснослободцеву, Гурову, Баландину и т. д. Чтобы понять, как случилось, что комсомольские билеты послужили растопкой, мне понадобилось встретиться со многими из тех, кто принадлежит Сосновской районной комсомольской организации. Я говорил с ними на току, в поле у разгоряченных тракторов, в душном клубе с гремящей радиолой, в попутках на пыльных дорогах, после которых полдня скрипит песок на зубах, в вечероющем тихом саду, на берегу реки и среди полей, обожженных в то лето воспаленным дыханием суховея...

Расскажу об этих встречах *.

Комсомольская организация колхоза «Россия» насчитывала 57 человек.

— Как организация? — спросил я Александра Бакина, первого секретаря райкома. — Хорошая? Крепкая?

— Более-менее, — сказал первый секретарь.

Свернув с асфальта, мы въехали в село Отъяссы и притормозили у магазина. Облако пыли сразу сунулось в кабину.

— Черт! — сказал, отплевываясь, Миша-водитель. — Когда ж это дороги понаделают всходу? Когда ж такое будет?

Я заглянул в блокнот. Вчера в райкоме я выписал наугад несколько фамилий из списка комсомольцев колхоза. Был разгар рабочего дня, но в магазин и из магазина сновали довольно праздничный народ.

* Очерки эти написаны два года назад, ио по причинам, мало зависящим от автора, в то время опубликованы не были. Дважды потом я приезжал в Сосновку, переписывался с жителями этих мест, читал «районку», сосновскую прессу, недавно побывал там снова, что и заставило меня снабдить «Письма» кое-какими комментариями и постскриптуом.

Рисунок М. Златковского

— Не подскажете, где Чербаевых найти? — поднялся я на крыльце.

— Это какие же такие? — Все заговорили громко и сразу. — Это, может, Чепуровы? По-дворному знаешь как? Не Щербакова ищешь? Чербаев?! Молодой, старый? Нет, такого нет...

В правлении колхоза, на всякий случай полистав еще и ведомости, заверили, что Чербаев А. В. у них не числится.

— Но он же ваш комсомолец? — обратился я к Бакину.

— Он твой комсомолец? — повернулся Бакин к Рае Терениной, комсомольскому секретарю колхоза.

— Может, и наш, — сказала Рая. — А что он сделал?

— А Гуро Александр, есть такой? — спросил я. — А Заболотников Николай? Ерохин? Домнышева?

— Не знаю, — пожала плечами Рая. — Меня вот только назначили секретарем.

— Выбрали, — подсказал Бакин и сдвинул брови.

С помощью сотрудниц колхозной бухгалтерии мы довольно быстро разобрались со списком комсомольцев.

— Этот давно уехал. Лет пять, наверное. Этого, когда три будет, как нету. Домнышева в Кулеватом, не у нас. Ерохина тоже нет. Гуро умер.

— Как умер? — опешил я. — Давно?

— Да года полтора назад...

— Вы путаете. Он же взносы платил в марте.

Бакин закашлялся.

— Это моя вина, — вступилась Рая Теренина. — Я еще не провела сверку. Меня только перед вашим приездом назначили.

— Избрали, — поправил Бакин.

Гуровы жили на дальнем конце села. Я постучал.

— Громче стучи, — прокричали мне с соседнего крыльца. — Она дома. Спит, наверное. С дойки пришла.

Анна Гурова присела в черном платке у стола и принялась за рассказ. Да, жизнь слезная поскладалась: Сергей — старший — пил, меня бил, брата родного зарезал, четыре года отсидел, вернулся, но Мишутка не вернешь, а самый хороший он был, а этот, земля его не носи, с упоя поджег сельсовет и сейчас в бегах, Зина хорошая выросла, не в пример, и Володя...

— А Саша?

— Умер Саша. Поехал на машине в Москву, там в общежитии выпили, те-то привычные, а он умер. Ох, чуяла! Вышла на дорогу, когда уезжал, все смотрела, смотрела...

Она вынула из тумбочки и протянула мне свидетельство о смерти. «Острое отравление этиловым спиртом» — значилось в диагнозе.

Список заканчивался. Оставалось разыскать Заболотникова. Занятие осложнилось тем, что почти каждый встречный, у кого мы спрашивали дорогу, был, мягко говоря, «выпивши». Наконец выяснили, что Заболотников тракторист и надо ехать к мастерским.

— Как к мастерским добраться? — притормозили мы у резного крылечка.

Тот, кого мы окликнули, долго пытался объяснить дорогу, потом устал и сказал:

— Ребят, по-человечески, стакан принял, вы позже, я расскажу...

— Что ж так? — спросил я парторга. — Рабочий день, а так пьют.

Федор Иванович сокрушенно развел руками:

— Отданы пасхи отмечают. Повод *...

В мастерских на верстаках сидели четверо осоловевых ребят, поджиная конца рабочего дня. Иван Гав-

* Минувшей осенью я увидел здесь перемены просто разительные. Село было трезвым. Смотрело ясными глазами. Работало. С апреля до октября водкой и вином в районе не торговали. Моя знакомая по прежним наездам баба Аня даже всплакнула: «Счастье-то — твердые мужики. При своих деньгах. Телевизоры покупали, обувку, одежду. Ой, спасибо Горбачеву, дай ему бог здоровья!» Правда, теперь другая напастя — самогон: гонят, пьют. Ну, тут уж на милицию надежда и на строгий закон.

рилович, похожий на боцмана, сердито глянул на подчиненных:

— Заболотников пришел утром пьяный. Мы с бригадиром хотели его отвезти в Сосновку, в вытрезвитель. Убёг! Трактор мы сами отогнали. Где искать?

— Дома спит, — вмешались ребята. — Нету дома? Ну, на речке у моста. Там Колюха вертится.

Колюха сидел на ступеньке у книжного магазина. Он был в густом хмеле и страшно обрадовался неожиданной встрече. Мы поехали с ним домой, он вытащил из-под кровати замызганный чемодан, в нем валялись грязный свитер и документы.

— Вишь, — говорил Колюха. — Это права, это воинский, это паспорт, а комсомольского нету. Не веришь? Я не помню, сколько нету.

— Тебя принимали в комсомол?

— В военкомате. А еще в школе, после пионеров, — вспомнил Колюха.

— Значит, ты дважды комсомолец?

— Точно, — разулыбался он. — Давай сейчас жажнем по этому поводу.

Пить я отказался, но Колюха не расстроился и, привозя нас, сказал, демонстрируя широту натуры:

— Ты им скажи, если им нужно, пусть еще выпивают на меня билет. Чего мне, жалко, что ли? Ох, хорошие вы ребята! — И полез обниматься.

Мы возвращались. Машина шла сквозь березовую рощу. Мелькнул стоящий в чистом поле лозунг. И снова все заговорили о дожде, которого так ждали здесь, думали о нем, торопили. Но набухшие тучи равнодушно плыли мимо. Мы остановили машину и пошли к полю. Колос озимых был легок и хлипок. Заканчивался двадцатый век, а мы были по-прежнему рабски зависимы от вывертов погоды, от капризов туч, от этого душно дышащего в лицо ветра. Почва, на которой стояли хлеба, потрескалась. В трещины можно было вложить ладонь. Вот бы ливануло дня на два, говорили, и, может, поправилось дело. Но на следующий день солнце выползло на пустое небо, а туши щедро поливали московский асфальт, тюменские болота и Балтийское море...

Я сказал Бакину, что встретился с комсомольцем, который семь лет не платит комсомольские взносы.

— Не может быть, — сказал первый секретарь. — У нас таких нет.

На следующий день мы вернулись в колхоз «Россия» и вновь обратились за помощью к бухгалтерам. Те раскрыли архив колхоза, сняли со стеллажей пухлые папки отчетов за прошлый год, выписали суммы заработков и...

...Из 57 комсомольцев 26 выбыли в неизвестном направлении, один был умершим, еще двое показались бухгалтерии мифическими личностями... Реальных и живых комсомольцев было в наличии вдвое меньше, чем числилось в райкомовских списках. Человек десять из существующих не платили взносов годами...

Хочу оговориться, что вначале я зарекся говорить о взносах и учетных карточках, но, к сожалению, выяснилось, что порой только по учеткам и взносам можно было определить существование той или иной организации. Пусть простит меня читатель, я вполне понимаю, что листать бухгалтерские ведомости — занятие прескучное, но, для того чтобы сделать обоснованные выводы, все же постараемся быть до-точными. К тому же очень толковая и нужная книжка «Организационно-уставные вопросы комсомольской работы», которой меня снабдили в райкоме, чтобы я лучше ориентировался в их проблемах, утверждала, что «...одной из первейших уставных обязанностей члена ВЛКСМ является уплата членских комсомольских взносов. Своевременная и правильная уплата взносов — один из верных показателей политической зрелости, высокой сознательности и дисциплинированности комсомольцев, боеспособности и крепости комсомольских организаций». Охотно верю, что так оно и на самом деле, если, разумеется, есть еще что-то, кроме сбора взносов...

Итак, сопоставив комсомольские ведомости с бухгалтерскими, мы обнаружили, что «первойшую уставную обязанность» не выполнял ни один комсомолец колхоза «Россия». За прошлый год комсомольцы заплатили 100 рублей взносов. По самым приблизительным подсчетам, должны были собрать 250. Эта цифра не так потрясла бухгалтеров, как то, что в ведомостях по сбору комсомольских взносов вдруг объявлялись люди, которых по несколько лет не видели в колхозе. Ни с того ни с сего они платили то десять, то сорок копеек, и даже умерший Гурев не преминул внести свою лепту... Только в райкоме, когда мне подробно растолковали механику «липсы», моему изумлению пришел конец.

— Вот смотрите,— показывали мне.— Предположим, заработали вы двести рублей, берем с вас трешку, а в ведомости пишем, что вы заработали сто и взяли с вас рубль. Теперь у нас два свободных рубля. Соображаете? Остается только разнести их по графам; будто бы вот этот заплатил десять копеек, а этот — пятнадцать, а этот — тоже десять. Поняли? Останется только зарплату соответствующую приставить.

— Но зачем вся эта чехарда?

— Мы же статотчет посылаем каждый месяц. Как «ну и что»?! Должников не должно быть много, нежели не понимаете. А так пусть хоть пять человек заплатят, мы их деньги в «разноске» на всех распишем.

— И всегда так?

— Из 118 наших организаций мы только у школ не переписываем ведомости. Ой, сколько времени на это уходит!

— А проверка? А ревизоры? Тут же любой маломальски совестливый ревизор бросится бить во все колокола.

Ревизоров приезжало много. В колокола не били. Перед грядущей ревизией секретари первичных организаций бежали в бухгалтерию и, конечно, не исправили сведений о зарплате комсомольцев, а умоляли поставить печати на чистые бланки. Добросердечные бухгалтеры печати ставили... Что же до бескомпромиссного контроля, как раз в эти дни в Сосновском райкоме была со взаимопроверкой (есть такая форма работы у финкоотдела обкома) милая девушка, проверяющая из соседнего района. Стояла пора сдачи взносов. Чем, вы думаете, занимался строгий контролер, облеченный доверием обкома? Она помогала девушке делать те самые «разноски», создавать фальшивые ведомости, подделывать подписи...

— Ну, вы даете! — засмеялась она.— Совесть! А в нашем районе разве иначе? Если я тут буду честно, то они завтра ко мне приедут с проверкой и навялятся со своей честностью. Куда тогда бежать? *

И они снова склонились над «разносками». Ишь ты, даже термин специальный возник. Как давно? Кто знает... У «липсы» своя механика. В исторические обзоры она не попадает.

— А Гурев Александр у вас числится? — на всякий случай поинтересовался я судьбой покойника.

Заведующая сектором учета и финансов Катя Клюева щелкнула ключом несгораемого шкафа, который в случае пожара надо было выносить в первую очередь, и передо мной представили слитные ряды учетных карточек членов ВЛКСМ. Катя вытащила стопку, полистала:

— Вот он...— Она раскрыла карточку.— Выголовов и взысканий не имеет.

* «Завтра же мы поставим крест на этой порочной практике», — убеждали меня в обкоме, когда я делился результатами своего первого визита в Сосновку. Я человек по натуре доверчивый: крест так крест... Но, увы, нынче я тоже приехал, видимо, некстати. Опять в пользу сдачи взносов и статотчетов. И снова, как тогда, где-то по области сурою тучей передвигалась комиссия комсомольского ЦК, обещая вот-вот нависнуть над Сосновкой. И снова до ночи горел свет в райкоме, и, суетливо пряча от глаз журналиста свою мудреную арифметику, новые девушки и ребята искали компромисс между рублем и правдой. И, видимо, для того, чтобы желанный компромисс был найден вовремя и в нужных пропорциях, «работа» на сей раз шла под руководством специально командированного инструктора обкома.

С Гуревым все было ясно.

— Сколько тут выбывших без снятия с учета? — показал я на слитные ряды.

— Мы сообщаем обкому, что 50—70 человек.

— А на самом деле?

Катя взглянула на Бакина.

— Так и на самом деле, — сказала она.

Тогда мы с Катей тоже занялись арифметикой. В одной только «России», как помните, выбывших было три десятка. К тому времени я успел побывать в других колхозах и совхозах и знал, что там положение не лучше, чем в «России». «Давайте, Катя, не брать крайних цифр». «Давайте», — сказала Катя. «Будем считать, что каждая организация имеет не больше десяти выбывших. Это уже набирается в десять раз больше, нежели вы сообщаете обкому». Кроме этого, вспомните мифические комсомольские души, так удивлявшие бухгалтеров колхоза «Россия», — это всего-навсего учетные карточки исчезнувших комсомольцев, расфасованные как неходовой товар в нагрузку по разным организациям. Рассовав по несколько таких учеток в каждую из 118 «первичек», можно было спокойно скрывать «недостачу» сотен комсомольцев. Кроме этого, в райкоме существовал «секретный» ящик, который прятали от посторонних глаз в столе у машинистки. Это тоже были «улетучившиеся» комсомольцы. По моей просьбе Катя Клюева пересчитала их. «327», — объявила она. Итак, в «слитных рядах» зияла брешь по меньшей мере в тысячу человек. Недоставало четвертой части (!) районной комсомольской организации.

Зачем и для кого нужно было лгать?

Помню, в одном райкоме — правда, не в Тамбовской области, — я встретился с удивительным документом, назывался он «форма № 1». Это был специальный бланк с пустыми клеточками. По вдохновенному замыслу придумавших его секретари «первичек» должны были ежемесечно заполнять бланк крестиками и цифирками: проведено сорокий..., охвачено политической..., участвуют в таком-то движении..., рассмотрено персональных дел... Заполнять и отсылать в стольный град для «статистического обобщения и обработки на ЭВМ». Я застал тот райком в напряженной работе, они усердно рисовали крестики и цифирки. Конечно, я, как человек любопытный, спросил, почему крестики рисует райком, а не секретари «первичек», как было задумано. Мне резонно заметили: откуда в «первичках» могут знать, чего и сколько писать. Мне объяснили, что нелепо посыпать бланк в колхоз, а потом дозваниваться туда и диктовать, сколько каких крестиков поставить. Гораздо проще самим. Вот нужны, например, сорок два политкружка, берем сорок две «формы» и ставим сорок два крестика. Предельно просто! Правда, нарисованная райкомом картина отличалась от реальной куда больше, чем самолет от трактора. Потом эти «данные» лихорадочно обсчитывала ЭВМ. Шипели от перегрузки транзисторы, кипела магнитная память...

Вспомнил об этом, читая материалы пленумов и конференций Сосновского райкома комсомола. Лицо районной комсомольской организации представляло с этих страниц молодое, энергичное, вдохновенное, активно выполняющее «личные комплексные планы», поголовно охваченное общественными поручениями. Те отдельные недочеты, о которых самоутвержденно и самокритично заявлялось с трибуны, терялись на фоне успешно проведенной определенной работы...

Самое трудное, с чем я столкнулся в командировке, — попытки уловить эту самую «определенную работу». Например, демонстрация «личных комплексных планов» — я захватил с собой бланки — вызывала, мягко говоря, немое изумление у «поголовно охваченных». Надо отметить, что этот лист хорошей плотной бумаги размером 60 на 30 сантиметров с напечатанными в две краски шестью параграфами и 25 пунктами «...предельно конкретного, глубоко индивидуального, напряженного, но выполнимого личного комплексного плана «Учимся коммунизму, строим коммунизм!» вызывал невольное уважение к его авторам. Но попытка отыскать комсомольца, живущего сообразно их представлениям, не привела ни к чему.

— Общественно-политическая аттестация происходит у нас так,— вещал Бакин.— На расширенном заседании комитета комсомола, куда приглашены представители администрации, парткома, ветераны, передовики, входит комсомолец со своим личным комплексным планом в руках и отчитывается об успехах в труде, об успехах в общественной жизни...

— Я пробовал вручить,— рассказывал Виктор Галаков, только что смененный секретарь совхоза «Верхнеярославский».— Смеются, не берут. Хорошо, если только смеются. Какая может быть «аттестация»,— спасибо, хоть на отчетно-выборное собрание со второй попытки соберешь. А так, ходишь, взносы клянчишь, вот и вся работа.

Что же тогда считать комсомольской организацией: жиденький ручеек взносов или стопку карточек в секторе учета?

Постскриптуm

Я вернулся сюда через год.

После моего прошлогоднего визита тут побывала комиссия, которая «вскрыла отдельные недостатки», состоялось бюро, одних освободили, других строго предупредили «о недопущении впредь», третьим поставили на вид, четвертых заменили на пятых...

Что изменилось? Не «принятые меры» меня волновали, а что изменилось в жизни районной комсомольской организации.

«Злополучный» Гуров в конце концов благополучно был снят с учета. В журнале снятия с учета я нашел соответствующую строку записи... «Умерла». И тут человеку не повезло. Хотя через два года после смерти в этой райкомовской суете, может, действительно трудно вспомнить «он» или «она» было это «фамилие».

С Колюкой Заболотниковым выяснилась история куда огорчительнее. Оказывается, тот Заболотников, которого мы разыскали, вовсе не тот Заболотников. Нужный Заболотников семь лет назад выбыл неизвестно куда. А поскольку от того Заболотникова ни слуху ни духу, то стали брать взносы с того, который рядом. Колюка как натура широкая не возражал. «В принципе какая разница,— сказали мне.— Тот Николай и этот Николай».

Что изменилось?

— Ничего не изменилось,— сказал, твердо глядя в глаза, комсомолец Алексей Самойлов.— Даже хуже стало. Взносы, правда, стали теперь прямо через кассу высчитывать.

Да, это так. С нынешним комсомольским секретарем мы прямо и познакомились в день зарплаты через окошечко кассы. «А как еще взносы собрать? — посетовала она.— Не отдают». Для многих комсомольцев это свидание и остается единственным свиданием с секретарем. Через окошечко.

«НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ РАБОТА»

Письмо, в котором продолжаются поиски и... находки

Собор рос, приближался, нависал над купами деревьев... Он был красного кирпича — подойдя ближе, я увидел, что собор стар, как-нибудь подлатан на скользкую руку, шатры прогнили, но все равно был еще крепок и основателен. На дверях висел замок.

— Где ваш батюшка живет? — окликнул я проходящую женщину.

Батюшка холостяковал. Он вышел на крыльце заспанный, запахивая рясу, извинился, что в доме не прибрано, и мы, споткнувшись поочередно в темных сенях, прошли в комнатах. Холостяцкое житье зияло неустроенностью, мухи стучали в стекла, и на шкафа висялся белый, как череп, мотоциклетный шлем.

— А,— махнул рукой батюшка,— не обращайте внимания. Вот снимаю эту избу под жилье. Присаживайтесь. Что ко мне привело?

— Расскажите, как вы вступили в комсомол? — попросил я.

...В центре городка Рассказово стояла и стоит красивая, белая с голубым церковь. Саша ходил и в школу, и в церковь, был пионером, учил молитвы и математику... Впрочем, та история, которую отец Александр заключил словами «...и постепенно душа моя укрепилась в вере», была бы заурядной историей верующего человека, если бы после многих искаений и сомнений не закончилась духовной семинарией,— он мог остаться в Ленинграде, но попросил сельский приход в родных краях... Батюшка рассказывал мне свою судьбу, вздыwał, тер засаленную клеенку на столе, куда непрестанно садились муки. Проворно, взмахнув ладошкой, батюшка ловил их. Лет ему было около тридцати, но борода и черная ряса делали его старше. Накренившись громоздкий шкаф за его спиной с закинутым наверх мотоциклетным шлемом напоминал чем-то его скособоченную жизнь.

— Почему же вы, Саша,— можно я по-мирному буду вас называть,— решили вступить в комсомол, ведь вы уже были верующим? Сколько тогда вам лет было, Саша?

— Девятнадцать. А почему вступал, скажу: сомнения одолели. Думал, может, в комсомоле,— он замахнулся на муку, но та улетела,— может, в комсомоле истина.

— Что же есть истина? — повторил я знаменитый вопрос.

— Вера есть истина, вера людям больше помогает, чем комсомол,— ответствовал батюшка и ловко поймал муку. «Убьет или не убьет?» Батюшка разжал ладошку.

— Комсомол — это тоже вера,— сказал я.— Ее называют идеальной убежденностью.

— Почему же в божий храм приходят с этой убежденностью? — тонко улыбнулся Саша.— Детей приносят крестить? Венчаться?

— Много приходит?

— Не имею права отказать,— неопределенно произнес батюшка...

Еще я встретился с Божьей матерью Семистрелой, статной русоволосой девушкой с красивым иконописным лицом. Она принадлежала к одной из сект, приняла обет безбрачия и была возведена в сан богородицы.

— Вы, Валя, в то время были комсомолкой?

— Да. Я взносы собирала.

— Вы считали, что это совместимо: комсомол и ваша вера?

— Они не соприкасались.

Мы говорили с ней долго, и я невольно залюбовалась ее манерой достойно держаться и говорить, не выдавая волнения, лишь легкий румянец тлел на щеках; мы говорили о ее вере, и я подумал, что этой верой чья-то невеста в ней погублена навсегда. Потом пришел отец, донельзя измученный случившимся с дочерью. Он сказал: «Как я только не бился, никто не помог... Всего и добился, что из комсомола ее исключили. Там еще две комсомолки с ней. Такое горе для нас. Для матери. Горе...»

Клёнин Володя, совсем молодой человек, нынче священник в Тамбове. Вступил в комсомол в Сосновке, в этом же райкоме, о котором идет речь. Единственные хлопоты, которые доставил ему комсомол, связанны с исключением. Он больше года обивал порог райкома, просил, чтобы исключили из комсомола, потому что комсомольцев в духовную семинарию не принимают, спорил, доказывал, бросал билет — нет, не исключали...

Взаимоотношения человека и религии сложны, и не будем походя судить, навешивать ярлыки там, где речь идет о довольно тонких психологических переживаниях и состояниях души. Я пишу не атеистические заметки, и в командировке меня занимало другое: я настойчиво искал следы конкретной деятельности райкома, ту самую «определенную работу», о которой много и энергично говорилось с трибун местного значения.

В райкоме передо мной положили просторный план мероприятий, который предварялся тревожными

словами о том, что «...указанные в постановлении ЦК ВЛКСМ серьезные недостатки в деле атеистического воспитания молодежи имеют место и в деятельности комсомольских организаций района». Далее бюро райкома, озабоченное тем, чтобы эти серьезные недостатки ликвидировать, постановляло (цитирую: «коренным образом улучшить», «глубоко и всыкально проанализировать», «разработать и осуществить», «широко и дифференцированно использовать», «усилить контроль», «решительно бороться», «уделять, укреплять, вовлекать, улучшать, обобщать, доложить»... Речь, как вы понимаете, идет об атеистическом воспитании. План был принят на бюро райкома за два года до описываемых событий. Что сделано? Тут-то и начинаются неопределенности...

Впрочем, Бакин, первый секретарь райкома, решительно внес ясность:

— Ничего не сделано.

— Зачем же тогда вы сочинили этот план? — спросил я.

— Постановление спустили, — сказал Бакин. — Из обкома.

— Но на бюро, когда утверждали план, вы думали его выполнить?

— Об этом не думаешь, — ответил первый секретарь.

Минутку, давайте восстановим последовательность событий.

Итак, Центральный Комитет комсомола, уловив тревожность положения с атеистическим воспитанием молодежи и внимательно изучив проблему, принял на бюро обстоятельное постановление, руководствуясь которым можно было ликвидировать все просчеты, допущенные в несомненно важном деле. И отправил в обкомы.

Обком комсомола на основе этого постановления с учетом местных условий принял свое более конкретное постановление. И отправил в райкомы.

Сосновский райком сразу согласился: да, недостатков действительно много и... принял свое постановление.

Что дальше?

Дальше райком продолжил заниматься текущими делами, от которых его оторвала работа над постановлением... Словно бросили камушек в пруд — круги разошлись, и снова гладь.

Однако согласитесь, ЦК комсомола ждал от Сосновки не рефлекторного реагирования постановлением на постановление, а действия. Почему же, родив план и постановление, райком на этом закончил «усиление атеистического воспитания»? Может быть, сосновский батюшка отец Александр далек от молодежи? Не так уж далек, как кажется на первый взгляд: в области ежегодно крестят семь тысяч детей, это около сорока процентов родившихся.

— Персоцальное дело по поводу крещения? — попытался вспомнить первый секретарь. — Какое-то было где-то... У нас Кадомский это ведет.

Второй секретарь Слава Кадомский действительно был тем человеком, на плечи которого возложена ответственность за атеистическую работу.

Здесь можно поставить точку либо восклицательный знак и сказать: смотрите — вот конкретный виновник и бездельник, нужно срочно заменить Кадомского на более деятельного товарища, и планы претворятся в жизнь. Но, во-первых, если бы дело разрешилось так просто, то вряд ли бы стоило писать эти заметки. А во-вторых, в райкоме я не встретил вообще ни одного бездельника, у каждого был плотный график дня, к тому же из всех работников райкома напряженнее и производительнее всех трудился тот же Кадомский.

Оборону ресторана держала толстая бабка. «Окаянны! — кричала она. — Говорю, нет местов!» Народ напирал. Народ был в основном молодой, энергичный. В ресторане наяривал ансамбль. Ребятам, наверное, пластили надбавку за децибелы, и они не жалели усилителей. Выпив в паузе и закусив, все опять торопились на потный танцевальный пятачок. Оставшиеся не у дел сидели за столиком в отрешенных позах, де-

монстрируя своим видом, что им и не хотелось танцевать. Потом в фойе начали драсться. Дрались долго. Потом приехала милиция...

— Где еще отдыхает молодежь? — спросил я сержанта.

...На втором этаже Дворца культуры надрывались электрогитары. Четверо безусых мальчишек исполняли шлягер этого лета «В переулках каждая собака знает мою легкую походку». В душном зале человек двести подпрыгивали, переминались с ноги на ногу, поводя в такт руками. Многие танцевали в широком кругу без партнера, каждый сам по себе. Распарившись, уходили дышать на бетонный балкона. Скоро в связи с закрытием ресторана сюда перетекла молодежь повеселее. Стало жарче.

— Мы раньше рейды устраивали, — сказал Слава Кадомский. — Не было ни драк, ни пьяных. Конечно, постоянно нужно, а не урывками. «Метлу» раньше выпускали. Таня рисовала, моя жена... Ты знаешь, вот поверь, мы столько делали, так хотелось много сделать. Я, когда пришел в райком, боялся, думал не смогу, а потом увидел, понял, моя работа. — Ансамбль снова ударил любимую: «Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом?» — и Слава принял кричать, напрягая голос: — Знаешь, сколько сил и веры было вначале? Пешком ходил в села по двадцать километров туда и обратно. Я сразу сказал, что прежде чем требовать взносы и тащить на собрания, надо сперва что-то сделать для них. И я пытался...

Мы вышли на крыльцо. Над Сосновкой висела полная луна. Городок тонул в палисадниках. Гасли огни. Кадомский поймал за рубашку пробегавшего пацаненка:

— Ты почему здесь? Сказано, в девять быть дома. Мальчишка растопырил глаза — надо было так нарваться! — выдернул руку и шмыгнулся в темноту.

— Смотри, проверю завтра, — крикнул вслед Слава.

— Люблю ребятишек, — сказал он, помолчав. — Я потом понял: чтобы влиять на них, надо жить, чем они живут, ходить с ними в походы, ну и прочее делать, что полезно и интересно для них.

Улыбчивый, по-спортивному легкий, с копной русых волос, Слава Кадомский пользовался неизменным авторитетом и популярностью у сосновских мальчишек. Он кандидат в мастера спорта, непременный участник соревнований, справедливый арбитр, капитан команды, чемпион района, Дед Мороз на Новый год, ведущий на вечерах...

Накануне я перебирал в райкоме фотографии. Кадомский там падает в воду с какого-то бревна. «Это турслет, полоса препятствий. Штрафные очки, но бежишь. По такому бревну разве пройдешь? Тонкое... А это мы впервые в районе провели турнир по мини-футболу среди уличных команд. Улица на улицу играла. А это шахматный турнир среди ребятишек. Человек пятьдесят было. У меня дома таблица есть, как кто выиграл, хотите посмотреть? Это хоккей на приз Героя Советского Союза Мицотина. Видишь, мать Героя приз вручает? Так волновалась». Он рассказывал про лыжные агитпоходы, про встречи с ветеранами войны, про праздник Русской зимы.

— А полный восторг для ребят был, когда мы им два комплекта хоккейной формы сшили. Она почти как настоящая. Мы с женой рисовали на шлемах номера, вратарские клюшки разрисовывали. На майках вышили «Сосновка». Таня помогала мне во всем, а потом ей это надоело. И я словно о камень споткнулся. — Он вздохнул. — На три года мотора хватило... Да, и еще я хотел сказать, что когда раскрытии эти турниры, соревнования, не поверите, ко мне на улице начали подходить, мол, как взносы заплатить, столько-то лет не платил, как на учет встать, а то билет после армии закинул. Это потом. А начинали: афишу повесил по мини-футболу — жена целый день рисовала, — вечером сорвали, злость взяла, прямо не могу, нарисовали еще одну, опять сорвали, ну, думаю, погодите, стал утром вешать, вечером убирать, а потом в типографии напечатал, рвите, не жалко, и, понимаешь, привыкли.

Так беседуя, мы бродили по темным теплым ули-

цам. Сосновка, как все маленькие городки, ложилась спать рано. Мягкая пыль вбирала наши шаги. Небо было звездным — значит, опять не будет дождя, которого земля хоть на денек зазывала в сухие ладони полей... Конечно, думал я, это замечательно, что Кадомский увлечен и деятелен. Мне всегда были симпатичны люди увлеченные. Но, слушая его, никак не мог забыть, у меня просто из головы не выходили поездки в колхозы, разговоры на току, в поле с молодыми ребятами, которые и знать не знали о существовании Кадомского и роль комсомола в жизни которых сводилась в лучшем случае к вычислением из зарплаты рублям и копейкам. Бурная деятельность Кадомского до них не докатывалась. Не будем обольщаться: круги от этой деятельности редко расходились дальше Сосновки и касались в основном ребят школьного возраста. Меня же интересовали взаимоотношения райкома с самой важной частью комсомольской молодежи — рабочими и колхозниками. Тут точно соприкосновения насчитывалось крайне мало.

На следующий день в райкоме я сел напротив Славы и под его диктовку выписал все, чем он обязан был заниматься как второй секретарь. Вот этот список: система комсомольской политучбы; военно-патриотическая работа; лекционная пропаганда; начальник штаба «Комсомольского прожектора»; культурно-массовая работа; спортивная работа; предупреждение правонарушений среди молодежи; атеистическая работа; шефство над несовершеннолетними; член штаба комсомольского оперативного отряда дружинников; начальник штаба операции «Забота»; член правления общества книголюбов; работа с молодыми специалистами; бюро молодежного туризма «Спутник»; член райкома ДОСААФ; заместитель председателя ДСО «Урожай»; член комитета народного контроля; начальник штаба социалистического соревнования... Я не включил сюда составление различных справок, сводок, подготовки постановлений, заседаний бюро, призывных комиссий... Если вы обратили внимание, атеистическая работа тоже мелькнула в списке.

— Значит, этим тоже ведаешь? — показал я на «Экран политучбы». На листе ватмана в клеточках стояли цифры, иллюстрируя всевозрастающую тягу комсомольцев к политической учебе. Судя по цифрам, в политкружки отборочного конкурса пока еще не было, но, видимо, шло к тому.

— Этому верить нельзя, — сказал Кадомский. — Во многих организациях, к сожалению, ничего нет. В других — раз в год пять человек собираются, и на том спасибо. Но несколько есть, которые действуют нормально.

— А цифры? — воскликнул я.

Автором цифр, радующих глаз и душу проверяющего, была Нина, машинистка райкома.

— Да, — засмеялась она. — Я писала. Откуда данные? Да от фонаря писала, и все. Чтоб прилично было.

— Послушай, Слава, — обратился я ко второму секретарю. — А если писать правду? Это сложнее?

— Проще. Но понимаешь, если напишем правду, придется сразу все отложить и заняться только политучбой, и ничем другим. Вот если бы все районы написали правду, а то ведь, если только мы окажемся честными, нас зашвыняют: давайте, поднимайте работу до уровня. Но уровень-то бумажный.

— А проверочные комиссии?

— Что комиссии?.. Им планы покажи, отчеты покажи, в хозяйство свози, там секретарь списки покажет — порядок.

Я взял в руки одно из произведений Кадомского: отчет о работе комсомольских оперативных отрядов. «Количество отрядов в районе — 28, — принял я читать я. — Количество членов — 202. Проведено рейдов — 287. Задержано правонарушителей — 135. Доставлено в медвытрезвитель...»

— Этому верить нельзя, — снова сказал Слава. — Отрядов нет.

— А цифры? — воскликнул я снова.

— Цифры, цифры... — вздохнул Слава.

И тут на меня снова дожнули потусторонним холо-

дом ирреальность и черная магия: в мае в этих несуществующих отрядах прошли отчеты и выборы.

— Как же так?

— А так, — сказал второй секретарь и протянул листок. Это было совместное постановление секретариата обкома комсомола и коллегии УВД облисполкома о проведении отчетов и выборов в комсомольских оперативных отрядах... Командующий самозабвенно командовал и в ус не дул, что армии нет!

— Неужто там всерьез верят, что у вас эти отряды есть?

— Мы же рапортует, — ответил Слава. — А проверяющий не будет, как вы, ездить со списком в руках и всех по сто раз расспрашивать. Он сюда смотрит, — ткнул Слава в листок. — Отрядов — 28, членов — 202, рейдов — 287...

И вновь я с удовольствием и уважением к авторам познакомился с крупномасштабным замыслом: кандидат в отряд должен писать заявление, проходить стажировку, после чего отряд на собрании должен рассмотреть, как кандидат отлавливал всяческих правонарушителей и не сорбел ли тот в бою с отдельными недостатками, которые кое-где у нас порой, потом произносилась торжественная клятва, выдавались удостоверения с фотографиями, чтобы чего доброго другой не воспользовался...

«Расскажи, — попросил я в колхозе Женю Смыкова, — что ты делаешь как член комсомольского оперативного отряда?» «Чего член?!» — обиделся он.

Так со вторым секретарем мы изучили весь список его прямых обязанностей. «Шефство над трудными подростками? Есть у меня карточки, — говорил он и шел к шкафу с бумагами, — у меня там все шефы записаны, кто за кем. Конечно, реальных шефов — единицы. Списки комсомольцев, попавших в вытрезвитель и задержанных за хулиганство? Есть, есть, — снова он шел к шкафу. — Правда, персональных дел за вытрезвитель практически не рассматривали. Социалистическое соревнование? Есть вот папка в шкафу... Но лучше не смотреть».

Эти полки в шкафу он, прия работать в райком, высыпал от бумаг предшественника. «Вот написал, — думал. — Делом надо заниматься». За три последующих года сам набил полки бумагами до отказа. Большая часть из них была призвана иллюстрировать работу, которой никогда не проводилось. Которая существовала лишь в воображении пишущих и читающих эти бумаги. Я не стал извлекать из небытия совсем ирреальные субстанции, такие, например, как Совет молодых специалистов. Хватит мистики, думал я, и без того ясно, что отец Александр мог спать спокойно. И на том спасибо, что Кадомский успел написать план и подготовить постановление, а так бы откуда люди узнали, что райком яростно борется с религиозными предрассудками.

Но опять же, не спешите делать выводы и ругать почем зря райком и его работников.

Вернемся к арифметике. Только за шесть месяцев в Тамбовский обком из Центрального Комитета комсомола поступило 24 постановления бюро, 75 постановлений секретариата и 160 различных писем и рекомендаций. К этому следует прибавить собственные постановления обкома, письма и рекомендации местного характера. Предположим невероятное, ну, скажем, что часть почты по дороге похищают сотрудники ЦРУ и только половина документов достигает Сосновки. Даже в таком случае райком комсомола получал, как минимум, раз в день новое серьезное задание*.

Бесчисленные обязательные к исполнению бумаги

* Нынче поток бумаг уменьшился примерно на треть. Это считается большим достижением. На мой взгляд, сделано едва ли полшага. Вот недавнее горестное признание первого секретаря Уваровского горкома комсомола С. Фролова из той же Тамбовской области: «Высохло одно русло бумажного потока, осталось другое. Беру журнал регистрации поступающих в горком документов, наугад открываю — месяц май. Так вот, в мае пришло семь постановлений. Каждое из них мы обязаны проработать и составить план мероприятий хотя бы в три пункта. Трижды семь — двадцать один. Двадцать одно мероприятие каждый месяц мы должны наметить. Когда их выполнять?»

ввергали райком в состояние хронической необязательности.

Проблема Дела перерастала в проблему Отклика.

Райком выполнял в этом случае незавидную роль зеркала: пришла бумага — сочинен ответ. Но под зеркальным слоем, как мы убедились, зияли пустоты...

Как бы споро ни крутился райком, нам важен не сам он по себе, а конечный результат его деятельности. Нам важно, как отразится все, чем он занят, на реальных, живых, ох каких не простых, молодых людях. Не забудем, что с райкомом комсомольцы сталкиваются напрямую один-два раза в жизни: при вступлении в комсомол, при снятии с учета... С обкомом и того меньше. Но именно по ним: по нравственному духу Васи Иванова, по отношению к комсомольскому билету Саша Попова — должна измеряться работа и райкома, и обкома, и комсомольского ЦК, а не по гладкости, числу и «уровню» бумаг.

Без деятельности первичных комсомольских организаций деятельность райкома, какой бы она ни была бурной, равна нулю.

— Одно время, — сказал Кадомский, — я посыпал в «первички» карточки-задания. Разобрать, рассмотреть, принять меры... Оттуда полное молчание. Никто ничего. Я перестал посыпать.

Итак, письма уходили к адресату, но адресат не отзывался... Почему? Взяв у Кадомского карточку-записку, я сам повез ее в конечную инстанцию — секретарю первичной комсомольской организации.

Солнце садилось, у шофера болел зуб, точной дороги в совхоз «Покровский» мы не знали, и, хотя нам посоветовали: «Ехай прямо и прямо, там одна дорога», — дорог оказалось множество и вовсе не каждая вела в Рим, тем более в Покровку. Сосновцы словно бы собирали коллекцию: был и гладкий асфальт (немного); изжеванный тракторами бетон (не очень много); грэйдер с ухабами (много); пыльная, а в разспущу непролазная грунтовка (очень много) и частное собрание колдобин, ям и провалившихся мостов... Внимательно изучив эту коллекцию, мы очутились в Челнаво-Рождественском *.

— Ребята, вы комсомольцы? — окликнул я парней, подкидывающих мячик. — Где секретарь ваш живет?

— Я уже не секретарь, — встретила меня Люба Пришвица. — Сейчас Нина Сутормина, а я в декрете. Но может, чём помогу, я долго работала, а Нина только начинает.

В карточке было записано нами в райкоме два здания. Зная, что за полгода по области побывало в вытрезвителях полторы тысячи комсомольцев, мы посчитали эту проблему актуальной для первичной организации и занесли в карточку: «Рассмотреть персональное дело такого-то комсомольца, доставленного тогда-то в Сосновский медвытрезвитель...» Вторым пунктом, помня неразбериху с комсомольскими взносами, записали: «Разобраться с комсомольцем Виктором Аладинским, который с момента вступления в комсомол не платит взносы».

— Витя Аладинский? — воскликнула Люба. — Сколько раз к нему подходила! Он смеется, лучше приложок куплю.

— Зачем тогда принимали его в комсомол?

— Это не мы. Его райком принял. Без нас. А мы потом узнали.

— Погоди, Люба, в анкете стоят подписи рекомендующих, решения собрания, решение комитета комсомола, наконец, ваша подпись.

— Ой, подписи, велико дело! Это всё в райкоме делают. Чего вы удивляетесь, все время так, если кто в армию из некомсомольцев идет. Здесь они не хотят вступать, а в военкомате им прикажут и точка. Теперь что мне с Аладинским делать? Как его комсо-

* В прошлом году наступили и здесь перемены: появилась наконец обходная дорога, хорошая шоссейка. Правда, чуть съедешь с нее в сторону сел, тут же снова окунешься в беспутницу, просклоненную на всем диапазоне могучего русского языка. Но все равно новая дорога радовала.

мольцы на собрании будут разбирать, если они его в комсомол не принимали. Билет-то у него, выходит, фальшивый... А один он, что ли, с таким билетом? Вон Третьяков Гена...

— Конякин Сережа, — подсказал я.

— А разве он комсомолец?

— Вместе с Третьяковым вступил. В один день и час.

— Он мне не говорил, — пожала плечами Люба и спокойствием.

— Люба, ведь можно иначе привлечь ребят в комсомол? Вовсе не обязательно через военкомат.

Люба взяла «Список несознанной молодежи совхоза» — так он был озаглавлен — и заскользила по фамилиям пальцем:

— Аладинская Валя не хочет вступать, двое ребятишек у нее. У Аладинского Валеры — тоже двое, не будет вступать. Андреева Нина приехала сюда два года назад. Карточку учетную не отдавала. Я только перед самым уходом в декрет узнала, что у нее учетка есть, поставила ее... Рыбакова Люба пять лет назад приехала. Комсомольский у нее есть. Ей говорили об этом, вступать не хочет... А вот она тоже не хочет вступать, — продолжала Люба комментировать список, — а муж ее вступил. Вернее, он говорил, что не комсомолец, я числила его не комсомольцем, а потом поехала в сектор учета, вижу — учетка, тогда он сознался, что он комсомолец, я его вписала в комсомольцы, но взносы он никакие не платит.

— Значит, надо ходить и выяснять?

— Ну да. Уламывать, уговаривать, просить. Вот в третьем отделении человека два там комсомольцев, а молодежи вон сколько... Наверняка половина с комсомольскими билетами, только не признаются. Вы бы сами с ними поговорили, быть может, они вас послушают, вы, конечно, не поверите, но они не хотят с нами даже в разговор вступать в отношении комсомола. С меня Бакин новых комсомольцев требует, а они так мне говорят: обойдемся без ваших взносов. Но мы же не только взносы. Агитбригаду собирали, с концертами ездили на полевой стан. Потом хотели дискотеку сделать, человек пять загорелось желанием, купили зеркальца, полглобуса обклеили, на большее не хватило... Пропало настроение. Да, никому ничего не надо, говорят, вычитайте взносы из зарплаты, если нужно, и отвязитесь. Собрание было, я в декрет уходила и меня переизбрали, из райкома приезжали, а они шумят, разговаривают. Все такие разболтованные. Им за кого ни проголосовать. Говорят: один будет, другой — какая разница? Субботник ко дню рождения комсомола делали. Пришли человек десять, а с остальных с зарплаты удержали, и все.

— Они согласились?

— Кто не согласился, все равно удержали.

Следующим пунктом в задании шла борьба с пьянством.

— Персональное дело за пьянку?! — Люба посмотрела на меня так, словно впервые видела перед собой человека, настолько далекого от жизни. — Другие, что ли, меньше пьют? До меня секретарем Коля Аладинский был. Он сейчас сидит. Они парня в Покровке по пьянке избили. Два года дали. Мы его из комсомола исключили. В Покровке у нас самые хулиганистые живут. Вот только что двух семиклассниц снасили. Как придут покровские, так драка, раньше с обрезами ходили, сейчас дома поджигают. Давеча чуть сторожа не спалили, едва успел выбежать.

Не стал смущать Любу вопросами о комсомольских оперативных отрядах. Отряд существовал в той пачке в шкафу у второго секретаря, а в совхозе «Покровский»...

— Там, где дома строились, мы устроили танцы, — рассказывала Люба. — Свет провели, пластинки приносили. Потом покровские узнали, где мы, начали кирпичами бросать. Мы танцевали, весело было, много народа, а они кирпичами по окнам, свет погас, мне голову пробили, я вся в крови стою. Все к выходу побежали, а они по дверям из обреза. У нас ленинградские студенты на урожае как раз были, так одному голову прострелили, он без сознания лежал в

больнице в Дегтянке... А вы говорите — персональное дело, — укорила она меня, заканчивая свой рассказ.

Возвращаясь в Сосновку с бесполезной карточкой-заданием, я думал о том, что разрыв между словом и делом являлся, по сути, разрывом между райкомом и «первичкой». В документах, витающих над «первичкой», подразумевалось как само собой разумеющееся, что первичная организация живет напряженной и активной жизнью, а значит, и Кадомский должен вполне успевать справляться со всем потоком идущей снизу деятельности, сдерживая особенно рьяных атеистов и подсчитывая тающее число хулиганов, задержанных комсомольскими оперотрядами, воодушевленными свежепрошедшими у них отчетами и выборами.

Мне не ясно было одно. Почему, зная действительное положение дел, в райкоме так легко мирились с фальшью и подлогом? Почему никто не решился отстаивать правду? Почему никто не сказал «нет»?

Постскриптум

«...Выработался какой-то штамп выдвижения. Иной засидевшийся в комсомольском комитете «пересток», которому перевалило на четвертый десяток, иначе и не представляет себе дальнейшей своей жизни, как переход на партийную работу. Имеет, так сказать, на это преимущественное право, специализировался уже на произнесении речей, проведении пленумов, конференций. Выдвигаем молодежь, да, но — из ограниченного круга «избранных», отмеченных уже печатью более или менее руководящей номенклатуры. Бывшего секретаря горкома комсомола — на заведование отделом в обком партии и т. п. Вряд ли можно назвать таких «выдвиженцев» свежими кадрами. У них есть уже опыт работы с массами? Есть, конечно. Но — какой работы? Может, это только опыт — писать резолюции и читать речи по бумагам?» Это слова замечательного писателя Валентина Овечкина. Написал он их тридцать лет назад. Он говорил о человеке странном для его времени, молодом человеке, который сидит и ждет, когда его, как фишку по доске, двинут дальше по номенклатурной лестнице. Этому посвящены его чаяния. Не подберешь даже слова такому явлению, карьеризм — нет, карьерист все же поактивней, поизворотливей; и не бюрократизм, молод еще для роли окондевевшего бюрократа. Ближе всего это лежит к чиновничеству. И явление, стало быть, довольно грозное, ибо если в боевой комсомольский аппарат проник чиновник, то дело, даже самое живое, в равнодушных руках чиновника погаснет. К сожалению, из этого явления происходит многое, с чем мы столкнулись в Сосновке.

Возвращаясь из таких командировок, я всегда жалею, что приходится, следя теме, оставлять в стороне рассказ о людях хороших... Помню, как я разговаривал с молодым трактористом Алешей Сазоновым — лет семнадцать ему, не больше. Мы сидели на краю поля, а по полю ходил взад и вперед трактор. Алеша отвечал мне и все поглядывал на поле. Потом остановил меня жестом, свистнул в два пальца, и трактор встал. Из кабины выскочил мальчишка и побежал к Алеше. Это был пэтзушник, и Алеша его обучал. Но пока мы говорили, парнишка что-то там напортачил на поле. И вот он стоял перед Алешей и слушал его, буквально впитывая слова молодого наставника о пахоте, о бережном отношении к земле. Вспомнил об этом, потому что был на Тамбовщине в горячие дни и мне бы не хотелось, чтобы тень ошибок райкома легла на добный и важный труд молодежи, на ее славные дела.

Тамбовская область гордится своей молодежью: есть в ее рядах лауреаты премии Ленинского комсомола, комсомольцы, награжденные орденами и медалями. Здесь умеют и любят работать.

С особой теплотой вспоминаю село Александровку, лежащее совсем на отшибе, на краю района. Там живут хорошие ребята. Они остались работать на этой земле. Жить на ней. Любить ее и делать лучше.

«Так родная земля, куда уедешь», — говорил мне их комсорт. Одна беда — девчата из села разъехались кто куда, и холостяжуют молодые симпатичные хозяйствственные парни. «Хоть через посылторг девчат заказывай, — улыбнулся комсорт. — Будь другом, напиши, пусть девчата к нам едут. Места красивые. Места там действительно красивые, с озерами да пелесками.

Но сегодня, помня об успехах, мы обратились к тревожным просчетам в деятельности райкома комсомола. Мириться с недостатками, которые имеются в руководстве комсомолом и в деятельности комсомольских организаций, нельзя, — подчеркивало Политбюро ЦК КПСС, рассматривая вопрос о дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи. Поэтому мы особое внимание уделили ошибкам, чтобы понять, как их избежать в дальнейшем, выяснить, что конкретно мешает комсомолу жить и действовать по-комсомольски.

Речь, как я уже говорил, идет об упущеных возможностях. О том, что мы могли бы куда сильнее воздействовать на мировоззрение, на формирование вкусов и потребностей молодежи, влиять на нее.

(Окончание следует.)

«СТРОГИЙ ТАЛАНТ...»

*Из наследия
В. ХОДАСЕВИЧА*



В. Ходасевич. Рис. Ю. Анненкова.

Начало двадцатого века было для русской поэзии блестательным, поразительно щедрым и разнообразным. За короткий срок — 10—15 лет — взошли подряд такие имена, как Блок, Белый, Брюсов, Бальмонт, Анненский, Бунин, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, Есенин, Маяковский, Хлебников, Волошин, Цветаева, Северянин, Пастернак... Символисты, акмеисты, имажинисты, футуристы... Новаторы и традиционалисты... И среди них по праву крупный поэт реалистического, в высоком смысле классического направления Владислав Ходасевич, со дня рождения которого недавно исполнилось сто лет. Резкая четкость формы, пронзительная, можно сказать, уязвленно-вызывающая искренность, сккупость, чуть ли не сухость поэтических средств и сильные, глубокие толчки таланта — все это оставляет неизгладимое впечатление от произведений этого умного, разиного, страждущего поэта. Он рос от книги к книге (две, «Молодость» и «Счастливый домик», вышли до революции, две, «Путем зерна» и «Тяжелая Лира», в 1920 и 1922 году в Петрограде), он сотрудничал в советских учреждениях, затем по личным причинам выехал за границу, работал с М. Горьким на Капри. В 1925 году между ними произошел разрыв, Ходасевич обосновался в Париже, стал, в сущности, эмигрантом. Умер там же в 1939 году.

К сожалению, мы мало знаем творчество Владислава Ходасевича (до недавней публикации в «Огоньке» его стихотворения из цикла «Европейская ночь» печатались в журнале «Москва» в 1963 году). А оно не утратило своего значения, выдержало проверку временем и достойно новой встречи с читателями. А. М. Горький сказал о В. Ходасевиче: «Это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой, строгий талант».

Поэт мучительно переживал свою разлуку с Родиной. В июле 1922 года он писал: «В эту зиму издал и переездил в Петербург шесть книг своих. И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев срока. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих и вообще Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои».

В этом номере мы печатаем подборку его стихотворений разных лет и неопубликованные воспоминания о нем. Страницы, которые мы предлагаем вниманию читателей, написаны второй женой поэта Анной Ивановой Ходасевич (1886—1960). Ей посвящена книга В. Ходасевича «Счастливый домик». Экземпляр своих воспоминаний А. И. Ходасевич подарила в свое время поэту Арсению Тарковскому, который любезно представил его в распоряжение редакции «Юности».

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

В восемнадцать лет Владислав Фелицианович женился на Марине Рындиной. Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая причудница. <...> О душевных ее качествах В. Ф. мне мало говорил. Во всяком случае, любовь В. Ф. к Марине сказалась в его первой книге стихов «Молодость», вышедшей в 1905 году. Сам В. Ф. в этот период времени был большим франтом: студенческий мундир с воротником, подступающим к самым ушам, лакированные туфли, перчатки и т. д. Нередко его видели в «Литературном Кружке» за карточным столом, где играли в «железку». В. Ф. всегда был куденыйский и бледный. Азартная игра в карты чередовалась с творческой работой, общением с Брюсовым, с Андреем Белым, Эллисом, с Ниной Петровской, Сергеем Соколовым, который в то время издавал журнал «Перевал».

Однажды В. Ф. по издательским делам поехал в Петербург. За время его отсутствия Марина сошлась с Сергеем Маковским — поэтом и издателем, с которым она вследствие уехала за границу.

Разъехавшись с Мариной, В. Ф. поселился в меблированных комнатах «Балчуга», где жил и работал в более скромной обстановке.

В этот период жизни у писателя Бориса Зайцева часто бывали вечеринки, на которых молодые писатели и поэты читали свои новые произведения. Я там тоже бывала и впервые услыхала стихи В. Ф., которые меня совершенно пленили. <...>

Однажды В. Ф. пришел к нам потрясенный горем: его мать ехала на извозчике по Тверской улице, лошадь чего-то испугалась, понесла, зацепила пролетку за тумбу, и мать В. Ф. выпала на мостовую, ушиблась головой о тумбу и тут же умерла. Вскоре отец В. Ф., страдавший грудной жабой и потрясенный смертью жены, тоже умер.

В. Ф. очень любил своих родителей. Эта двойная смерть очень тяжело отозвалась на нем.

Как раз в этот период времени <...> мы стали жить вместе с В. Ф. <...>

Тогда В. Ф. работал в издательстве «Польза». Это было издательство, которое выпускало маленькие общедоступные книжки в желтой обложке ценой в 20—40 копеек. Для этого издательства В. Ф. переводил с польского Мицкевича, Раймона, Пшибышевского и других писателей. Жилось материально трудно. Жили мы в одной комнате, что значило в те времена — бедность.

Мы часто посещали «Литературный Кружок», в большинстве случаев «четверги», т. е. вечера «Свободной Эстетики», где главенствовал Валерий Брюсов. Там читались стихи и проза авторами с определенным уклоном к символизму. Бывали там Белый, Балтрушайтис, София Парнок, Бальмонт, Поляков (издатель «Весов»), Муни¹, Нина Петровская, Борис Садовский, Марина Цветаева и др.

Иногда бывали мы и на «средах», где происходило чтение (большей частью) прозаических произведений с реалистическим направлением. Я встречала там Ив. Бунина, Леонида Андреева, Куприна и др.— большей частью сотрудников издательства «Знание». Председателем был Телешов.

В общем, «Литературный Кружок» был очень пестрым: там было много адвокатов, врачей, художников, коммерсантов, меценатов, композиторов и нарядных дам.

Однажды в «Литературном Кружке» на вечере «Свободной Эстетики» Валерий Яковлевич объявил конкурс на строки Дженини из «Пира во время чумы»: «А Эдмона не покинет Дженини даже в небесах». В. Ф. как будто бы и не обратил на это внимания. Но накануне срока конкурса написал стихи «Голос Дженини».

На другой день вечером мы поехали в «Литературный Кружок», чтобы послушать молодых поэтов на конкурсе. Результаты были слабые. Если не изменяет мне память, все же лучшим стихотворением конкурса были признаны стихи Марины Цветаевой. В. Ф. не принимал участия в конкурсе, но после выданной премии Цветаевой подошел к Брюсову и передал ему свое стихотворение. Валерий Яковлевич очень рассердился. Ему было досадно, что В. Ф. не принимал участия в конкурсе, на котором жюри, конечно, присудило бы премию ему, так как стихи В. Ф. Брюсов находил много лучше стихов Марины Цветаевой.

...В. Ф. часто печатался в альманахах «Грифа», в Антологии издательства «Мусагет», в журналах «Русская Мысль», «Аполлон», «Северные записки» и других изданиях. Кроме того, занимался переводами с польского. Кое-что переводил из Мопассана и Мериме, писал для театра Балиева.

Постепенно он приступил к написанию своей третьей книги стихов «Путем зерна».

Иногда он писал стихи очень быстро, а иногда вынашивал их годами. Бывали случаи, когда мы шли по

улице, и В. Ф. меня останавливал и, вырвав из записной книжки листок, писал на моей спине пришедшую ему в этот момент строчку. А иногда он будил меня ночью и просил сесть и записать несколько строк.

Началась война 1914 года, В. Ф. был призван, но получил белый билет по состоянию здоровья; через полгода еще раз — опять белый билет, через несколько месяцев — опять белый билет, а в четвертый раз был признан «годным». Это была совершенная дикость. Он растерялся и не знал, что предпринять. Обратился к А. М. Горькому с просьбой разобраться в этой чепухе — Горький помог.

В 1917 году после революции, которую В. Ф. принял с огромной радостью, он одним из первых вступил в союз поэтов и стал печататься в революционных газетах и журналах, за что многие из писателей на него шипели. Но материально нам жилось тяжело. Здоровье его подорвалось от недостаточного питания, и у него начался фурункулез. <...> Лечения почти не было. <...>

В то время магазинов практически не осталось, и писатели открыли «Книжную лавку писателей». В ней участвовали следующие лица: Павел Муратов, Борис Зайцев, Осоргин, Михаил Линд, Владимир Лиддин, Владислав Ходасевич, Борис Грифцов, Ефим Янтарев и еще кто-то, кого я не помню. Я там служила в качестве кассирши, а перечисленные писатели дежурили за прилавком. Вскоре открылась «Книжная лавка поэтов». Насколько я помню, во главе ее стоял Шершеневич. Лавки конкурировали между собой, отыскивая старые библиотеки. Наша лавка не отапливалась, и я утром находила чернила замерзшими. Все работали в шубах.

В 1918—1919 годах мы часто бывали у А. Н. Толстого. <...> В этот период поэты и писатели часто выступали в разных московских кафе со своими произведениями. Одновременно в одном кафе читали Брюсов, Павлович, Парнок, в другом — Толстой, я, Андрей Белый, в третьем — Ходасевич, Крандиевская, Антокольский, а на другой день состав выступающих менялся. В других кафе выступали Маяковский, Есенин, Шершеневич и другие поэты. Выступления оплачивались.

Часто бывал у нас поэт Константин Липскеров — поэт хороший, тонкий, любящий Восток, влияние которого чувствовалось в его стихах. Я помню, что В. Ф. написал ему шуточные стихи (к сожалению, они у меня не сохранились) и в ответ получил от Липскерова тоже шуточные стихи. Встречался В. Ф. и с Маяковским, который в доме у нас не бывал, но на Тверском бульваре находилась кофейня «Кафе Грек», и там бывало много писателей. Вот там В. Ф. и встречался с Маяковским. Конечно, они не были созвучны, но это не мешало им ценить друг друга.

В конце 1920 года А. М. Горький прислал В. Ф. письмо с приглашением работать в Пушкинском Доме и обещанием найти нам комнату. Это приглашение было очень кстати: доктора настаивали на перемене места жительства для В. Ф. <...>

В Ленинграде найденная для нас комната Горьким оказалась малопригодной для жизни. Это был бывший антикварный магазин, несколько лет уже не отапливавшийся, и мы, затопив печку, все угорели и с трудом сползали с лестницы. <...> Кроме того, в комнате было холодно и сырь, и В. Ф. заболел.

Весь на нашем приезде дошла до писателей, живших в «Доме Искусства», и Виктор Шкловский, Надежда Павлович, Всеволод Рождественский, Владимир Пяст быстро организовали наш переезд в «Дом Искусства». Сперва нас поместили во дворе в небольшой комнате, но вскоре после визита врача, который нашел у В. Ф. отек легких, нам предоставили две комнаты в главном корпусе. У нас в то время совсем плохо было с питанием, но товарищи по перу и это нам организовали. Помню, как сейчас, как Надя Павлович прнесла мешочек пшена. <...>

В. Ф. работал в издательстве «Всемирная литература» и занимался творческой работой. У него уже была почти готова четвертая книга стихов «Тяжелая Лира», кроме того, были написаны статьи о Пушкине, Раствор-

¹ Муни — псевдоним поэта Самуила Киссина.

чиной, Державине, «О Гавриилиаде», «О русской поэзии». <...>

Жизнь в «Доме Искусства» шла своим чередом. Чуть не ежедневно в концертном зале бывали концерты, доклады, вечера. Часто играли Анна Мейчик, Софроницкий... У нас бывало много людей: Ольга Форш, Зощенко, художник Милашевский, Осип Мандельштам, художница Щекотихина, Пяст, Нельдихен, Слонимский, Каверин, Н. Тихонов, тогда еще малоизвестный поэт, Павлович, Гумилев, художница Валентина Ходасевич, дочь старшего брата В. Ф., которая жила в одной квартире с Горьким, где мы бывали.

Но были и «но» — добрые соседи, люди богемы, не имеющие разных бытовых мелочей, часто стучали в нашу дверь с вопросами: который час, какое сегодня число, нет ли иголочки, когда выдают паек, дайте, пожалуйста, спички и т. д. Эти частые заглядывания очень мешали В. Ф. в его работе, и однажды, рассердившись, он вывесил на двери записку: «Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового обслуживания».

В 1921 году, одновременно с А. Блоком В. Ф. выступил с речью на Пушкинском вечере 11 февраля. Речь его была впоследствии напечатана в его сборнике статей под заглавием «Колеблемый треножник». А. М. Горький в те времена относился к В. Ф. с большой нежностью и был почитателем его стихов. Помню, как однажды мы были у него и В. Ф. прочел ему свое стихотворение «Обезьяна» из книги «Путем зерна». Алексей Максимович, слушая эти стихи, плакал.

Боюсь, что я слишком много пишу о внешней жизни В. Ф. и мало о внутренней. Он был человек большой, раздражительный, желчный. Смеялся он редко, но улыбка часто бродила по его лицу, порой ироническая. По существу он не был злым человеком, но злые слова часто срывались с его губ. Он даже порой был сентиментален, даже мог заплакать над происшествием малозначительным. С людьми он умел быть приятным — он, как умный и тонкий человек, понимал, кому что было интересно, и на этом играл, хвалясь, что каждого человека знает насквозь и даже на три аршина вглубь под землею. Его талантливостьказывалась во всем: в умении очаровывать людей, в чтении стихов, в умении при большой бедности быть всегда прилично одетым и т. д. Но все же из-за своей болезненности он часто скорился с людьми. За границей он поссорился с Андреем Белым, со своей сестрой, с ее мужем и даже с редактором газеты, которая в тот момент являлась источником его материального существования.

В. Ф. часто присыпал мне письма. Сперва письма были из Германии, потом из Италии, где он одно время жил у Горького в Сорренто, затем переехал в Париж.

Письма были разные, одно в них было одинаково — отвращение к мещанству, к мелкобуржуазной жизни и ее интересам.

В дополнение я хочу прибавить краткую характеристику В. Ф. в частном письме ко мне Ольги Дмитревны Форш:

«Дорогая Анна Ивановна, очень благодарю за стихи Владислава Фелициановича. Такую доставили радость, ведь мы с ним много говорили об искусстве, многое любили одинаково. Душа его глубокая и, как ни странно и противоречиво, со всей зримой недобротой, внешностью характера, — была нежная и детски жаждавшая чуда.

И больно, что при таком совершенстве стиха до конца осталась эта разящая жестокость. Отчего так обидно и страшно выбирал он только большое, бескрайнее и недобroе — он же сам, сам был иной.

Я люблю Владислава не только как поэта — как человека, а поэт он первоклассный и надо об этом писать, и очень хорошо, что Вы собираетесь дать его биографию.

Его высокое понимание поэзии, благоговейная любовь к Пушкину и редкая строгость к себе заслуживает напоминания. Особенно пример он тем, которые пишут «с легкостью неимоверной» — а поэзии ни на грош...».

Письмо это от 15 марта 1958 года.

Публикацию подготовил А. ЛАВРИН

Владислав ХОДАСЕВИЧ

☆☆☆

Друзья, друзья! Быть может, скоро —
И не во сне, а наяву —
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву,

И повинуясь только звуку
Души, запевшей, как смычок,
Вдруг подниму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок,

И я увижу и открою
Цветочный мир, цветочный путь,—
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть!

Стансы

Бывало, думал: ради мига
И год, и два, и жизнь отдам...
Цены не знает прощелыга
Своим приблудным пятакам.

Теперь иные дни настали.
Лежат морщины возле губ,
Мои минуты вздорожали,
Я стал умен, суров и скуп.

Я много вижу, много знаю,
Моя седеет голова,
И звездный ход я примечаю,
И слышу, как растет трава.

И каждый вам неслышный шепот,
И каждый вам незримый свет
Обогащает смутный опыт
Психеи, падающей в бред.

Теперь себя я не обижу:
Старею, горблюсь, — ио коплю
Все, что так нежно ненавижу
И так явительно люблю.

Баллада

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещенные тоже —
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смузены не знаю,
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытии.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.

Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текущие звезды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, амей, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солица в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

☆☆☆

Кто счастлив верною женой,
К блуднице в дверь не постучится.
Кто прав последней правотой,
За справедливостью пустой
Тому невместно волочиться...

☆☆☆

Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре, —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суще, на море,
Или на иебе, — мне вспомнишься ты.

☆☆☆

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере-что хочешь, —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

☆☆☆

С берлинской улицы
Вверху луна видна.
В берлинских улицах
Людская тень длинна.

Дома — как демоны,
Между домами — мрак;
Шеренги демонов,
И между них — сквозняк.

Дневные помыслы,
Дневные души — прочь:
Дневные помыслы
Перешагнули в ночь.

Опустошенные,
На перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое
Тогда выходим мы.

Нечеловечий дух,
Нечеловечья речь, —
И песни головы
Поверх сутулых плеч.

Зеленою точкою
Глядит луна из глаз,
Сухим неистовством
Обуревая нас.

В асфальтном зеркале
Сухой и мутный блеск,—
И электрический
Над волосами треск.

☆☆☆

Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в夜里, —
Но тайно сквозь меня летели
Колючих радио лучи.
И мнится: где-то в теле живы,
Бегут по жилам до сих пор
Москвы бунтарские призывы
И бирж всеесветный разговор.
Незаглушило и сумбурно
Пересеклись в моей тиши
Ночные голоса Мельбурна
С ночными знаньями души.
И чьи-то имена и цифры
Возникаются в разъятый мозг,
Брываются в глухие шифры
Разряды океанских гроз.
Хожу — и в ужасе внимаю
Шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю —
Все тот же звук! А между тем...
О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы е щ е лучами
Неощутимо пронзены!

Слепой

Палкой щупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
И на бельмах у слепого
Целый мир отображен:
Дом, лужок, забор, корова,
Ключья неба голубого —
Все, чего не видит он.

☆☆☆

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вперь болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглаша и трубя
Завоеванье иовых истин,—
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наитии
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманный спокойно,
Благослови и прокляни.

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно
Привыкши к слову — замолчать.

Памятник

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мие это счастье дано.

В России новой, но великой
Поставят идол мой двулцкий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

МОЛОДАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

ной гипотезе, то есть о художественных достоинствах произведения речи вообще нет. Обсуждаются идеи, насколько они реальны, насколько технически оснащены и так далее. Я преподаю в старших классах, это классы математические, химические, биологические, то есть наша будущая техническая интеллигенция. Стихов они не читают напрочь, впрочем, как и прозу.

Н. СЕРЕЖКО, студент. А может, тут виноваты не ученики, а учителя, школьная программа? Я рабочий, приехал с Крайнего Севера, поступил в Москве в технический вуз. Но вы посмотрите, как нас учили! В 8-м классе мы проходили «Евгения Онегина» — вершинное произведение Пушкина, сложнейшее по всем, так сказать, компонентам. И чтобы мы, 14-летние панцы поняли его, нам «Евгения Онегина» стали «раскладывать по полочкам» — упрощать, переводить в плоскость нашего понимания. Вот и осталось у нас на всю жизнь такое примитивное понимание этой вещи — на уровне сюжета, и только.

А. ЯГОДКИН, настройщик радиоаппаратуры. Приходится читать в «Литературке» критику или обсуждение новых книг — наверное, интересных, если о них так яростно спорят, — но в продаже и в библиотеках я этих книг не встречал. Встречал другие. Их авторы мне представляются людьми очень умными. Они застали и смеются. Расставляют фигурки, к примеру, на заводе, и начинают ими играть: ход за белых, ход за черных, сложная партия с длинными вариантами, но больше, чем за одной, следить не хочется. И если в начале рассказа говорится о бригадире бетонщиков, какой он из себя сложный и из-за чего у него вышел конфликт с начальством, то дальше мне читать не хочется. И никому из моих знакомых на заводе тоже не захочется.

Многие читатели присоединились к мнению А. Ягодкина. Говорили о том, что некоторые писатели «выплюивают» на волне конъюнктурного интереса к какой-то теме. В то же время читатели хотели бы, чтобы молодые писатели говорили о проблемах молодежи, о нравственном облике нашего молодого современника, о его духовных поисках.

Н. ХИНСКИЙ, токарь. Мне кажется, есть сейчас молодые прозаики, которые всерьез задумываются над проблемами становления личности. Мне, к примеру, памятны повести Николая Курочкина «Смерть экзистенциалиста», Владимира Курносенко «Побег», Майи Комиссаровой «Суеверие», рассказы Игоря Тарасевича и Вячеслава Пьецука. Но вот молодой профы о рабочем классе у нас действительно нет, потому что те, кто пишет о наших проблемах, говорят в лучшем случае полуправду. Несколько лет назад повсюду раскручивали повесть А. Белая «Линия». Я знаю изнутри то, о чем она пишет, и на меня он впечатления не произвел. XXVII съезд КПСС сказал гораздо больше правды о нашем производстве, чем сотни художественных книг на эту тему, которые появились в последние годы. Номер «Литгазеты» с выступлениями писателей на VIII съезде писателей зачитывали до дыр. А почему? Потому что эти выступления намного остree книги, которые эти же писатели пишут.

Я. ПРУССКИЙ, сотрудник музея. Не согласен! Всегда были и есть в нашей литературе писатели, независимые от конъюнктуры и творческой моды. Их имена на слуху. Айтматов, Быков, Бондарев, Матвосян... Другой вопрос, готовы ли молодые писатели следовать их примеру?

А. ЖИДКИХ, инженер. В этом смысле из молодых мне интересны поэты Николай Дмитриев и Евгений Блажеевский. Дмитриев бывает вторичен, ясен его генезис из «деревенской» поэзии, но есть у него вещи высокие по духу. А в Блажеевском привлекает свежесть, непредвзятость взгляда.

Под таким заголовком в мартовском номере прошлого года в нашем журнале была опубликована анкета, на которую ответили те, кто непосредственно занимается организационно-творческими и учебными делами, связанными с молодыми писателями. В июньском номере редакция предоставила слово самым молодым писателям, пообещав затем подключить к разговору и читателей.

Выяснилось, что о творчестве своих сверстников молодой читатель имеет, как правило, смутное представление. Естественно, это в первую очередь касается тех, у кого еще нет книг. Некоторые из авторов пришли на встречу с читателями в редакцию и прочитали свои стихи. Это помогло начать разговор. Сразу была отмечена парадоксальная ситуация: о А. Еременко, В. Коркин, А. Парцукове написано в критике во много раз больше, чем опубликовано самими поэтами. Создается впечатление, что они широко известны, а это не так.

Стал ли читатель равнодушнее к поэзии? Оторвалась ли поэзия от него? Почему издатели ждут, пока молодые поэты состарятся? Разговор был долгим, взволнованным. Проиллюстрируем его подборкой читательских высказываний, а в заключение предоставим слово редактору отдела критики.

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ:

Е. ЧЕРЕПАНОВА, психолог. Привыкли мы ругать своих сверстников, которых больше интересуют рок-музыка и дискотеки, чем высокая литература. А может быть, это закономерность социального развития, а не болезнь? И, может, надо отыскивать способы через молодежную культуру, с помощью ее проповедовать вечные истины добра и человечности? Может, именно молодые поэты и смогут это сделать?

В. ЕВГЕНЬЕВ, учитель математики. Я пробовал выяснить, что читают мои ученики. В основном, оказалось, фантастику. К ней они относятся как к науч-

И. СЫЧЕВА, вирусолог. Но Блажеевского назвать молодым, по-моему, не совсем верно. Ведь это уже поколение почти сорокалетних...

В. БЕССОНОВ, историк. Молодость — в литературе понятие растяжимое, а мы с вами не литературоведы, чтобы устанавливать границы каких-то поколений. Думаю, что сейчас, после апрельского Пленума ЦК и XXVII съезда КПСС, должен быть в литературе взлет, возрастет интерес к поэзии, потому что поэзия всегда была на гребне времени. Должны появиться интересные молодые поэты. За последнее время меня привлекло имя Михаила Поздняева. Его пытаются сейчас даже как-то выделить, но в нем, мне кажется, очень видны недостатки современной молодой поэзии. Я бы назвал это скепсисом, наверное. Он сквозит даже в тех стихах, которые читали здесь. Думаю, что это явление, несомненно, связано с недавним временем, когда в обществе ощущались застойные явления.

Многие выступавшие на «круглом столе» выразили мнение, что в рабочих коллективах не услышишь разговоров о поэзии, тем более о молодой. Виной этому, считает техник-смотритель А. Егорьев, то, что нет поэзии, адресованной рабочему классу, человеку, который отдает себя тяжелому физическому труду. С мнением А. Егорьева согласились далеко не все. Возражали и против того, что рабочему человеку трудно воспринимать «сложную» поэзию. Пусть стихи сложны, но они заставляют смотреть на простые вроде бы вещи совсем другими глазами. Не надо думать, что читатели не разберутся в сложностях стихов Парщикова или Жданова. Может, поначалу и не разберутся, но это «заставит нас учиться тому, чего мы еще не знаем, переосмысливать свое отношение к человеку, к жизни, космосу». Подчеркивалось, что эти поэты интересны неординарностью взгляда на мир. Но им порой трудно вписаться в стереотип, выработавшийся годами. Это настоящая драма и для них, и для читателей.

А. СОКОЛОВ, таксист. Я не читаю современную поэзию. На мой взгляд, молодые поэты в основном занимаются самодемонстрацией. Я и мои друзья слушаем Высоцкого, Розенбаума и других бардов. Вот так мы находим то, что нам интересно.

Ю. ГУГОЛЕВ, фельдшер. Одни говорят: рабочие «сложную» поэзию не поймут, другие говорят: разберемся... Да не в социальном статусе дело, а в уровне образования! Не могут миллионы рабочих взять и прочесть с одинаковым пониманием одно стихотворение. Человек, образованный эстетически и поэтически, выберет своих поэтов. Писателю же нельзя ориентироваться на тот ширпотреб, который крутится в головах у некоторых. Это их трудности. Автор не должен работать на усредненного читателя. Если такой есть, то это недостатки школьного образования.

Е. ЧЕРЕПАНОВА. Поэзия, как и всякое искусство, занимается поиском идеала, поиском смысла жизни. А вот молодые поэты, о которых сегодня шла речь, главным образом занимаются поисками... себя. Но мне это представляется продуктивным моментом — потом уже можно переходить на поиски идеала и так далее.

В. СЕРЕБРЯНЫЙ, журналист. Почему же мы все-таки плохо знаем молодых поэтов? Да потому, что их печатают без особого разбора в огромном количестве! В потоке, захлестнувшем книжные прилавки, читателю и скучно, и трудно ориентироваться, поэтому он со свойственным коллективному сознанию здравым смыслом справедливо решает, что лучше немного подождать и время обязательно покажет, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а тогда уже можно будет и деньги тратить. В 5-м номере «Юно-

сти», посвященном студентам Литературного института, стихи, на мой взгляд, можно разделить на три вида: никакие, гражданственные и авангардистские. Гражданственное направление представлено стихами М. Мошегова и В. Заливочкина. В одном из них клямся любителями иностранного ширпотреба и наклеек «майдан...». В другом автор переносит нас на Ближний Восток и пересказывает в поэтической форме телевизионную информацию. Гражданственности таких стихов, наверное, достаточно для сдачи экзамена по обществоведению, но ее недостаточно для того, чтобы выразить боль и гнев нашего времени.

Имена Парщикова и Еременко упоминаются чаще. Считается, что их манера — это современно. Но если стихи Еременко, скорее относящиеся к сатирической поэзии, полны метких наблюдений и оценок, иронии по отношению к самому себе и окружающему миру, то стихи Парщикова с современностью связывает лишь набор модных в последние годы понятий. Тут и «аура», и «аксеза», и «тренинг», и «алмазная сутра», то, что в XIX веке было «златокудрым Фебом и розовоперстой Авророй».

И. СЫЧЕВА. А мне нравится, когда молодые поэты как бы смешивают стили и жанры, используют поэтический словарь XIX, и XX века. Как, например, Виктор Коркин в поэме «Сорок сороков»:

...И трижды прокричит яйцо,
И отречется инкубатор,
И все Садовое кольцо
Заменит круглый эскалатор.

А рядом с таким полуёничеством — строфы философские, строки драматичного звучания:

И если я не есть любовь,
То кто же я, каким макаром
И прак, и тлен, и плоть, и кровь
Я сочетаю с божьим даром?

Г. ПОПОВА, журналистка. А я хочу процитировать совсем иное, серьезное, без укылок:

...А там, за телегой, к себе самому
буланое детство уходит во тьму,
где бродит табун вверх ногами
и плачет кобыла в метельном дыму,
к тебе прикасаясь губами.
Небесный табун шелестит, как вода,
с рассветом, приближаясь горы, когда
трава в небесах заклубится,
и тихо над миром повиснет звезда
со ща молодой кобылицы.

Это стихи Ивана Жданова. Думаю, никого не удивлю, если среди ближайших литературных родственников автора назову не Пастернака, не Хлебникова, а Сергея Есенина. Чья, если не есенинская, у поэта обнаженная внутренняя боль, исповедальность, любовь ко всему живому?!

Е. БЕРШИН, журналист. Давайте вспомним, Маяковский начал как новатор, авангардист, его не понимали. Как и Хлебникова. С этого всегда начинается большой художник. Нынешний поэтический авангард — Парщиков в Москве, Драгомощенко в Ленинграде, Мезенко в Киеве, Кальпиди в Перми — тоже озабочен поисками новых семантических структур. Мы, конечно, не можем предсказать, кому из них суждена большая удача, но их работа нужна литературе. Просто сейчас они находятся на начальном этапе... Говорите, слишком затянулся начальный этап? Но ведь этому поколению не повезло, оно «выходит на поверхность» в тридцатилетнем возрасте. Медлительность издательств не способствует развитию талантов. Пишут непонятно? Кому их трудно воспринимать, пусть читают пародии Александра Иванова, тут никаких усилий не требуется. Новое в искусстве всегда связано с ломкой стереотипов, канонов. Но почему-то эту ломку канонов некоторые считают разрушением самого искусства...

В заключение Нина Искренко и Владимир Друк рассказали, что на базе недавно принятого Положения о работе любительских объединений в Москве был создан молодежный клуб «Поэзия», который объединяет и поэтов, и любителей поэзии. Мы, сказали они, добиваемся назло издательскому равнодушию прямого контакта с читателями и слушателями. Форма работы предполагается разная — клубные встречи, выпуски «устных книг», театрализованные поэтические представления. Приглашаем к себе художников, музыкантов. Надеемся преодолеть «звуковой барьер» между молодыми литераторами и аудиторией...

В связи с этим хочется привести справедливые слова, которые произнес на пленуме Московского отделения Союза писателей РСФСР Олег Попцов, секретарь по работе с молодыми литераторами («Литературная Россия», 14 ноября 1986 г.):

«Состояние работы с начинающими литераторами, процессы, проходящие ныне в среде творческой молодежи, не могут не вызывать серьезной озабоченности. Одни из таких процессов, остающийся как бы вне поля зрения Союза писателей,— создание неформальных «клубов по интересам» со своим, утвержденным различными инстанциями статусом и немалыми полномочиями. Не сумевшие преодолеть определенных сложностей, связанных с выходом первых книг, со вступлением в Союз писателей способные молодые литераторы, ищащие выхода на аудиторию, часто вынуждены в этих клубах объединяться с безликими носителями так называемой «массовой культуры». Создается почва для конфронтации формальных и неформальных объединений, создается угроза потери молодых сил для настоящего творчества. Для разрешения этой ситуации нужны конкретные, убедительные и уважительные по отношению к молодежи меры».

Кирилл КОВАЛЬДЖИ СКОЛЬКО У ШАРА СТОРОН?

Пока что их обозначилось три. Во-первых, высказались писатели старшего поколения, они же наставники, которым поручено заниматься молодой литературной сменой. Во-вторых, сами молодые, и вот теперь, в-третьих, читатели, в основном тоже молодые. Очень разные получились круги, только отчасти пересекающиеся. Наставники, как выяснилось, прежде всего имеют дело с «массовой» стороной: на всесоюзные совещания молодых писателей просятся сотни и сотни претендентов, в Литературный институт подают заявления тысячи желающих и т. д. Потому беспокойство наставников связано с напором тех, которые, по словам В. Амлинского, «рвутся на многочисленные совещания, семинары — «бойкие, веселые и находчивые, очень находчивые молодые люди». Отсюда предложение сделать творческие обсуждения более узкими, более жесткими в профессиональном смысле. «Думаю, необходимо основательно перестраивать, — пишет М. Шевченко, — организацию и проведение семинаров и совещаний, прежде всего всесоюзных совещаний молодых. Не надо гнаться за количеством участников. Нет надобности варанее называть цифру участников совещания (скажем, 300

человек) и потом во что то ни стало набирать ее». С этой — «массовой» — стороны явления наставники видят «инфляцию». Получается парадокс: за последние годы было опубликовано слишком много молодых (особенно поэтов — в некоторых сборниках сразу по полтысячи имен) и в эти же годы — слишком мало настоящих молодых, то есть новых, характерных для семидесятых — восьмидесятых годов.

Вот эта — не количественная, а качественная — сторона волнует самих молодых. Они «в литературе далеко не все обойдены», — подчеркивает В. Салимон, — не обойдены любимые дети, прилежные ученики. Но мне хочется сказать о тех, кто обойден... это люди одаренные, со своим голосом, взглядом. В этом своеобразии, вероятно, и беда. Нет, не любят детей строптивых». И вот было предоставлено слово самим «строптивым детям» в июньском номере журнала (хотя не все, заметим, строптивые и все давно уже не дети!), и, несмотря на некий их спор между собою и спорность позиций, обнаружилась такая, что ли, равнодействующая: мы непохожие, разные, но значительные, мы обладаем пусть еще непривычным, но своим, более современным восприятием действительности.

Так, А. Парщиков настаивает на том, что «важно не просто написать хороший текст, воспользовавшись уже известным восприятием (это задача не поэтическая, переведическая), но утвердить собственное восприятие мира». «Потому что, — заключает Н. Искренко, — стремление преодолеть инерцию мышления, инерцию восприятия, стремление разрушить стереотип было присущим человеку всегда, во все времена». В. Коркис восстает против «отрицания непривычных поэтических миров» и восклицает с веселым вызовом: «Но мы, извините, мыслим, а следовательно... — сами понимаете!»

Вот тут-то и обозначился второй парадокс. «Строптивые дети» заявляют о себе, однако для многих и многих читателей они еще не существуют. В этом, наверное, предстоит разобраться: данный «круглый стол» способствовал то ли разрешению возникших проблем, то ли постановке новых...

Бесспорным выглядит то обстоятельство, что молодые поэты восьмидесятых годов (а разговор о поэзии вышел на первый план, и это неудивительно: на «очной ставке» читателей и молодых авторов легче всего приводить поэтические «аргументы») приходят в литературу совсем не так, как появились в ней Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина тридцать лет назад. Тогда новому поколению поэтов выпало счастье встретить немедленный читательский отклик. Более того — они обрели широкую аудиторию не только читательскую: у них были десятки тысяч слушателей в залах, на стадионах, на площадях. Их социальное и нравственное воздействие было огромно, они являлись духовными лидерами своего поколения, его голосом, полным энергии, жизнедеятельности, его пробудившимся самосознанием, они были истинно гражданственны. Что же изменилось? Почему при всем желании прежнее не может повториться?

Поэтический голос ставит время, а оно иное. Еще вчера в творчестве молодых звучали саркастические ноты, чувствовалось тяготение к ироническому, абсурдному, к пародийным мотивам, и это отвечало настроениям их сверстников. Сегодня на наших глазах мироотношение у нашей молодежи меняется. Появляется динамизм, жажда действия, уверенность в своих силах и завтрашнем дне общества. Этот благотворный процесс не замедлит сказаться и в их творчестве.

По-своему меняется и понятие гражданственности в сфере искусства (оно вообще не бывает застывшим, раз и навсегда данным). То, что стояло «на повестке дня» вчера, сегодня теряет свою остроту, а то, что вчера считалось абстрактным, сегодня может наполниться самым злободневным смыслом. Так, более чем современно сейчас звучит тема человечества как единого целого (в смысле единства судьбы, поставленной на карту!), необходимости обретения народами глобального сознания как высшей ступени

интернационализма. А тема взаимоотношений человека с Природой! Еще недавно она могла казаться приблизищем «чистой» лирики, а ныне исполнена остройшего гражданского пафоса. Не может не влиять на наше сознание и то, что входит в нашу жизнь через науку (Вернадский, Эйнштейн, Винер...). Особую актуальность приобрела мысль о необходимости развить человеческое в каждом человеке, утвердить ценность каждой индивидуальности, ибо мы мыслим будущее общество как союз личностей, не как безликую массу. В критической ситуации конца века, конца тысячелетия молодые литераторы (прежде всего поэты как наиболее чуткие «усилители») реагируют на все это. Человек перед лицом жизни и смерти, перед лицом космоса, человек как бесконечно могучее и бесконечно хрупкое существо. В такую симфонию вплетаются разные — часто дисгармоничные, диссонирующие — голоса. Но что поделаешь? Не они себе выбрали время, а оно выбрало их. Можно ли сегодня от поэта требовать ответа на все вопросы, требовать столь же резкого разделения на добро и зло, как от проповедника?

Поэт чаще всего не лекарь, а сама боль, он скорей исповедник, он, выстрадав добро и зло, передает свое переживание нам, живое переживание, а не нравоучительные сентенции. Искусство для читателя — всегда обретение другой жизни, иного опыта. расширение своего «я», а не усвоение правил поведения. Искусство «изнутри» приобщает нас к наущенным проблемам и само является проблемой.

Не будем бояться сложностей. Как уже упоминалось, в № 6 мы напечатали разные суждения участников «круглого стола» и обещали разговор продолжить. Между тем он перекинулся на другие издания.

Александр Бобров, не дожидаясь продолжения, в «Литературной России» от 19 сентября 1986 г. выделил почему-то двух-трех авторов, представляя дело так, будто вместо «круглого стола» выступили некие фрондеры с наглым манифестом. Статья озаглавлена «А надо ли противопоставлять? Полемические заметки о критике молодой поэзии, амбициях и позициях».

Не будем останавливаться на несущественных вещах, интересующих критика (возраст В. Коркия и кого надо засчитывать в «семидесятники», а кого не надо), обратимся к сути. Предположим, что А. Бобров абсолютно прав, упрекая двух-трех из участников «круглого стола» в самонадеянности, саморекламе и неуважении к старшим. Посмотрим, что дальше, то есть к каким выводам он нас подводит. Оказывается, А. Бобров полагает, что в поэзии не должно происходить ничего нового и ни о какой «езде в незнаемое» не может быть и речи. Более того, он полагает, что никогда не было литературной борьбы и не должно быть. В поддержку этого тезиса он приводит «мудрые слова» «тонкого лирика» Дмитрия Ковалева: «А, по-моему, это липа насчитывает поколений, которые чуть ли не через каждые пять лет новые, которые чуть ли не противопоставляются старшим. Неужто мы разграничиваем так, когда читаем поэтов прошлого? Мы видим их поэтами одного века, лишь бы они были настоящие своеобразные поэты».

Легко говорить, когда речь идет о прошлом, там действительно все талантливые поэты стоят рядышком. А в жизни попробуй «помирить» Фета с Некрасовым или Маяковского с Есениным! И еще. Неужели нужно объяснять, что во время резких общественно-исторических перемен понятие литературного поколения имеет отчетливый смысл? Неужели надо объяснять, что М. Горький, например, был на несколько лет старше И. Бунина, а принадлежал в литературу к новому поколению, революционному? Почему надо пугаться, что Маяковский призывал «бросить Пушкина» «с Парохода современности». Ведь не бросил. Более того, он сам потом признался в любви к Пушкину (см. «Юбилейное»). Откуда такое странное заблуждение, что кто-то может кого-то в литературе зачеркнуть? Такого не бывало и не будет. Неужели если молодому зодчemu не по душе стиль старшего, он тем самым «зачеркивает» возведенный

храм? Сносят здание не зодчие, а совсем другие люди...

А. Бобров беспокоится. По его мнению, могущественные А. Лаврин, В. Коркия и А. Малыгин совершают опустошительные рейды по беззащитной отечественной литературе. Он пишет: «надвигается... поколение Лаврина, который одним взмахом пера зачеркнет молодую поэзию предыдущего десятилетия, целую плеяду поэтов — ровесников Победы...», «семидесятники», пренебрежительно зачеркнутые молодым автором, «о каком завтрашнем дне нашей литературы можно говорить, если придут по пробитой колесе другие новаторы и зачеркнут «восьмидесятников?». «Так, может, погодить пока... с безжалостными зачеркваниями?», «Критик зачеркивает, по существу, почти все бюро творческого объединения московских поэтов...». Как страшно. Неужели бюро «по существу» уже зачеркнуто? Нет, никого Лаврин или Коркия зачеркнуть не могут. Как раз их-то неизданные книги легко «зачеркнуть».

Молодой стихотворец и критик (тоже, кстати, разменявший четвертый десяток) Александр Казинцев в статье «Простые истины» («Наш современник» № 10) выражает, в частности, удивление, что некоторые участники «круглого стола» в «Юности» требуют (по его словам) «изданий, рецензий и прочих благ», а кто они? Они «маленькая группка авторов» презрительно сообщает А. Казинцев, словно молодые поэты, как правило, ходят большими группами. Тут он спохватывается, вспомнив, что Е. Сидоров недавно его упрекал в том, что он выдвигает «десятка, если не сотни» юных стихотворцев в качестве «кандидатов на восхождение на Олимп» («Вопросы литературы», № 4, 1986). Потому Казинцев называет всего шесть имен, — вместо сомнительной «маленькой группки» предлагает «действительно талантливых авторов с нелегкой поэтической судьбой, как Л. Овчинников, Г. Ступин, О. Постникова, Л. Копылова, Г. Жуков, А. Твердохлеб».

С удовольствием повторяю их имена, но ие вместо, а вдобавок. Правда, неясно по какому принципу составил Казинцев этот список: у Л. Копыловой, например, два сборника стихотворений, она вполне сложившийся поэт, не первый год член Союза писателей, и ее поэтическую судьбу вряд ли стоит приводить как пример «нелегкой».

Жаль, что Казинцев не проявил интереса к развитию молодой литературы в целом, прошел мимо тех молодых, о которых в нашем журнале говорили В. Амлинский, Ал. Михайлов, О. Шестинский, прошел мимо тех проблем, которые действительно ждут своего разрешения.

Подобная же позиция и у О. Клинга («Литературная газета», 29 октября 1986 г.). Он тоже предполагает, что ничего нового у «шумных» молодых поэтов быть не может, что все уже «было» и что они якобы «непередумы» к «ближним предшественникам — здравствующим, к счастью, и поныне» (достаточно прочитать восторженную статью Н. Искренко «Вернемся к Вознесенскому!», чтобы убедиться, что критик, мягко говоря, преувеличивает). О. Клинга совершенно не беспокоит то, что читатель не в состоянии судить сам, кто прав. Не в состоянии из-за отсутствия книг у «молодых» поэтов, которые могли бы выпустить первые сборники еще лет десять назад: Еременко, Парцкова, Коркия, Искренко, Лаврина, Бунимовича, Шуляковского и др. Примечательно, что в том же номере «Литературной газеты» опубликована беседа с Мариной Кудимовой, чьи слова вполне могут служить ответом О. Клингу: «...несмотря на то, что нас почти не печатают, все мои сверстники — люди активно работающие, много пишущие. Если нашей поэзии будут доверять, она быстрее обнаружится. Только и всего». Совершенно верно. Остается лишь посетовать на странную подозрительность О. Клинга. Ему привиделась какая-то «группа (!) поэтов, заговорившая от лица всех без исключения (?) молодых». Узурпаторы, что ли? Не надо самих себя пугать. Опять же права М. Кудимова: «Может быть... в самом деле появится что-то новое. Нужно только в этом спокойно разобраться».

Давайте разбираться в наших спорах спокойно, не поддаваясь ложным страхам. В нашей литературе накопился огромный серьезнейший опыт, который позволяет обращаться к следующим поколениям с пониманием того, что им предстоит. И с пониманием того диалектического факта, что неразрывная преемственность поколений сочетается с тем, что каждый начинает жизнь сначала и по-своему.

«Блажен кто смолоду был молод», — сказал Пушкин. Но он же добавил: «Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана...» Так вот, задача старших — не пугаться перегибов молодости, а помогать ей, чтобы она не стала напрасной... Только те споры хороши, которые учитывают завтрашний день.

В прошлом веке, да и в начале этого будущее мечталось как немедленный переход от ночи к дню. Маяковский, в сущности, был недалек от пушкинского «взойдет она, звезда пленительного счастья» — он тоже считал настоящие «потемками», а будущее виделось ослепительно высушенным (финалы ряда его поэм и пьес). А мы современники такой ситуации, когда немедленной, не терпящей отлагательств задачей стала «отрицательная»: НЕ допустить ядерной войны, НЕ погубить планету.

«Трещина мира», как всегда, проходит через сердце поэта. Но такой «трещины» раньше не бывало.

В разорванном мире и личность поэта уже не предстает такой монолитной, как прежде. Недаром еще в начале своего пути Евтушенко заявил (тогда это воспринималось как открытие): «Я разный... застенчивый и наглый, злой и добрый... столько всякого во мне перемешалось...» Поначалу декларации Евтушенко казались даже шокирующими: «Хочу искусства — разного, как я!.. Мне близки Есенин и Уитмен...» А в «Молитве перед поэмой» («Братская ГЭС») он из поэтов нашего века выделил четырех (раньше несединимых!) своих учителей: наряду с Маяковским назвал Блока, Есенина, Пастернака. Стремление к поэтической полифонии ярко выражено в творчестве Вознесенского.

Но тогдашние молодые поэты теперь уже среди тех, кого называют «ведущими». Споры вокруг них поутили, новое качество их поэзии утвердилось, медленно, но верно входит в понятие традиции.

На наших глазах появляются другие молодые поэты. Нельзя от них ждать «повторения пройденного», у них свой интерес к традиции, к Маяковскому (есть среди них и такие, кто сознательно отталкивается от ораторской интонации). Александр Еременко, например, любит вызывающий сарказм, пародийный гротеск, он остросоциален.

Любопытно: в свое время Евтушенко и Рождественский начали с того, что подхватывали позднего Маяковского, Вознесенский — позднего и раннего, а теперь Парщиков — совсем раннего, барочного...

Как быть с непонятностью сегодняшнего так называемого поэтического авангарда, с метаметафорами, с полистилистикой и т. д.?

Проще всего утешить себя мыслью, что непонятное (если оно свойство таланта, а не установка!) со временем становится доступным. Были ведь поначалу непонятны и символисты (ранние Блок и Брюсов), и футуристы (ранние Маяковский и Хлебников), и обэриуты (ранние Заболоцкий и Хармс). Потом все они переросли свои «измы», потянулись со временем к «неслыханной простоте». Но искусство усложняется. Нельзя забывать, что в европейской поэзии уже лет пятьдесят бытует «герметизм» — такая поэзия никогда не становится достоянием «широкого читателя», она для узкого круга ценителей и для специалистов. Скора с читателем — грозит ли это нам? И да и нет. Да, потому что избежать интеллектуализации в определенной части поэзии не удастся. Нет, потому что русским поэтам свойственно и мощное стремление к демократизации стиля, вспомните путь (от раннего к позднему) Блока, Маяковского, Пастернака, Северянина, Заболоцкого, Сельвинского и др.

Было бы что сказать, а форма выражения найдется...

P. S. Номер был уже сверстан, когда появилась очередная статья упоминавшегося А. Казинцева («Наш современник», № 11, 1986), откровенно призванная оградить журнал от критики. Чего стоит само ее название: «Взыскательная критика и ее противники». Вот уж действительно, если сам себя не поквалиши... Самовосхвалению нет конца. Журнал «Наш современник» пишет, что его подход к критике «творческий, ответственный, деятельный», что он представляет страницы «авторам строгих, нелицеприятных разборов» (о некоторых скромно говорится, что их разборы «безуказиценно выполнены»!), эти авторы вынуждены «заниматься расчисткой культурной почвы (работой черновой, неблагодарной, но необходимой)», что противником такой «взыскательной критики» является автор «Юности» А. Мальгин, что цель журнала «Юность» — «подорвать доверие» к журналу «Наш современник», «скомпрометировать нужное дело» и даже остановить «плодотворное развитие, наметившееся на VIII съезде писателей СССР». Вот какая тяжелая артиллерия пущена в ход.

А. Казинцев обнаруживает, что А. Мальгин «недостаточно авторитетен» (куда ему до А. Казинцева!), но он стал «исполнителем», «инструментом» журнала «Юность», ополчившегося «против тех, кто хотел бы (какое скромное «бы!»!) поднять в критике дух боевистости». Мы, конечно, далеки от подозрений, что А. Казинцев является «исполнителем-инструментом». Очень похоже, что это его личная «акция», и журналу «Наш современник» просто было приятно, что молодой критик догадался срочно написать такую лестную для журнала статью. Но автора, даже если он любимый, надо проверять, а то он возьмет и сочинит какой-нибудь миф. Например, молодой автор «Нашего современника» сочиняет, «что «Юность» последовательно культивировала комплиментарную критику. 100 из 100 — таков был долгие годы процент хвалебных материалов» и «единственную острокритическую статью журнал обращает против тех, кто хотел бы...» и т. д.

Конечно, авторы «Юности» вовсе не так «безуказицены», как авторы «Нашего современника», но давайте посмотрим: действительно ли острокритическая статья А. Мальгина является единственной? (Кстати, она появилась не «сразу после писательского съезда», а во время съезда.) Читатели помнят острокритическую серию статей Аллы Киреевой, за которую она получила в 1985 г. премию им. Б. Полевого, критический отзыв Ю. Болдырева о поэзии Т. Ребровой (за которую заступился А. Бобров в «Литературной России»), статью автора этих строк «Первые вопросы» (о неудачах двухтомника «История русской советской поэзии»). Более того, А. Казинцев забыл, что он сам в предыдущем номере «Нашего современника» отчитывал Евг. Бунимовича за критику в адрес В. Куиницына, автора того же «Нашего современника» (а Бунимович выступил в «Юности» за три месяца до съезда). Неужели все перечисленное «комплименты»?

А. Мальгин в статье «Лес рубят, щепки летят» («Юность», № 7) писал о том, что критика в «Нашем современнике» не столь взыскательна, сколь пристрастна.

Похоже, что он не ошибся.

Зеленый портфель

Алла ЛОСЕВА

ССОРЬТЕСЬ НАУЧНО!

Письмо в редакцию

Дорогие друзья!

Хочу сообщить по секрету — я собираюсь выйти замуж. Именно поэтому меня заинтересовала книга А. Добривича и О. Ясицкой «Милые бранятся...», выпущенная издательством «Московский рабочий». Предназначена она в первую очередь для молодых супружеских пар, собирающихся вступить в брак. Поскольку я принадлежу к последним, то мимо этой книги пройти было трудно. Однако после чтения мое искреннее желание создать семью сильно поколебалось.

Выбить из-под читателя табуретку авторы стремятся с самого начала, когда описывают встречу участников некой общественной комиссии по разводам. Однако уже в интригующей завязке произведения выясняется, что большинство участников этой комиссии в успех своего предприятия не верит. Скептически относятся к затее предотвращения разводов и врач-гинеколог, и юрист, и председатель комиссии. Лишь психолог Светлана Евгеньевна, молодой специалист, готова горы своротить. Но для остальных членов дружного коллектива она фигура без веса — сама-то не замужем.

Несмотря на то что Светлана Евгеньевна — сапожник без сапог, она становится чуть ли не главным персонажем произведения. Но прежде чем описывать ее титаническую деятельность на ниве примирения разводящихся трудящихся, хочется сказать о жанре книги вообще. «Ведь мы писали не очерк, а, скорее, беллетристическое произведение», — скромно признаются авторы под заглавием. С первой половиной этого утверждения я согласна. А вот со второй... Беллетристика — это художественное произведение, в котором действительность выражена в образах. О каких образах в книге «Милые бранятся...» может идти речь?! Все характеристики сведены к описаниям типа «ироничная Римма Германовна, юрист» или «Андрей Ильич, врач-гинеколог, пьет чай не спеша». Больше читатели ровным счетом ничего об этих бесплотных тенях не узнают. Многочисленные поступки персонажей сплошь да рядом вызывают недоумение. Скажем, один психолог предлагает клиентам писать некролог находящейся в добром здравии половины. Мол, видели вы его или ее в гробу?

Другой психолог, Б. М., проводя в клубе «Кому за тридцать» вечер, просит присутствующих называть его Фаридом. После вечера он объясняет своему коллеге, что на каждом выступлении ему хочется иметь новое имя. «Если в прошлый раз я был Олегом, то на следующий раз мне лучше выступать Абдуллой, а на третий — Ференцем или Яном, или Джимом...

Вообще об именах в книге «Милые бранятся...» имеет смысл поговорить отдельно. Авторы больше всего обеспокоены анонимностью персонажей и на каждом шагу подчеркивают, что герои их полуочерка вымышлены. Все — от каких-то воспитательниц, зашифрованных инициалами М. и И. А., до Риммы Германовны Хорунжей или Анны Матвеевны Варзиной. Процедура замены настоящих имен конспиративными занимает в книге львиную долю места.

Помимо этого, здорово затуманивает суть и тяготение авторов к изящной словесности. Приведу несколько пассажей. «Я, если хотите, маленький Колумб, а женщина нравится, когда в ней открывают Америку». «Счастьедается нам в системе осей: цель — усилие — результат». «...интимность надо беречь как зеницу ока, а если она пропадает, ничего не следует жалеть, чтобы вернуть, воссоздать ее». «Женщина должна быть не глупее мужчины».

А теперь хочу подробней остановиться на художественном описании деятельности психолога, условно называемой Светланой Евгеньевной Лазаревой. Она изложена в главах под названием «Фантазии». В первой перечислена научно классифицированная система всевозможных «ловушек влюблениности». Ловушки — это хитрости одного из двух людей, готовящихся вступить в брак. Бывают ловушки «уязвленного самолюбия», «неполноценности», «интимной удачи»... По мнению А. Добривича и О. Ясицкой, только они делают будущую семью надежной.

Следующие две сумбурные фантазии посвящены теории и практике общения. И не успевает читатель перевести дух, как на него обрушивается глава под названием «Светлана Евгеньевна за работой». Здесь, с леденящими душу подробностями, описано, как молодая специалистка при-



Иллюстрация из книги.

нимает во время консультации мужчину, жена которого неожиданно подала на развод. Сначала, само собой, на целую страницу идет канитель с именами. (Называйте меня Светой. — Ну что вы... — Почему бы нет? и т. д.) Затем, плюнув на это, психолог начинает убеждать Сашу, что он и особенно его родители — барахло, а подавшая на развод Люся — прекрасная женщина, просто алмаз бесценный. Диалог косноязычен — без конца встречаются «Да почем вы знаете?», «А я почем знаю?». Покончив с обвинительной деятельностью, Светлана Евгеньевна переключается на созидающую — она предлагает клиенту установить с женой эмоциональный контакт и «объясняться с выражением чувств». Для этого она настригла восемь карточек разного цвета. Почему восемь?

Что тут можно сказать? Пожалуй, мне тоже трудно выразить свои чувства подходящими словами. В одном из эпизодов книги «Милые бранятся...» психолог Б. М. удачно проводил «Вечер общения» — шутил, не давал никому скучать, держал быстрый темп. «Хорошо видит поле», — как по-футбольному выразился В. П. (другой психолог).

Не знаю, понимают ли футбольный язык редакторы книги В. Прищепенко и Е. Ефимов. Известно ли им, что в футболе арбитры показывают за лишенную элегантности игру желтую карточку, что означает предупреждение, и красную, что означает удаление с поля. Думается, редакторы с чистой совестью могли предъявить рукописи «Милые бранятся...» красную карточку. Это был бы безошибочный ход: если авторы не поимают футбольного языка, то им, безусловно, знаком научный флирт цветов Светланы Евгеньевны, на котором красная карточка означает: «Я в бешенстве».

Как только Сережке Князеву поручили проводить заболевшего Сашку Еланского, он сразу предупредил классную руководительницу:

— Завтра я часа на два-три задержусь.

В ответ Ирина Сергеевна объяснила ему, что половина девятого утра не самое лучшее время для посещения больного одноклассника, и предложила выполнить поручение после уроков.

Вернувшись из школы и победав, Сережка сообщил маме:

— Уроки буду делать позже. Сейчас хочу навестить Сашку Еланского. Мне поручили. Он уже четыре дня не ходит в школу.

— Стойся его чем-нибудь развеселить, — посоветовала мама. — Когда человек болен, ему грустно, настроение портится, на душе кошки скребут. Его нужно ободрить, поддержать.

По пути Сережка вспомнил всякие забавные случаи, которые произошли с ребятами из их класса за эти четыре дня. И как чуть было не взяли шефство над тридцатилетним ветераном футбола, и как Колька Сулников посетил исторический музей, когда там был ремонт, и как Генка Торопин хотел вымыть грязную посуду в стиральной машине. Одним словом, было что вспомнить.

Дверь ему открыла Сашкина бабушка. Сережка снял шапку, пальто и прошел в комнату. Вдруг видит — навстречу ему идет Сашка собственной персоной.

— Ты почему ходишь? — удивился Сережка.

— А что мне еще делать?

— Ты же больной.

— Ну и что? — отвечает Сашка. — У меня же не ноги болят. Я горло застудил. А ноги у меня очень даже здоровые. По комнате мне ходить можно.

— И руки у тебя здоровые?

— Кочергу узлом завяжу.

— Почему же постель не убираешь?

— Зачем убирать? Я в любой момент опять могу лечь. Устал ходить, раз — и завалился!

— Здорово! — восхищенно произнес Сережка. — Значит, ты можешь лежать сколько влезет? Хоть целый день?

Александр ХОРТ

ТАМ ЛУЧШЕ, ГДЕ НАС НЕТ

— Запросто. Только целый день лежать, оказывается, тяжело. Я вот позавчера лежал и позавчера лежал. А вчера — уже не лежал. Надоело.

Сережка вздохнул:

— Мне бы не надоело. Я не люблю рано вставать.

— Ну, мне-то сейчас рано вставать ни к чему, я ведь не хожу в школу.

— Завтра тоже не пойдешь? Завтра у нас контрольная по математике.

— Завтра еще не пойду — могут быть осложнения.

— Счастливчик ты, — опять вздохнул Сережка. — Завтра утром по телеку будут бесподобные мультики. А послезавтра пойдешь? В субботу. Послезавтра у нас урок труда. Будем дурацкие палки для мётел строгать.

— Я и послезавтра не пойду. Как раз в субботу ко мне должна прийти врача.

Тут уж Сережка не мог скрыть своей зависти.

— Ты прямо барин какой-то, — говорит. — Всем надо по утрам вставать и плястись в школу. А ты в это время можешь смотреть мультики. Мне бы так!

— Да ты не огорчайся. Может, еще заболеешь, — попытался успокоить его Сашка.

Сережка лишь сокрушенно махнул рукой.

— Мне не везет, я еще ни разу в школе не болел. Уже почти семь лет учусь и все впустую. Прямо не школьник, а Илья Муромец какой-то вырос. Слушай — научи меня, как заболеть.

— Откуда мне знать?! Я же не врач.

— Ну и что?! Ты же заболел.

— Нечаянно.

— Ну да, ври больше. Нечаянно. Небось, все каникулы здоровенький ходил, а как четверть началась — сразу слег. И это, по-твоему, нечаянно?

— Конечно. Я не хотел болеть.

— Как это — не хотел? На твоем месте любой захочет. Я тоже. Почему ты не подскажешь мне, как заболеть? — со слезами в голосе спросил Сережка и доверительным шепотом поинтересовался: — Может, ты после ванной голову в форточку высунунал?

— Ничего никуда я не высывал, — начал злиться Сашка. — Я случайно заболел! Случайно. Понимаешь?

Сережку даже зло взяло от того, что Сашка уперся как баран и не хочет раскрыть секрет своего заболевания. Он в сердцах закричал:

— Ладно, Сашка, не хочешь — не говори. Только я тебе тоже ничего веселого не расскажу. И больше у меня никогда ничего не проси. Все равно не дам.

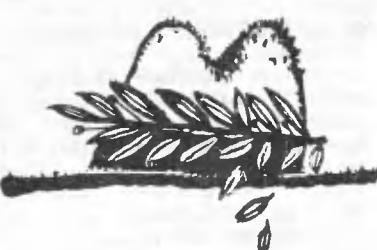
Выскочил в коридор, схватил под мышку пальто, шапку — и хлоп дверью. Даже с Сашкиной бабушкой забыл попрощаться.

На лестнице он нахлобучил шапку, с грехом пополам надел пальто, даже не застегивая его, а про шарф вовсе забыл, оставил его в кармане. Идет по улице грустный, настроение испортилось. На душе кошки скребут из-за того, что Сашка целыми днями развлекается, а вон вынужден ходить в школу.

Идет Сережка по улице, не замечая от обиды на несправедливость судьбы ни мороза, ни лютого ветра. И от того, что шел в пальто нараспашку, без шарфа, в нахлобученной на одно ухо шапке, он простудился и на следующий день не пошел в школу.

Правда, из-за температуры он все равно не смотрел по телевизору мультфильмы — не было сил глаза разлепить. Почти целый день пролежал под тремя одеялами, даже надоело. Все куда-то ходят, чем-то занимаются, что-то смотрят, веселятся. И все без него! Он лишь таблетки глотает. Поэтому, когда в субботу позвонил Олег Запольский и сообщил, что сегодня на уроке труда мальчишки делали дурацкие палки для метел, Сережка, вздохнув, сказал:

— Ты даже не представляешь, до чего я вам завидую.



ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Год назад мы громогласно известили об учреждении ежегодных премий «Зеленого портфеля». Само собой, рассчитывать на награду могут лишь опубликованные произведения. И тут редакция обязательно прислушивается к устным и присматривается к письменным отзывам читателей. В результате изучения общественного мнения премий «Зеленого портфеля» 1986 года удостоены:

Игорь ИРТЕНЬЕВ — за подборку стихотворений «Любовь, мечты и др.» (№ 4).

Рустем ФАЛЯХОВ (Казань) — за рассказ «Книга учета» (№ 7). Виктор ВЕРИЖНИКОВ (Ленинград) — за миниатюру «Как повысить успеваемость» (№ 9).

Ирина ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА — за название премии (№ 12).

«Зеленый портфель» от всей души поздравляет лауреатов, каждый из которых в торжественной обстановке и при большом скоплении народа будет увенчан «Лавровой шляпой».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПОЛЕВОГО



Жюри конкурса
на соискание литературных премий
имени Бориса ПОЛЕВОГО
рассмотрело произведения,
опубликованные в 1986 г.

Премии присуждены:

Юрию
БОНДАРЕВУ
за цикл
«Мгновения»
№ 6, 1986 г.



Владимиру
АМЛИНСКОМУ
за повесть
«Оправдан будет
каждый час»
№№ 10—11, 1986 г.



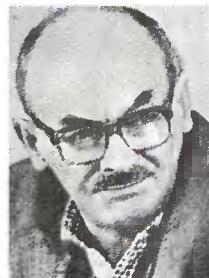
Кайсыну
КУЛИЕВУ
(посмертно)
за повесть
«Скачи, мой ослик»
№ 7, 1986 г.



Валентину
БЕРЕСТОВУ
за цикл стихов
№ 4, 1986 г.



Булату
ОКУДЖАВЕ
за цикл стихов
№ 1, 1986 г.



Сергею
БОБКОВУ
за цикл стихов
№ 3, 1986 г.



Александру
ФИЛИМОНОВУ
за повесть
«Состояние души»
№ 5, 1986 г. (дебют)



Сергею
КОСТРОМИНУ
за оформление
обложек журнала
№№ 3, 5, 6, 7, 8,
11, 1986 г. (дебют)



*Лауреаты награждаются памятными медалями
и почетными дипломами.*

Юность. 1987 г. № 1, 1—112
Индекс 71120
Цена 70 коп.

